

|| 6 ||

НОВАЯ МИРА

НОВАЯ МИРА

|| 1978 ||

6



1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1978 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Алмазный мой венец	3
АЛИМ КЕШОКОВ — Четыре стихотворения. Перевел с кабардинского Н. Гребнев	147
ВАДИМ РАБИНОВИЧ — Старый кедр, стихи	150
ВИЛЬ ЛИПАТОВ — Повесть без названия, сюжета и конца.. Окончание	153
МАРИНА ТАРАСОВА — Столбы, стихи	193
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА — Такая весна, стихи	195
ЮРИЙ ГЕЙКО — Запахи детства. Предисловие Сергея Наровчатова	198
АРОН ВЕРГЕЛИС — Золотое колечко, стихи. Перевели с еврейского А. Ко- ролев, Ю. Мориц, Л. Темин, Н. Злотников	210
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР ПЕРВЕНЦЕВ — Зимник	217
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЕКСАНДР ПАНКОВ — Современник на рандеву	237
ГЕНРИХ ВОЛКОВ — Пушкин и Чаадаев: высокое предназначение России	250
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Кораллов. Сын Грузии. — Юля Канэ. От имени ровесников.	267
<i>Полистика и наука</i>	
Дмитрий Биленкин. Слагаемые творчества. — Вячеслав Мотяшов. — К гар- монии разума и природы.	272
КОРОТКО О КНИГАХ: Т. Комиссарова. — Василий Ледков. Люди «Большой Медведицы». Диалогия. Перевод с ненецкого Н. Леонтьева. ♦	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Феодосий Видрашкү.—Борис Рахманин. Моря впадают в реки. Повести и рассказы. ♦ В. Ветлугин.—Социально-психологические аспекты социалистического соревнования. ♦ Юрий Дмитриев.— Д. Фишер, Н. Саймон, Д. Винсент. Красная Книга. Дикая природа в опасности. ♦ А. Нежный.— В. П. Павлова, А. Л. Фinkelъштейн. Хозяйственный расчет и эффективность производства (Опыт Главмосавтотранса). ♦ Вл. Кирсанов.—Воспоминания о Я. И. Френкеле. ♦ Арво Метс.— Д. И. Бронштейн, Г. Л. Смолян. Прекрасный и яростный мир (Субъективные заметки о современных шахматах). ♦ В. С. Сахаров.—Юозас Грушас. Тайна Адомаса Брунзы. Пьесы. ♦ М. Аджиев.—С. Григорьев, М. Емцев. Скульптор лица земного. ♦ Р. Баландин.—Э. Мурзаев. Жизнь есть деяние. К 100-летию со дня рождения академика Л. С. Берга	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ

...таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую выюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее стекло автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки стеклоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили юзом по окружному шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной..

В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще?

Думаю, что мне внушил идею вечной весны (и вечной славы!) один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы.

Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают.

Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена.

Его студия, вернее довольно запущенный сарай в глубине небольшого сада, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знакомства с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика (или как его там?) не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать: отказываться от заказов, разбивать свои творения.

У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малопонятные афоризмы об искусстве ваяния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь?— да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их

валялись под ногами среди соломенных деревенских стульев. Это еще более возвышало его в глазах ценителей. «Фигаро» отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка.

Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе.

Словом, он бушевал.

Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском,— и на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание — может быть, потому, что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы,— и относился ко мне весьма внимательно и даже дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком. Вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях — словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело.

Брунsvик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул:

— Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вождям и великим гениям. Я хочу ваять малых сих. Вы все — моя тема. Я нашел свою тему! Я предаю всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду... О, если я его только найду... тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз вы наконец увидите свои изваяния, созданные из неслышанного материала... если я его, конечно, найду...

Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись...

...образ Брунsvика (или как его там) пропал в провалах моей памяти.

И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками, в коридоре между двух рядов двойных, герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное О, которое можно было истолковать как угодно, но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий.

Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописное Ю. Ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю,— не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска — тень нашего длинного самолета.

Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвле-

ченное, где незаметно возникают изображения самого отдаленного прошлого, например футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрфорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым.

Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед — маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте.

С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки.

Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький ришельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:

— Bravo, я!

(Вроде Пушкина, закончившего «Бориса Годунова». Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)

Как сказали бы теперь, «был забит завершающий победный гол» этого рядового гимназического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка.

Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч: в нем принимал участие тощий, золотушного вида ришельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центрфорвард сборной команды России, как сказали бы теперь — «нападающий века», «суперстар» мирового футбола, Богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбочкой на малокровном лице.

Его имя до сих пор легенда футбола.

В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется бесплатно.

— Кто забил гол? — спросил я.

И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха в пользу раненых, который я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы: до сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и росчерками; в нем содержалось следующее бессмертное двустишие:

«Уланский конь скакает в поле по окровавленным телам».

Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться.

Стихи же, привлечшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком: круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, кото-

рые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах.

Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый ришельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо.

Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города за исключением ришельевцев носили форму черного цвета; ришельевцы — серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда Ришельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь.

Я был в черной куртке, он — в серой.

Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии.

Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко под Северянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями — ближе, чем братья, — и долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей.

Только что я прочел в черновых записях Достоевского: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношения бытия к небытию»¹...

Я знал это уже до того, как прочел у Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени! Может быть, отсюда моя литературная «раскованность», позволяющая так свободно обращаться с пространством.

Теперь плечом к плечу со своей женой я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги — символы не дочитанной до конца книги человеческой жизни, — а вокруг живописно простирались вечнозеленые луга и пригорки чужой, но милой страны, и хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было несомненно: всюду из-под земли вылезали новорожденные крокусы и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо разноцветные — не совсем такие, как у нас в России, — бу-мажные змеи с двумя хвостами.

Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького ришельевца.

Прижав к себе локоть жены, я наяву наблюдал этот ландшафт глазами, мокрыми от слез.

...Что-то я на склоне лет стал сентиментален...

¹ Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. М. «Наука». 1970, стр. 457—458.

Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал «архискверный» Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение «раскованности», то это лично мое. Впрочем, как знать? Может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих и я не более чем «изобретатель велосипеда».

Глядя на бумажные змеи и на зеленые холмы, мне пришло в голову, что ту книгу, которая впоследствии получила название «Ни дня без строчки», ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше и без претензий на затрепанное латинское *nulla dies sine linea*, использованное древними, а вслед за ними и Золя; он хотел назвать ее «Прощание с жизнью», но не назвал, потому что просто не успел.

Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю на бело, «Вечная весна», а вернее всего «Алмазный мой венец», как в той сцене из «Бориса Годунова», которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно.

Прелестная сцена; готовясь к решительному свиданию с самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности.

«Ну что ж? Готово ли? Нельзя ли поспешить?» — «Позвольте, наперед решите выбор трудный: что вы наденете, жемчужную ли нить иль полумесяц изумрудный?» — «Алмазный мой венец». — «Прекрасно! Помните? Его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец. На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали, красавицы шептали... В то время, кажется, вас видел в первый раз Хоткевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят: на вас кто ни взглянул, тут и влюбился». — «Нельзя ли поскорей»...

Нет, Марине не до воспоминаний, она торопится. Отвергнута жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц. Всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное, уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии.

Марина уже сделала свой выбор. Я тоже: все лишнее отвергнуто. Оставлен «Алмазный мой венец». Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою плешивую голову.

Марина — это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же Монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор?

Я ошибся, думая, что на острове, омываемом теплым течением Гольфстрим — или, как его называли в старых гимназических учебниках, Гольфштрем, что мне нравится гораздо больше, — весна обычно является на глаза в феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события: войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти...

Меня преследовали неудачи.

Мерзкая старуха, баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернула узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрый взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье, а затем

повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные зубы:

— Это не ему, а вам хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую.

С этими словами она показала свою тощую спину.

Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещавший нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание: все вокруг меня сделалось как при наступлении полного солнечного затмения. Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы, чего доброго, хлопнулся в обморок.

К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в прояснившейся комнате явилась добрая фея, положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить штаны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея была тоже в медицинском халате, но профессорском, более высокого ранга — белоснежно накрахмаленном, из-под которого виднелись оборочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые ноги, — чуть было не написал «ножки», что было бы весьма бестактно по отношению к профессору.

Ее лицо было строго-доброжелательно, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она осталась вполне довольной, по-королевски скудо улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь...

Деревья мало знакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем близко, рядом, на подходе. Это несомненно. Но что-то тормозило ее приближение, не давало ей наступить. О, проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно медленно умирающей зимой.

В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней, нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения.

Но неужели воображение не сильнее метеорологии?

Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот: воображение — дочь поэзии. Для меня, хотя и не признанного, но все же поэта, поэзией прежде всего было ее словесное выражение, то есть стихи.

О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу, в том его еще мало исследованном отделе, который называется механизмом запоминания, сохраняющим их навсегда наряду с впечатлениями некогда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, пейзажей, пробежавших за вагонным окном, различных элементов морского прибоя — его цвета, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразия его форм и цветов, его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокро-лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манша, Лонг-Айленда...

Англия помещалась где-то среди слоев этих накоплений памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы эскесс, написавшего:

«Воздух ясен, и деревья голы. Хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселой вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей вновь зажег решетчатый фонарь».

Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, «переночевал Диккенс», поразивший однажды воображение автора, а потом через его стихи поразил воображение многих других, в том числе и мое.

Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка.

Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждый какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали.

В одном из промелькнувших домиков действительно над оконной нишей гном держал решетчатый фонарь.

Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернели рога араукарии.

Черные, как бы обугленные деревья, настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может и они должны или перестать существовать, или наконец воскреснуть: хоть немножко зазеленеть.

А между тем во многих крошечных палисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми цветами, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы; уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны.

Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны: трубы заводов, пробежавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе, целыми семьями; силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкостей различного назначения, иногда посеребренных... Однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность девятнадцатого века викторианской Англии, Великобритании, повелительницы полумира, владычицы морей и океанов, именно такая, какую ее видел Карл Маркс.

Движущиеся мимо прозрачно-сумрачные картины не затрагивали воображения, занятого воссозданием стихов все того же эскесса:

«Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и встарь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь»...

Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингама, мимо которого мы проезжали со скоростью шестидесяти километров в час.

Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманный эскессом в пору моей юности.

Он был, эскесс, студентом, евреем, скрывавшим свою бедность. Он жил в большом доме, в нижней части Дерibasовской улицы, в «дорогом районе», но во втором дворе, в полуподвале, рядом с дворничкой и каморкой, где хранились иллюминационные фонарики и национальные бело-сине-красные флаги, которые вывешивались в царские дни. Он жил вдвоем со своей мамой, вдовой. Никто из нас никогда не был у него в квартире и не видел его матери. Он появлялся среди нас в опрятной, выглаженной и вычищенной студенческой тужурке, в студенческих диагональных брюках, в фуражке со слегка вылинявшим голубым околышем. У него было как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось стихов. Он был замечательный пародист, и я до сих пор помню его пародию на входившего тогда в моду Игоря Северянина:

«Кто говорит, что у меня есть муж, по кафедре истории прозектор. Его давно не замечаю уж. Не на него направлен мой прожектор. Сейчас ко мне придет один эскесс, так я зову соседа с ближней дачи, мы совершим с ним сладостный процесс сначала так, а после по-собачьи»...

Свою пародию эскесс пел на мотив Игоря Северянина, растягивая гласные и в наиболее рискованных местах сладострастно жмурясь, а при постыдных словах «сладостный процесс» его глаза делались иронично-маслеными, как греческие маслины.

Он был поэт старшего поколения, и мы, молодые, познакомились с ним в тот жаркий летний день в полутемном зале литературного клуба, в просторечии «литературки», куда Петр Пильский, известный критик, пригласил через газету всех начинающих поэтов, с тем чтобы, выбрав из них лучших, потом возить их напоказ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои стихи в летних театрах.

Эскесс уже тогда был признанным поэтом и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных.

На этом отборочном собрании, кстати говоря, я и познакомился с птицеловом и подружился с ним на всю жизнь.

Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов, на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно проверяя наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циничскими глазами криво сидело пенсне со шнурком и треснувшим стеклом.

Рядом с ним всегда сидел ироничный эскесс.

Я думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи.

Несмотря на его вечную иронию, даже цинизм, у него иногда делалось такое пророческое выражение лица, что мне становилось страшно за его судьбу.

Его мама боготворила его. Он ее страстно любил и боялся. Птицелов написал на него следующую эпиграмму:

«Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит: вино бросает в жар любовный; мой Сема должен быть как камень хладнокровный, мамашу слушаться и не кричать со сна».

Он действительно не пил вина, и у него не было явных любовных связей, хотя он был значительно старше всех нас, еще гимназистов.

Одно из его немногочисленных стихотворений (кажется, то, которое понравилось Блоку) считалось у нас шедевром. Он сам читал его с благоговением, как молитву:

«Прибой утих. Молите бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудна и пениста дорога по мутной зелени валов. Все холодней, все позже зори. Пльвет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские. Но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой»...

У меня уже начала разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков эпохи Возрождения, так что пришлось их заменить другими, собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки сохранились.

...еще там упоминался святой Николай с темным ликом и белой бородой, покровитель моряков и рыбаков...

Почему нас так волновали эти стихи? Может быть, мы и были этими самыми бедными ланжероновскими рыбаками, и сентябрь ярусамы плыл по низким облакам, и нам снились несказанные блоковские сны, и по морю, где-то далеко за Дофиновкой, ходили святые и над водой носили звезды: Юпитер, Вегу, Сириус, Венеру, Полярную звезду...

Настало время, и мы все один за другим покинули родной город в поисках славы. Один лишь эскесс не захотел бросить свой полуподвал, свою стареющую маму, которая привыкла, астматически дыша, тащиться с корзинкой на Привоз за скумбрией и за синенькими, свой город, уже опаленный огнем революции, и навсегда остался в нём, поступил на работу в какое-то скромное советское учреждение, кажется даже в губернский транспортный отдел, называвшийся сокращенно юмористическим словом «Губтрамот», бросил писать стихи и впоследствии, во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации, вместе со своей больной мамой погиб в фашистском концлагере в раскаленной печи с высокой трубой, откуда день и ночь валил жирный черный дым...

...теперь из всей нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата...

...нет возврата!..

...Но, безвозвратно исчезая, они навсегда остались в моей памяти, и я обречен никогда не расставаться с ними, а также со многими боль-

шими и малыми гениями из других республик и царств, даривших меня своей дружбой, ибо между поэтами дружба — это не что иное как вражда, вывернутая наизнанку.

Не могу взять грех на душу и назвать их подлинными именами. Лучше всего дам им всем прозвища, которые буду писать с маленькой буквы, как обыкновенные слова: ключик, птицелов, эскесс... Исключение сделаю для одного лишь Командора. Его буду писать с большой буквы, потому что он уже памятник и возвышается над Парижем поэзии Эйфелевой башней, представляющей собой как бы некое заглавное печатное А. Высокая буква над мелким шрифтом вечного города.

А, например, шелкунчик будет у меня, как и все прочие, с маленькой буквы, хотя он, может быть, и заслуживает большой буквы, но ничего не поделаешь: он сам однажды, возможно даже бессознательно, назвал себя в автобиографическом стихотворении с маленькой буквы:

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой. Ох, как крошится наш табак, шелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Он сам напророчил свою гибель, мой бедный, полусумасшедший шелкунчик, дружок, дурак.

Ю. О. я уже назвал ключиком. Ведь буква Ю — это, в конце концов, и есть нечто вроде ключика. А остальные прописные О иллюминаторов были заглавные буквы имен его матери и жены.

Как странно, даже противоестественно, что в мире существует порода людей, отмеченных божественным даром жить только воображением.

Мы были из этой породы.

Подобно донне Анне, скрестившей на сердце руки, мы видели неземные сны, но, проснувшись, тотчас забывали их. Забытые сновидения, как призраки, являлись в наших стихах, и трудно было понять, из каких глубин сознания они взялись.

...некогда, давным-давно, еще до первой мировой войны, до моего знакомства с ключиком, птицелов стоял на сцене дачного театра. Отсутствие гимназического пояса, а также гимназическая куртка со светлыми пуговицами, обшитыми для маскировки серой материей, делали его похожим на выгнанного ученика или экстерна: предосторожность не лишняя, так как учащимся средних учебных заведений строго запрещались публичные выступления. За это беспощадно выгоняли с волчьим билетом.

Я тоже участвовал в «вечере молодых поэтов», происходившем днем, и так же, как и птицелов, скрывал, что я гимназист. Наш товарищ из аристократов, барон-фон, одолжил мне свою визитку, шелковый галстук с модным рисунком «павлиний глаз», и я со своей головой, стриженной под нуль, выглядел чучело чучелом.

— Нам с башен рыдали церковные звоны, для нас подымали узорчатый флаг, а мы заряжали, смеясь, мушкетоны и воздух чертили ударами шпаг,—

рыча и брызгая слюной, выкрикивал птицелов в полупустой, полутемный зал, освещенный стрелами летнего солнца, бывшего сквозь дощатые стены и дырочки от выпавших сучков.

Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты, как у борца, косо пробор растрепался, и волосы упали на низкий лоб, бодлеровские глаза мрачно смотрели из-под бровей, зловеще перекошенный рот при слове «смеясь» обнаруживал отсутствие переднего зуба. Слова «чертили ударами шпаг» он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой, и даже как бы слышался звук заряжаемых мушкетонов, рыдание церковных звонов с каких-то башен — по всей вероятности, зубчатых — и прочей, как я понял впоследствии, «гумилятины».

Птицелов принадлежал к той элите местных поэтов, которая была для меня недоступна. Это были поэты более старшего возраста, в большинстве своем декаденты и символисты. На деньги богатого молодого человека — сына банкира, мецената и дилетанта — для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата, на глянцевого бумаге, с шикарными названиями «Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках» и прочее в этом роде. В эти альманахи, где царили птицелов и эскесс как звезды первой величины, мне с моими реалистическими провинциальными стихами ходу не было.

Еще бы! Они даже свою группу называли «Аметистовые уклоны». Где уж мне!

— Когда наскучат ей лукавые новеллы и надоест лежать в плетеных гамаках, она уходит в порт смотреть, как каравеллы из дальних стран плывут на темных парусах,—

читал птицелов с упоением свою знаменитую «Креолку»,—

от старых кораблей так смутно пахнет дегтем...

И прочее.

Видимо, все это он позаимствовал из пиратских романов Стивенсона, которые читал на уроках, пряча под парту журнал «Мир приключений».

Несмотря на всю мою приверженность к русской классической литературе, поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина, не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, несмотря на увлечение Фетом, Полонским, впоследствии Буниним, я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу, романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на Ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брема — его любимой книги — на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый, темный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки.

Его стихи казались мне недосягаемо прекрасными, а сам он гением.

— Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис! Дионис! Дионис! —

декламировал он на бис свое коронное стихотворение...

— Утомясь после долгой охоты, запывив свой пурпурный наряд, ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград.

Эти стихи были одновременно и безвкусны и необъяснимо прекрасны.

Казалось, птицелов сейчас захлебнется от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как бы гладиаторская внешность — не что иное как не без труда давшаяся поза.

Даже небольшой шрам на его мускулисто напряженной щеке — след детского пореза осколком оконного стекла — воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги.

Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запыхавшийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ мало того что холодный и серый, но еще и «водопадом свергающийся вниз»?

Необъяснимо.

Впоследствии он стал писать по-другому, более реалистично, и, медленно созревая, сделался тем прославленным поэтом, имя которого — вернее, его провинциальный псевдоним — принимается как должное: к нему просто привыкли.

Прошло более полувека, и однажды я — все в той же погоне за вечной весной — очутился в Сицилии, куда мы прилетели из Рима, предварительно пройдя все злое процедуры в аэропорту Фьюмачино.

Угон самолетов уже стал делом обыкновенным. Воздушное пиратство. Поэтому всех пассажиров тщательно обыскивали и надо было проходить через какую-то электромагнитную раму, реагирующую на присутствие всякого металлического предмета, например ручного пулемета или бомбы. Так как Сицилия считается центром всемирной мафии, то осмотр производился особенно строго.

Единственное исключение агенты полиции сделали для пожилой монахини с тяжелым саквояжем в руках. Ее пропустили без осмотра. По всем законам авантюрного жанра именно эта монахиня и была наиболее опасным членом мафии и в ее саквояже, конечно, должен был находиться автомат или какое-нибудь взрывное устройство.

Во время всего короткого перелета Рим — Палермо я не спускал глаз с монахини, равнодушно перебиравшей четки, а когда она открыла свой чемодан и, надев очки, стала в нем копать, я проклял судьбу, угораздившую посадить нас именно в этот проклятый самолет, который могут угнать куда-нибудь к черту на рога — в Африку — или даже взорвать в воздухе.

Я не обращал внимания на красоту расстилавшегося под самолетом Тирренского моря и перестал волноваться лишь после того, как наш самолет «алиталия» пошел на посадку и мимо нас побежали прибрежные скалы, холмы, покрытые апельсиновыми рощами, желтая полоса пляжа на кружевной кромке до слез синего моря и мы покатались по бетонной полосе небольшого провинциального аэродрома.

Не помню, был ли я прежде в Палермо, но этот город показался мне знакомым. Не буду его описывать. В памяти сохранился лишь какой-то людный перекресток с раковиной фонтана, вделанной в угол старого итальянского дома. Из львиной пасти в эту мраморную раковину лилась не слишком обильная струя воды. Но раковина была переполнена — видно, что-то засорилось. Водопровод был дряхлый, ве-

роятно его чинили в последний раз в начале двадцатого века. Из раковины на тротуар изливалась вода; натекла большая лужа, по которой шлепали прохожие, проклиная отдел коммунального хозяйства. Весь перекресток был покрыт синей утренней тенью.

Перед входом в дряхлый величественный собор росла целая роща африканских пальм. Пахло светильным газом, горячим кофе, ванилью, и во всем этом было столько староитальянского, сицилианского, что я вспомнил давнее-предавнее время и наше путешествие с папой и маленьким моим братом, братиком, на пароходе из Одессы в Неаполь с заходом в разные порты. В Палермо, кажется, не заходили. Заходили в Катанию и Мессину. Но все равно — теперь, когда в памяти все смешалось, я перенесся в ту неизмеримо далекую пору своей жизни, когда впервые увидел Италию, старую, королевскую, с осликами или даже мулами с красными чехольчиками на ушах и черными шорами, что делало их как бы слепыми; с тесными лавчонками, где продавался вкусный ледяной апельсод и шипучий лимонад в бутылочках, закуоренных вместо пробок маленькими матово-стеклянными шариками, которые нужно было протолкнуть внутрь...

Теперь, как и тогда, переходя по диагонали перекресток (не все ли равно, где это было — в Катании или Палермо) из синей тени на залитую почти африканским солнцем сторону, я промолил туфли возле раковины углового фонтана с мадонной в нише, украшенной цветами и разноцветными лампаками.

Но это не важно. Извините, я отвлекся. Важно то, что в туристском автобусе мы объехали треугольник Сицилии, окруженный со всех сторон ализариновой синевой Средиземного моря, останавливаясь по дороге возле древнегреческих храмов, но не из белого мрамора, как в Греции, а из местного желтого камня, возле мраморных развалин римских городов, поверженных в прах войсками карфагенян, — ужасный след пяты Ганнибала, шагнувшего под трубный рев боевых слонов через Сицилию на Апеннинский полуостров по дороге к золотым воротам Рима, — а может быть, разрушенных землетрясениями в те дни, когда вдруг просыпалась Этна, извергая из своих семи кратеров огонь и дым и швыряя в небо раскаленные каменные бомбы, заставляя трескаться землю, обжигая лавой виноградники и обволакивая остров клубами сернистых газов, озаренными снизу отсветами преисподней...

Кто знает, какая нечеловеческая сила разрушила циклопические постройки древней Сицилии? И почему иные из них остались почти нетронутыми, не поверженными во прах?

Но теперь громадные кубические камни разрушенных городов заросли кустами одуряюще-душистой седой полыни, такой зловеще серебряной на фоне пустынного моря, почерневшего от дождевых туч, надвигавшихся откуда-то из Ливии, из Туниса, из Карфагена, от которого почти ничего не осталось, кроме легенды, кроме флоберовской «Саламбо».

Здесь под ливнем, внезапно обрушившимся на мраморные развалины, в толпе американских туристов, как стадо испуганных лошадей бегущих к автобусу, я ощутил страшное одиночество, тщету человеческих цивилизаций, поглощаемых одна за другой непознаваемой бездной тысячелетий, по сравнению с которыми моя жизнь не более чем мгновенное сновидение.

...Перечитываю написанное. Мало у меня глаголов. Вот в чем беда. Существительное — это изображение. Глагол — действие. По соотношению количества существительных с количеством глаголов можно

судить о качестве прозы. В хорошей прозе изобразительное и повествовательное уравновешено. Боюсь, что я злоупотребляю существительными и прилагательными. Существительное, впрочем, включает в себя часто и эпитет. К слову «бриллиант», например, не надо придавать слово «сверкающий». Оно уже заключено в самом существительном. Излишества изображений — болезнь века, мовизм. Почти всегда в хорошей современной прозе изобразительное превышает повествовательное.

Нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования.

Писатели восемнадцатого века — да и семнадцатого — были в основном повествователи. Деятнадцатый век украсил голые ветки повествования цветными изображениями.

Наш век — победа изображения над повествованием. Изображение присвоили себе таланты и гении, оставив повествование остальным.

Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое. Мы стали язычниками. Наш бог — материя... Вещество...

Но не пора ли вернуться к повествованию, сделав его носителем великих идей? Несколько раз я пытался это сделать. Увы! Я слишком заражен прекрасным недугом мною же выдуманного мовизма. Ведь даже Библия сплошь повествовательна. Она ничего не изображает. Библейские изображения появляются в воображении читателя из голых ветвей повествования. Повествование каким-то необъяснимым образом вызывает картину, портрет. В Библии не описана внешность Каина. Но я его вижу как живого.

Единственно что меня утешает — это Гомер, который был великим изобразителем, изображение у него несет службу повествования. Он даже эмпиричен, как и подобает подлинному мовисту: что увидел, то и нарисовал, не стараясь вылизать свою картину.

«Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до половины»...

Оказывается, простой список кораблей — это не статистика, а поэзия.

А вообще ничего не поделаешь. Каждый пишет как может, а главное, как хочет. Терпение! И знайте, что все мои изображения в конце концов лишь элементы повествования, которое я продолжаю:

...в конце концов мы очутились в Сиракузах. Распахнув окно с решетчатыми жалюзи, мы увидели все то же Средиземное море и порт, куда как раз в это время входил длинный старомодный пароход моего детства, черного цвета, с суриково-красной полосой ватерлинии, но так как пароход был мало загружен, то красная полоса была довольно широкой; а из-за горизонта, из Африки, дул все тот же октябрьский теплый ветер и гнал, все гнал, все гнал синие до черноты средиземноморские волны.

Мы ходили в стаде туристов по ярусам знаменитого на весь мир древнегреческого театра, удивляясь, как хорошо сохранился его полуциркулярный амфитеатр, вырубленный из одного гигантского каменного монолита. Перепрыгивая со ступени на ступень как по каменной

лестнице его рядов, мы спустились вниз и ходили по плитам сценической площадки, и наши голоса отчетливо слышались в самых верхних рядах, где камень уже соприкасался с ярким, безоблачным античным небом, так что — чудо акустики! — текст древних трагедий, произносимый актерами на котурнах и в большеротых масках, доходил до всех зрителей одинаково ясный, не искаженный пространством, непреложный, как ужасные веления рока. Здесь умирали герои, но это была не настоящая смерть, а лишь ее театральное изображение, в то время как рядом, в древнеримском цирке, — так же удивительно сохранившемся — грубо, варварски, дико властвовала подлинная смерть, лишенная поэтической оболочки: из каменных загонов на арену выпускали диких зверей. Под рев низменной римской черни львы разрывали на части рабов-гладиаторов или христиан, простиравших к небу свои белые окровавленные руки:

наглядное свидетельство того, как некогда высокогуманная древнегреческая культура была попорана и поглощена низменной культурой завоевателей-римлян, превративших Сицилию в дачную местность Рима, куда патриции, богачи, приезжали на каникулы со своих триремах с красными парусами и золочеными мачтами целыми семьями, вместе с рабами, и блаженствовали на своих виллах, от которых до наших дней сохранились лишь мозаичные полы многочисленных комнат. Рисунок каждого пола соответствовал назначению комнаты. На полу столовой были изображения рыб, фазанов, лангуст, мурен, блюда дичи, амфоры вина... На полу комнаты для гимнастических упражнений можно было рассмотреть изображения молодых девушек в коротких туниках, делающих, быть может, утреннюю зарядку, некоторые даже держали в руках гантели и гимнастические палки... Особая комната для любви имела пол с изображением высокого ложа, окруженного амурами... В детской — мозаичные изображения игрушек... Видимо, и в самой жизни все у них было строго регламентировано, как в государстве.

Но все эти туристские впечатления не трогали моей души и оказались пустяком в сравнении с тем, что ожидало меня через несколько минут.

...Пройдя сквозь субтропический сад с померанцевыми деревьями, смоковницами, странными невиданными цветами, мы почувствовали сырую теплоту застоявшегося воздуха и очутились перед естественной каменной стеной необыкновенной высоты. Можно было подумать, что это навсегда окаменевший гладкий серый водопад, неподвижно свергающийся откуда-то с высот безоблачного сицилийского неба. В этот миг мне показалось, что я уже когда-то видел эту серую стену или, по крайней мере, слышал о ней...

Но где? Когда?

В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая щель, естественный вход в некую пещеру — даже, может быть, сказочную, — откуда тянуло подземным холодом. Пол этого таинственного коридора, уводящего во мрак, был покрыт тонким неподвижным слоем бирюзовой воды, из которой росли какие-то странные, я бы даже сказал малокровные, растения декадентски изысканных форм, неестественно бледного болотного-бирюзового цвета. Цветы мифического подземного царства, откуда нет возврата...

...нет возврата!..

Этой картине должна была сопутствовать какая-то неземная, печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из памяти.

Но какие?

Выпадение из памяти всегда мучительно. Вы слышите хорошо знакомую музыку, но как она называется — забыли. Идет хорошо вам знакомый человек, но его имя выпало из памяти. Распалась ассоциативная связь, которую так мучительно трудно наладить.

Я окаменел от усилия вернуть забытые, но некогда хорошо известные слова, вероятно даже стихи.

Вдруг все объяснилось. Наш гид произнес:

— Синьоры, внимание. Перед вами гротто Дионисо, грот Диониса.

...в тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния озарила сознание. Да, конечно, передо мной была не трещина, не щель, а вход в пещеру — в грот Диониса. Я услышал задыхающийся астматический голос молодого птицелова — гимназиста, взывающего из балаганной дневной полутьмы летнего театра к античному богу:

«Дионис! Дионис! Дионис!»

«Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис, Дионис, Дионис!»

Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда.

— Здесь, синьоры,— сказал гид в клетчатом летнем костюме, с нафабранными усами,— бог Дионис впервые выжал виноград и научил людей делать вино.

Ну да!

«Ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград».

Я не удивился, если бы вдруг тут сию минуту увидел запыленный пурпуровый плащ выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с кожаном и луком за спиной, с кубком молодого вина в руке — прекрасного и слегка во хмелю, как сама поэзия, которая его породила.

Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни по крашеной деревянной лесенке и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и кальсонах, скрестив по-гурецки ноги, сидел на засаленной перине и, наклонив лохматую нечесаную голову, запоем читал Стивенсона, Эдгара По или любимый им рассказ Лескова «Шер-Амур», не говоря уж о Бодлере, Верлене, Артюре Рембо, Леконте де Лиле, Эредиа, и всех наших символистов, а потом акмеистов и футуристов, о которых я тогда еще не имел ни малейшего представления,— как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было: телепатия? ясновидение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейсы Одесса — Сиракузы?

Не знаю. И никогда не узнаю, потому что птицелова давно нет на свете. Он первый из нас, левантинцев, ушел в ту страну, откуда нет возврата, нет возврата...

А может быть, есть?

Раз уж я заговорил о птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда я познакомил его с королевичем.

Москва. Двадцатые годы. Тверская.

Кажется, они — птицелов и королевич — понравились друг другу. Во всяком случае, королевич — уже тогда очень знаменитый — доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки.

Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник, который в то время еще стоял на своем законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам.

...До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял.

Привычка.

Недаром же Командор написал, обращаясь к Александру Сергеевичу:

«На Тверском бульваре очень к вам привыкли».

Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря.

Не уверен, что во время свидания двух поэтов — птицелова и королевича — Страстной монастырь еще существовал. Кажется, его уже тогда снесли. Будем считать в таком случае, что в пустоте остался отсвет его бледно-сиреневой окраски.

Для людей моего поколения есть два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом, законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фонарями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта и третий — я, их современник.

А Пушкин сегодняшний для меня лишь призрак.

Желая поднять птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил птицелову тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин.

Птицелов взял у королевича автоматическую ручку и на обложке толстого журнала «Жизнь», который был у меня в руках, написал «Сонет Пушкину» по всем правилам: пятистопным ямбом с цезурой

на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там написал — не помню.

Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке «Жизни» несколько строчек своими кругленькими полудетскими буквами, почти не связанными друг с дружкой.

— Сонет? — подозрительно спросил птицелов.

— Сонет, — запальчиво сказал королевич и прочитал вслух следующее стихотворение:

— Пил я водку, пил я виски, только, жаль, без вас, Быстрицкий!
Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя был Катаев, потому что
участь наша на твою похожа, Саша.

При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном.

(Фамилию птицелова он написал неточно: Быстрицкий, а надо было...)

Журнал «Жизнь» с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам. Но поверьте мне на слово: все было именно так, как я здесь пишу.

...Смешно и трогательно...

Теперь на том месте, где все это происходило, — пустота. С этим мне трудно примириться. Да и улица Горького в памяти моей навсегда осталась Тверской из «Евгения Онегина».

...«вот уж по Тверской возок несется сквозь ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачужки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах»...

Почти такой увидел я Москву, когда после гражданской войны приехал с юга. Впрочем, Москва уже была не вполне онегинская. Хотя львы на воротах и стаи галок на крестах, а также аптеки, фонари, бульвары и прочее еще имелись в большом количестве. Но, конечно, трамваи были уже не онегинские.

Москва пушкинская превращалась в Москву Командора, Москву нэповскую:

«Проезжие прохожих реже. Еще храпит Москва делят. Тверскую жрет, Тверскую режет сорокасильный кадиллак».

Это тоже призрак.

Память разрушается, как старый город. Пустоты перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием. А в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков...

Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий... Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили: эффект присутствия!

Я изучал Москву и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был пешеходом. Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядывались в окружающий нас мир Города во всех его подробностях.

Это была география Столицы, еще так недавно пережившей уличные бои Октябрьской революции.

Два многоэтажных обгоревших дома с зияющими окнами на углу Тверского бульвара и Большой Никитской, сохранившаяся аптека, куда носили раненых, несколько погнутых трамвайных столбов, пробитых пулями, поцарапанные осколками снарядов стены бывшего Александровского военного училища — здание Реввоенсовета республики, — две шестидюймовки во дворе Музея Революции, бывшего Английского клуба, еще так недавно обстреливавшие с Воробьевых гор Кремль, где засели юнкера.

Множество стареньких, давно не ремонтируемых церквушек не описуемо прекрасной древнерусской архитектуры, иные со снятыми крестами, как бы обезглавленные.

Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, ставшего центром мировой революции.

Я давно уже перестал быть пешеходом. Езжу на машине. Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на перекрестках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности всматриваться в их превращения.

Командор был тоже прирожденным пешеходом, хотя у первого из нас у него появился автомобиль — вывезенный из Парижа «рено», но он им не пользовался. На «рено» разъезжала по Москве та, которой он посвящал все свои поэмы. А он ходил пешком, на голову выше всех прохожих. изредка останавливаясь среди толпы, для того чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную рифму или строчку.

Город начал заново отстраиваться с пригородов, с подмосковных бревенчатых деревенек, с пустырей, со свалок, с оврагов, на дне которых сочились сточные воды, поблескивали болотца, поросшие ряской и всякой растительной дрянью. На их месте выстроены новые кварталы, районы, целые города клетчатых, ребристых домов-трансistorов, домов-башен, издали ни дать ни взять напоминающие губную гармонику, поставленную вертикально...

Я люблю проезжать мимо них, среди разноцветных пластмассовых балконов, гордясь торжеством своего государства, которое с неслыханной быстротой превратило уездную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, о чем в нашей юности могло только мечтаться.

Теперь это кажется вполне естественным.

До поры до времени старую Москву, ее центральную часть не трогали. Почти все старые московские уголки и связанные с ними воспоминания оставались примерно прежними и казались навечно застывшими, кроме, конечно, Тверской, превратившейся в улицу Горького и совершенно переменившуюся. Впрочем, к улице Горького я почему-то скоро привык и уже с трудом мог восстановить в памяти,

где какие стояли церкви, колокольни, магазины, рестораны. Преображение Тверской не слишком задевало мои чувства, хотя я часто и грустил по онегинской Тверской, по ее призраку.

Я был житель другого района.

Другой район являлся, в сущности, совсем другим миром.

Я почти неощутимо пережил эпоху новых мостов через Москву-реку и передвижение громадных старых домов с одного места на другое, эпоху строительства первых линий метрополитена, исчезновение храма Христа Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестящий на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят.

Теперь вместо него плавательный бассейн с вечной шапкой теплого пара над его изумрудной водой, теплой — можно купаться даже в лютые морозы.

...Но на месте плавательного бассейна я до сих пор вижу призрак храма Христа Спасителя, на ступенях которого перед бронзовой дверью сижу я, обняв за плечи синеглазку, и мы оба спим, а рассвет приливает, где-то вверх жужжит аэроплан, и мне кажется, что все вокруг, весь город умерщвлен каким-то новым газом так, как якобы уже началась новая война, и мы с синеглазкой тоже уже умерщвлены, нас уже нет в живых, а мы только две обнявшиеся тени...

Потом наступила более тягостная эпоха перестановки и уничтожения памятников. Незримая всевластная рука переставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски.

Она переставила памятник Гоголю работы гениального Андреева, тот самый памятник, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели — почти весь потонув в этой шинели; — с Арбатской площади во двор особняка, где по преданию сумасшедший писатель сжег в камине вторую часть «Мертвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя — во весь рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии.

Когда я приехал впервые в Москву, улица Кирова была еще Мясницкой и по ней, кривой и извилистой, я ехал с Курского вокзала на извозчичьих санках, на так называемом ваньке из числа тех, на которых еще ездил Антон Чехов, застегнувшись суконкой — проеденной молью полостью на рыбьем меху.

Москва еще казалась мне непознаваемой, как страшный сон.

Несмотря на мартовский снег, кружившийся среди незнакомых мне столичных домов, я уже слышал в воздухе что-то, обещающее весну.

Сани ныряли с ухаба на ухаб, увозя меня по неведомым улицам неведомо куда — в метель, в только что зажегшиеся страусовые яйца голубоватых электрических фонарей на Лубянской площади, посередине которой возвышался засыпанный снегом итальянский фонтан, а извозчик в кастановой шляпе-цилиндре с металлической пряжкой время от времени почмокивал губами, понукая свою клячу, и приговаривал традиционную извозчичью присказку:

— С горки на горку, барин даст на водку.

А барин-то был в потертом пальтишке, перешитом из солдатской шинели, и в ногах у него стояла плетеная корзинка, запертая вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья.

Начинался третий год революции.

Впоследствии Мясницкую переименовали в улицу Первого мая, потом как-то незаметно в шуме нэпа она опять стала Мясницкой и оставалась ею до тех пор, пока не получила окончательное название — улица Кирова, вероятно в память того сумрачного декабрьского денька, когда посередине улицы по неубранному снегу, издавая тягостный звук мельничного жернова, поворачивались колеса пушечного лафета с низко установленным гробом с телом убитого Кирова, перевозившегося с Ленинградского вокзала в Колонный зал Дома союзов, а за лафетом темной толпой шли провожающие, наступая на хвойные крестики и матерчатые цветочки, падающие с венков на свинцовый декабрьский снег.

...по воле случая я шел в похоронной процессии, ужасаясь зрелищу, свидетелем которого мне довелось стать...

Эту картину память принесла мне из сравнительно недавнего прошлого, а еще раньше, в то время, когда улица называлась Мясницкой, мне суждено было судьбой жить в ее районе...

...вдруг тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед красным светофором. Если бы не пристегнутые ремни, я бы мог стукнуться головой о ветровое стекло. Это, несомненно, был перекресток Кировской и Бульварного кольца, но какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть Водопьяный переулок. Его не было. Он исчез, этот Водопьяный переулок. Он просто больше не существовал. Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его. Как будто их всех вырезали из тела города. Исчезла библиотека имени Тургенева. Исчезла булочная. Исчезла междугородная переговорная. Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно было примириться. Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то непонятное, неизвестное пространство, которое иногда приходится преодолевать во сне: все вокруг знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо и не знаешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой, и ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти, и ты идешь одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказываешься все дальше и дальше от дома, а между тем ты отлично знаешь, что твой дом где-то совсем рядом, рукой подать, он есть, существует, но его не видно, он как бы в другом измерении. Он стал невидимкой.

Реконструкция знакомого перекрестка была сродни выпадению из памяти. В Москве уже стали выпадать целые кварталы. Выпала добрая половина перекрестка, к которому издавна тяготел тот особый старомосковский мир поэтов и художников, куда меня случайно занесло в первый же день пребывания в Москве и долго потом держало в плену.

Пока мы стояли у красного светофора, пропуская поперечный транспорт, я все никак не мог смириться с мыслью, что Водопьяного переулочка больше не существует.

Не существует дома, где проходила большая часть жизни Командора в той странной нигилистической семье, где он был третий и где

помещался штаб лефов, гонявших чай с вареньем и пирожными, покупавшимися отнюдь не в Моссельпроме, который они рекламировали, а у частников — известных еще с дореволюционного времени кондитеров Бартельса с Чистых прудов и Дюваля с Покровки, угол Машкова переулка.

Не существует и входной двери, ведущей с грязноватой лестницы в их интеллигентное логово со стеллажами, набитыми книгами, и с большим чайным столом, покрытым камчатной скатертью.

Дверь эта, выбеленная мелом, была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неименитых посетителей, тяготевших к Лефу, среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом стихотворный пасквиль.

Командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами. Он тогда стремился к простоте и лаконизму и даже однажды сказал: «Язык мой гол».

«Лубянский проезд, Водопьяный. Вид вот. Вот фон».

Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном, перенаселенном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой.

Здесь, оставаясь наедине сам с собой, он уже не был главнокомандующим Левым фронтом, отдающим гневные приказы по армии искусств:

«...а почему не атакован Пушкин и прочие генералы классики?»

Здесь он не писал «нигде кроме, как в Моссельпроме» и «товарищи девочки, товарищи мальчики, требуйте у мамы эти мячики», подаваемые теоретиками из Водопьяного переулка чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы, чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и ниспровержение старого, от которого «нами оставляются только папиросы „Ира“».

Здесь он писал:

«...я себя под Лениным чищу».

Здесь же он поставил и точку в своем конце.

И сейчас еще слышатся мне широкие, гулкие шаги Командора на пустынной ночной Мясницкой между уже не существующим Водопьяным и Лубянским проездом, переименованным в проезд Серова.

К перекрестку Мясницкая — Бульварное кольцо тяготело несколько зданий, ныне исторических.

Не говоря уже о главном Почтамте, географическом центре Москвы, откуда отсчитывались версты дорог, идущих в разные стороны от белокаменной, первопрестольной, здесь находился Вхутемас, в недавнем прошлом Школа ваiania и зодчества, прославленная именами Серова, Врубеля, Левитана, Коровина.

Сюда заживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими живописцами, своими сверстниками.

Здесь обитал художник Л. Пастернак и рос его сын, который, вспоминая свою юность, впоследствии написал:

«Мне четырнадцать лет, Вхутемас еще Школа ваянья... Звон у Флора и Лавра сливается с шарканьем ног... Раздается звонок, голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

Помню маленькую церквушку Флора и Лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к ампириным колоннам полукруглого крыла Вхутемаса. Церковка эта вдруг как бы на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода Метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли.

Да, еще рядом с Вхутемасом, против Почтамта, чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской, с фигурой двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор, и до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая.

...А потом уже не помню что...

...во дворе Вхутемаса, куда можно было проникнуть с Мясницкой через длинную темную трубу подворотни, было, кажется, два или три высоких кирпичных нештукатуренных корпуса. В одном из них находились мастерские молодых художников. Здесь же в нетопленной комнате существовал как некое допотопное животное — мамонт! — великий поэт, председатель земного шара, будетлянин, странный гибрид панславизма и Октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которые без всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее к груди.

Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитами, он жил в своей запущенной комнате.

Тут же рядом гнезился левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, вьюн по природе, автор легендарной строчки «Дыр, бул, щир». Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Вьюн — так мы будем его называть — промышлял перекупкой книг, мелкой картежной игрой, собирал автографы никому не известных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи, причем приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кричал своим остроносым лицом мальчика-старичка.

У него было пергаментное лицо скопца.

Он весь был как бы заряжен неким отрицательным током анти-поэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии.

По сравнению с ним сам великий бюджетянин иногда казался несколько устаревшим, а Командор просто архаичным.

В общежитии обитали ученики Вхутемаса, которым Октябрьская революция открыла двери в искусство, «принадлежавшее народу». Все эти обросшие бородами молодые провинциалы оказались в живописи крайне левыми. Даже кубизм казался им слишком буржуазно-отсталым. Перемахнув через Пикассо голубого периода и через все его эксперименты с разложением скрипки в разных плоскостях, молодые вхутемасовцы вместе со своим же собратом московским художником Кандинским изобрели новейшее из новейших течений в живописи — абстракционизм, который впоследствии перекочевал в Париж, обосновался на Монпарнасе, где, к общему удивлению, держится до сих пор, доживая, впрочем, свои последние дни.

Но тогда, в нищей, голодной, зажатой в огненном кольце наступающей со всех сторон контрреволюции Советской России, в самом ее сердце, в красной Москве, в центре Москвы, против главного Почтамта, в общежитии Вхутемаса это свержеволюционное направление буйно процветало. Все стены были увешаны полотнами и картонами без рам с изображениями различных плоскостных геометрических фигур: красных треугольников на зеленом фоне, лиловых квадратов на белом фоне, интенсивно оранжевых полос и прямоугольников, пересекающихся на фоне берлинской лазури.

Царили Лавинский, Родченко, Ключ...

К этому времени относится посещение Лениным Вхутемаса, о котором только и шло разговоров в ту раннюю весну, когда я приехал в Москву.

Говорили, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна в вязаном платке поверх меховой шапочки приехали во Вхутемас на извозчичьих санях. Воображаю, какое было выражение лица у Ленина, когда он увидел на стенах картины с разноцветными треугольниками и квадратиками!

Теперь это уже стало общеизвестным фактом, историей. А тогда еще ходило среди жителей перекрестка как легенда.

Но один лишь факт, что где-то здесь совсем недавно и совсем недалеко от угла Мясницкой и Бульварного кольца, в доме, знакомом всем, побывал сам Ленин, — уже одно это казалось мне чудом и как бы еще больше приобщало меня к революции.

Во дворе Вхутемаса, в другом скучном, голом, кирпичном корпусе, на седьмом этаже, под самой крышей жил со своей красавицей женой Ладой бывший соратник и друг мулата по издательству «Центрифуга», а ныне друг и соратник Командора — замечательный поэт, о котором Командор написал:

...«Есть у нас еще Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько! Маленькая, но семья».

...но мы еще с вами поднимемся на седьмой этаж, в комнату соратника.

Справа от упомянутого перекрестка, если стать лицом к Лубянке, за маленькой площадью с библиотекой имени Тургенева, прямо на Сретенский бульвар выходили громадные оранжевокирпичные корпуса бывшего страхового общества «Россия», где размещались всякие

лито-, тео-, музо-, киноорганизации того времени, изображенные Командором в стихотворении «Прозаседавшиеся», так понравившемся Ленину. В том же доме в Главполитпросвете работала Крупская по совместительству с работой в Наркомпросе РСФСР — по другую сторону перекрестка, в особняке на Чистых прудах, под началом Луначарского.

Крупскую и Луначарского можно было в разное время запросто встретить на улице в этих местах: ее — серебряно поседевшую, гладко причесанную, в круглых очках с увеличительными стеклами, похожую на пожилую сельскую учительницу; его — в полувоенном френче фасона Февральской революции, с крупным дворянским носом, как бы вырубленным из дерева, на котором сидело сугубо интеллигентское пенсне в черной оправе, весьма не подходившее к полувоенной фуражке с мягким козырьком вроде той, которую так недолго нашивал Керенский, но зато хорошо дополняющее темные усы и эспаньолку а-ля «Анри катр», — типичного монпарнасского интеллектуала, завсегда «Ротонды» или «Клозери де Лиля», знатока всех видов изящных искусств, в особенности итальянского Возрождения, блестящего оратора, умевшего без подготовки, экспромтом, говорить на любую тему подряд два часа, ни разу не запнувшись и не запутавшись в слишком длинных придаточных предложениях.

Рядом с Наркомпросом находился товарный двор главного Почтамта, куда въезжали в то время еще не грузовики, а ломовики, нагруженные почтовыми посылками, и оттуда потягивало запахом сургуча, пенькового шпагата, рогож, конского навоза, крупными дымящимися яблоками валившегося из-под хвостов першеронов к неопишуемой радости откормленных чистопрудных, вполне старорежимных воробьев.

Напротив же, если по прямой линии пересечь Чистопрудный бульвар, где в июне густо цветущие липы разливали медовый, глубоко провинциальный аромат вечной весны, можно было попасть в тот самый Харитоньевский переулок, куда некогда из деревни привезли бедную Таню Ларину на московскую ярмарку невест.

В Харитоньевский переулок выходило еще несколько других переулков, в одном из которых — Мыльниковом — поселился я, приехав в Москву, а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья, ринувшиеся с юга, едва только кончилась гражданская война, на завоевание Москвы: ключик, брат и друг, птицелов, наследник и прочие.

Мыльников переулок был известен тем, что в другом его конце от Харитония находилось здание бывшего училища Фидлера, хранившее на своих стенах следы артиллерийского обстрела еще времен первой революции 1905 года, когда здесь был штаб боевых дружин и его обстреливали из пушек карательные войска полковника Римана.

Следующим за Мыльниковым в Харитоньевский выходил Машков переулок. Здесь в высоком, многоквартирном, богатом доме предреволюционной постройки в несколько скандинавском стиле, что было тогда модно, в барских апартаментах Екатерины Павловны Пешковой, жены Максима Горького, в самый разгар гражданской войны, отвлекшись на часок от своих дел, Ленин слушал «Аппассионату» Бетховена, опустив голову на руку и полузакрыв узкие глаза — весь отдавшийся во власть музыки, тревожившей и вместе с тем усыпавшей воображение.

Вероятно, очень много выпало из моей памяти.

Запомнилось, как однажды по Харитоньевскому переулку ехал старомодно высокий открытый автомобиль и на заднем сиденье среди каких-то полувоенных заметно возвышалась худая фигура Максима Горького, с любопытством посматривавшего вокруг. Он был в своей общеизвестной шляпе. Из его пшеничных солдатских усов над бритым подбородком торчал мундштук с дымящейся египетской сигареткой.

Великий пролетарский писатель только что вернулся на родину после долгого пребывания в Сорренто и, пережив волнение и восторг всенародной встречи на площади Белорусско-Балтийского вокзала, уже став национальным героем, ехал к себе домой, на старую квартиру в Машков переулок.

Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара.

Обо многом мог бы еще поведать — и, надеюсь, поведает в этом сочинении — перекресток Мясницкой и Бульварного кольца, по которому, рассыпая из-под колес искры, катились провинциальные вагончики трамвая буквы А, в просторечии «Аннушки».

Но лучше всего запомнился мне Кривоколенный переулок, выходящий рядом с Наркомпросом на Чистые пруды, которые в ту пору я считал как бы своей вотчиной.

В Кривоколенном переулке помещалась редакция первого советского толстого журнала «Красная новь», основанного по совету самого Ленина. Туда часто заходили почти все писатели тогдашней Москвы.

Заходил, вернее забегал, также и я.

И вот однажды по дороге в редакцию в этом самом резко изломанном, длиннейшем и нелепейшем чисто московском переулке я и познакомился с наиболее опасным соперником Командора, широко известным поэтом — буду его называть с маленькой буквы королевичем, — который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу:

«Разбуди меня утром рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт».

Он не ошибся, он стал знаменитым русским поэтом.

Я еще с ним ни разу не встречался. Со всеми знаменитыми я уже познакомился, со многими подружился, с некоторыми сошелся на ты. А с королевичем — нет. Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену московского Большого театра в красной тунике, с развернутым красным знаменем, исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец «Интернационал». У нее в Москве в особняке на Пречистенке была студия молодых балерин-босоножек, и ее слава была безгранична. Она как бы олицетворяла собой вторжение советских революционных идей в мир увядающего западного искусства.

В области балета она, конечно, была новатором. Луначарский был от нее в восторге. Станиславский тоже.

Бурный роман королевича с великой американкой на фоне пуританизма первых лет революции воспринимался в московском обществе как скандал, что усугубилось довольно значительной разницей

лет между молодым королевичем и босоножкой бальзаковского возраста. В совсем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть ли не как старуха. Между тем люди, ее знавшие, говорили, что она была необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет, слегка по-англосакски курносенькая, с пышными волосами, божественно сложенная.

Так или иначе, она влюбила в себя рязанского поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за границу из Москвы на дюралевом «юнкерсе» немецкой фирмы «Люфтганза». Потом они совершили турне по Европе и Америке.

Один из больших остряков того времени пустил по этому поводу эпиграмму, написанную в нарочито архаической форме александрийского шестистопника:

«Такого-то куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».

Это было забавно, но несправедливо. Она была далеко не развалина, а еще хоть куда!

Иногда доносились слухи о скандалах, которые время от времени учинял русский поэт в Париже, Берлине, Нью-Йорке, о публичных драках с эксцентричной американкой, что создало на Западе громадную рекламу бесшабашному крестьянскому сыну, рубахе-парню, красавцу и драчуну с загадочной славянской душой.

Можно себе представить, до каких размеров выросли эти слухи в Москве, еще с грибоедовских времен сохранившей славу первой сплетницы матушки России.

Но вот королевич окончательно разодрался со своей босоножкой и в один прекрасный день снова появился в Москве — «как денди лондонский, одет».

Все во мне вздрогнуло: это он!

А рядом с ним шел очень маленький, ростом с мальчика, с маленьким носиком, с крупными передними зубами, по-детски выступающими из улыбающихся губ, с добрыми, умными, немного лукавыми, лучистыми глазами молодой человек. Он был в скромном московщевском костюме, впрочем при галстукке, простоватый на вид, да себе на уме. Так называемый человек из народа, с которым я уже был хорошо знаком и которого сердечно любил за мягкий характер и чудные стихи раннего революционного периода, истинно пролетарские, без подделки; поэзия чистой воды: яркая, весенняя, как бы вечно первомайская.

«Мой отец простой водопроводчик, ну а мне судьба сулила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, я стихов вызваниваю сеть».

Вот как писал этот поэт — сын водопроводчика из Немецкой слободы:

«Живей, рубанок, шибче шаркай, шушукай, пой за верстаком, чеши тесину сталью жаркой, стальным и жарким гребешком... И вот сегодня шум свиванья, и ты, кудрявясь второпях, взвиваешь теплые воспоминанья о тех возлюбленных кудрях»...

Как видите, он уже не только был искушен в ассонансах, внутренних рифмах, звуковых повторах, но и позволял себе разбивать четы-

рехстопный ямб инородной строчкой, что показывало его знакомство не только с обязательным Пушкиным, но также с Тютчевым и даже Андреем Белым.

Окинувши нас обоих лучезарным взглядом, он не без некоторой торжественности сказал:

— Познакомьтесь.

Мы назвали себя и пожали друг другу руки. Я не ошибся. Это был о н. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта, самородка, образ которого давно уже сложился в моем воображении, когда я читал его стихи: молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых березок легкой стопой идущий с котомкой за плечами в глухой, заповедный скит, сочинитель «Радуницы». Или бесшабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо. Или даже Ванька-ключник, злой разлучник, с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел:

молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого по последней парижской моде в габардиновый светлый костюм — пиджак в талию, — брюки с хорошо выглаженной складкой, новые заграничные ботинки, весь с иголочки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щечками и по-девичьи нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чертиков, нечто настороженное: он как бы пытался понять, кто я ему буду — враг или друг? И как ему со мной держаться? Типичная русская, крестьянская черта.

Я это сразу почувствовал и, сердечно пожимая ему руку, сказал, что полюбил его поэзию еще с 1916 года, когда прочитал его стихотворение «Лисица».

— Вам понравилось? — спросил он, оживившись. — Теперь мало кто помнит мою «Лисицу». Всё больше восхищаются другим — «Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, — хулиган». Ну и, конечно, «С бандитами жарю спирт...»

Он невесело усмехнулся.

— А я помню именно «Лисицу». Какие там удивительные слова, определения.

«Тонкой прошвой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо».

У подстреленной лисицы дремучее лицо! Во-первых, замечательный эпитет «дремучее», а во-вторых, не морда, а лицо. Это гениально! А как изображен выстрел из охотничьего ружья!

«Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалася в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь».

— Что ни слово, то находка!

Я вспомнил январь 1916 года, прифронтовую железнодорожную станцию Молодечно. Неслыханная красота потонувшего в снегах Полесья. В нетопленном станционном помещении я купил в киоске несколько иллюстрированных журналов, с тем чтобы было что почитать в землянке на позициях, куда я ехал добровольцем. Уже сидя в бригад-

ных санях, под усыпляющий звон валдайского колокольчика я развернул промерзший номер журнала «Нива» и сразу же наткнулся на «Лисицу» — небольшое стихотворение, подписанное новым для меня именем, показавшимся мне слишком бедным, коротким и невыразительным.

Но стихи были прекрасны.

Я увидел умирающую на снегу подстреленную лисицу:

«Как желна, над нею мгла металась, мокрый вечер липок был и ал. Голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал».

Я был поражен достоверностью этой живописи, удивительными мастерскими инверсиями: «...мокрый вечер липок был и ал». И наконец — «желтый хвост упал в метель пожаром, на губах — как прелая морковь»...

Прелая морковь доконала меня. Я никогда не представлял, что можно так волшебным образом пользоваться словом. Я почувствовал благородную зависть — нет, мне так никогда не написать! Незнакомый поэт запросто перешагнул через рубеж, положенный передо мною Буниным и казавшийся окончательным.

Самое же главное было то, что я ехал на фронт, быть может на смерть. Вокруг меня розовели, синели, голубели предвечерние снега, завалившие белорусский лес. Среди векового бора, к которому я неутомимо приближался, сочилось кровью низкое закатное солнце, и откуда-то доносились приглушенные пространством редкие пушечные выстрелы...

...я мог бы назвать моего нового знакомого как угодно: инок, мизгирь, лель, царевич... Но почему-то мне казалось, что ему больше всего, несмотря на парижскую шляпу и лайковые перчатки, подходит слово «королевич»... Может быть, даже королевич Елисей...

Но буду его называть просто королевич, с маленькой буквы.

Пока я объяснялся ему в любви, он с явным удовольствием, даже с нежностью смотрел на меня. Он понимал, что я не льщу, а говорю чистую правду. Правду всегда можно отличить от лести. Он понял, что так может говорить только художник с художником.

— А я, — сказал он, отвечая любезностью на любезность, — только недавно прочитал в «Накануне» замечательный рассказ «Железное кольцо», подписанный вашей фамилией. Стало быть, будем знакомы.

Мы еще раз обменялись рукопожатием и с этой минуты стали говорить друг другу ты, что очень понравилось сыну водопроводчика. Он сиял своими лучистыми глазами и сказал, как бы навек скрепляя нашу дружбу:

— Вот так — очень хорошо. А то я боялся, что вы не сойдетесь: оба вы уж больно своенравны. Но, слава богу, обошлось.

Теперь, застрявши перед красным светофором на перекрестке Кировская — Бульварное кольцо, я так ясно представил себе тротуар Кривоколенного переулка, вижу рядом странную, какую-то нерусскую колокольню — круглую башню и церковь, как говорят, посещавшуюся масонами соседней ложи, и зеленоватые стволы деревьев, которые

в моей осыпающейся памяти запечатлелись как платаны со стволами, пятнистыми как легавые собаки, чего никак не могло быть на самом деле: где же в Москве найдешь платаны? Вероятно, это были обыкновенные тополя, распускавшие по воздуху хлопья своего пуха.

А в начале Чистых прудов, как бы запирая бульвар со стороны Мясницкой, стояло скучное двухэтажное здание трактира с подачей пива, так что дальнейшее не требует разъяснений.

Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я не стеснясь спросил королевича, какого черта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить, на что он, ничуть на меня не обидевшись, со слезами на хмельных глазах, с чувством воскликнул:

— Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест! — Он поискал глазами и перекрестился на старую трактирную икону. — Хошь верь, хошь не верь: я ее любил. И она меня любила. Мы крепко любили друг друга. Можешь ты это понять? А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!

Он положил свою рязанскую кудрявую голову на мокрую клеенку и заплакал, бормоча:

— ...и какую-то женщину сорока с лишним лет... называл своей милой...

Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я видел станцию метро «Кировская» и памятник Грибоедову, я предчувствовал его ужасный конец. Почему? Не знаю!

Примерно года за полтора до самоубийства королевича мне удалось вытащить в Москву птицелова. Казалось, что, подобно эскесу, он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом.

Он уже был женат на вдове военного врача. У него недавно родился сын. Он заметно пополнил и опустился. Жена его, добрая женщина, нежно его любила, берегла, шила из своих старых платьев ему толстовки — так назывались в те времена длинные верхние рубахи вроде тех дворянских охотничьих рубах, которые носил Лев Толстой, но только со складками и пояском. Он жил стихотворной, газетной поденщиной в тех немногочисленных русских изданиях, которые еще сохранились. Украинский язык ему не давался. Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с надсадой вдыхал его селитренный дым.

Но стихи «для души» писать не бросил.

По-прежнему в небольшой комнате с крашеным полом, среди сохнувших детских пеленок и стука швейной машинки, среди птичьих клеток его окружали молодые поэты, его страстные и верные поклонники, для которых он был божеством. Он читал им свои и чужие стихи, тряся нестриженной, обросшей головой со следами бывшего пробора, и по-борцовски напрягал бицепсы полусогнутых рук.

Приехав из Москвы и увидев эту картину, я понял, что оставаться птицелову в Одессе невозможно. Он погибнет. Ему надо немедленно переезжать в Москву, где уже собрался весь цвет молодой русской советской литературы, где гремели имена прославленных поэтов, где жизнь была ключом, где издавались русские книги и журналы.

На мое предложение ехать в Москву птицелов ответил как-то неопределенно: да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже недурно, хотя, в общем, паршиво, но я привык. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка... и вообще есть литературный кружок «Потоки», ну и, сам понимаешь...

— К черту! — сказал я. — Сейчас или никогда!

К счастью, жена птицелова поддержала меня:

— В Москве ты прославишься и будешь зарабатывать.

— Что слава? Жалкая зарплата на бедном рублище певца, — вяло сострил он, понимая всю несостоятельность этого старого жалкого каламбура. Он произнес его нарочито жлобским голосом, как бы желая этим показать себя птицеловом прежних времен, молодым бесшабашным остряком и каламбуристом.

— За такие остроты вешают, — сказал я с той беспощадностью, которая была свойственна нашей компании. — Говори прямо: едешь или не едешь?

Он вопросительно взглянул на жену. Она молчала. Он посмотрел на увеличенный фотографический портрет военного врача в полной парадной форме — покойного мужа его жены.

Птицелов чрезвычайно почтительно относился к своему предшественнику и каждый раз, глядя на его портрет, поднимал вверх указательный палец и многозначительным шепотом произносил:

— Канцлер!

Он вопросительно посмотрел на портрет «канцлера». Но канцлер — строгий, с усами, в серебряной португее через плечо и с узкими серебряными погонами — молчал.

Птицелов подумал, потряс головой и солидно сказал:

— Хорошо. Еду. А когда?

— Завтра, — отрезал я, понимая, что надо ковать железо, пока горячо.

— А билеты? — спросил он, сделав жалкую попытку отдалить неизбежное.

— Билеты будут, — сказал я.

— А деньги? — спросил он.

— Деньги есть.

— Покажи.

Я показал несколько бумажек.

Птицелов еще более жалобно посмотрел на жену.

— Поедешь, поедешь, нечего здесь... — ворчливо сказала она.

— А что я надену в дорогу?

— Что есть, в том и поедешь, — грубо сказал я.

— А кушать? — уже совсем упавшим голосом спросил он.

— В поезде есть вагон-ресторан.

— Ну это ты мне не заливай. Дрельщик! — сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным, что он даже назвал меня этим жаргонным словом «дрельщик», что обозначало фантазер, выдумщик, врунишка.

— Вообрази! — сказал я настолько убедительно, что ему ничего не оставалось как сдаться, и мы условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда.

...Солнце жгло крашенный пол, и на крашенных подоконниках выскочили волдыри...

Я хорошо изучил характер птицелова. Я знал, что он меня не обманет и на вокзал придет, но я чувствовал, что в последний момент

он может раздумать. Поэтому я приготовил ему ловушку, которая, по моим расчетам, должна была сработать наверняка.

Незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился птицелов в сопровождении супруги, которая несла узелок с его пожитками и едой на дорогу. По его уклончивым взглядам я понял, что в последнюю минуту он улизнет.

Мы прохаживались вдоль готового отойти поезда. Птицелов кисло смотрел на зеленые вагоны третьего класса, бормоча что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне, в духоте, в тряске и так далее, он даже вспомнил при сей верной оказии Блока:

«...молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели»...

Он не хотел ехать среди пенья и плача.

— Знаешь, — сказал он, надуваясь, как борец-тяжеловес, — сделаем лучше так: ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно. Даю честное слово. Бенимунис, — не мог не прибавить он еврейскую клятву и посмотрел на свою жену.

Она, в свою очередь, посмотрела на птицелова, на его угнетенную фигуру, и ее нежное сердце дрогнуло.

— Может быть, действительно... — промямлила она полувопросительно.

Ударил первый звонок.

Тогда я выложил свою козырную карту.

— А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?

— А в каком? Наверное, в жестком, бесплацкартном.

— Мы поедем вот в этом вагоне, — сказал я и показал пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натертой воском, как паркет.

О существовании таких вагонов — «слипинг кар» — птицелов, конечно, знал, читал о них в книжках, но никак не представлял себе, что когда-нибудь сможет ехать в таком вагоне. Он заглянул в окно вагона, увидел двухместное купе, отделанное красным полированным деревом на медных винтах, стены, обтянутые зеленым рытым бархатом, медный абажур настольной электрической лампочки, тяжелую пепельницу, толстый хрустальный графин, зеркало и все еще с недоверием посмотрел на меня.

Я показал ему цветные плацкартные квитанции международного общества спальных вагонов, напечатанные на двух языках, после чего, печально поцеловавшись с женой и попросив ее следить за птичками и за сыном, неуклюже протиснулся мимо проводника в коричневой форменной куртке в вагон, где его сразу охватил хвойный запах особой лесной воды, которой регулярно пульверизировался блистающий коридор спального вагона с рядом ярко начищенных медных замков и ручек на лакированных, красного дерева дверях купе.

Чувствуя себя крайне сконфуженным среди этого комфорта в своей толстовке домашнего шитья, опасаясь в глубине души, как бы все это не оказалось мистификацией и как бы нас с позором не высадили из поезда на ближайшей станции, где-нибудь на Раздельной или Бирзуле, птицелов вскарабкался на верхнюю полку с уже раскрытой постелью, белеющей безукоризненными скользкими прохладными простынями, забился туда и первые сто километров сопел, как барсук в своей норе, упруго подбрасываемый международными рессорами.

До Москвы мы ехали следующим образом:

я захватил с собой несколько бутылок белого сухого бессарабского, в узелке у птицелова оказались хлеб, брынза, завернутые в газету «Моряк», и в течение полутора суток, ни разу не сомкнув глаз, мы читали друг другу свои и чужие стихи, то есть занимались тем, чем привыкли заниматься всегда, и везде, и при любых обстоятельствах: дома, на Дерibasовской, на Ланжероне, в Отраде и даже на прелестной одномачтовой яхте английской постройки «Чайка», куда однажды не без труда удалось затащить птицелова, который вопреки легенде ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе чем на двадцать шагов.

Я уж не говорю о купании в море: это исключалось.

...на «Чайку» налетел с Дофиновки внезапный шквал. Яхту бросало по волнам. Наши девушки спрятались в каюте. А птицелов лежал пластом на палубе лицом вниз, уцепившись руками за медную утку, проклиная все на свете, поносил нас последними словами, клялся, что никогда в жизни не ступит на борт корабля, и в промежутках читал, кажется, единственное свое горькое любовное стихотворение, в котором, сколько мне помнится, «металась мокрая листва» и было «имя Елены строгое» или нечто подобное.

Значит, и он тоже перенес некогда неудачную любовь, оставившую на всю жизнь рубец в его сердце, в его сознании, что, может быть, даже отразилось на всей его поэзии. Недаром же в его стихах о Пушкине были такие слова:

«...рассыпанные кудри Гончаровой и тихие медовые глаза».

Не думаю, чтобы у Натальи Николаевны были рассыпанные кудри и медовые глаза. Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля директорша, а глаза были отнюдь не тихие медовые, а черносморозинные, прелестные, хотя и слегка близорукие.

...А рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую однажды в юности так страстно полюбил птицелов и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером...

Я думаю, у всех нас, малых гениев, в истоках нашей горькой поэзии была мало кому известная любовная драма — чаще всего измена любимой, крушение первой любви, — рана, которая уже почти никогда не заживала, кровоточила всю жизнь.

У ключика тоже. Об этом я еще расскажу, хотя это скорее материал для психоанализа, а не для художественной прозы.

...в купе международного вагона, попивая горьковатое белое бессарабское, налитое в тяжелые стаканы с подстаканниками, которые дробно позванивали друг о друга в темпе мчавшегося курьерского, птицелов читал свои новые, еще не известные мне стихи.

...слышу его задыхающийся голос парнасца, как бы восхищенного красотой созданных им строф. Отрывки стихов сливались с уносящимися телеграфными столбами и пропадали среди искалеченных еще во время гражданской войны станционных водокачек, степных хуторов, местечек, черноземных просторов, где некогда носилась конница Котовского, — словом, там, где сравнительно недавно гремела революция, в которую мы так страстно были влюблены.

Строфы разных стихотворений смешивались между собой, превращаясь в сумбурную, но прекрасную поэму нашей молодости.

...«Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалюсь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотора дозорного скороговорку... и петь, задыхаясь на страшном просторе: «Ай, Черное море, хорошее море!..»

«За проселочной дорогой, где зatih тележный грохот, над прудом, покрытым ряской, Дидель сети разложил. Перед ним зеленый снизу, голубой и синий сверху — мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит... Так идет веселый Дидель с палкой, птицей и котомкой через Гарц, поросший лесом, вдоль по рейнским берегам, по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузиновой, по Баварии жмельной. Марта, Марта, надо ль плакать, если Дидель ходит в поле, если Дидель свищет птицам и смеется невзначай?»

...ему хотелось быть и контрабандистом, и чекистом, и Диделем...
Ему хотелось быть Витингтоном...

«Мы сваи поднимали в ряд, дверные прорубали ниши, из листьев пальмовых накат накладывали вместо крышки. Мы балки поднимали ввысь, лопатами срывали скалы. «О, Витингтон, вернись, вернись», — вода у взморья ворковала. Прокладывали наугад дорогу среди степных прибрежий. «О, Витингтон, вернись назад», — нам веял в уши ветер свежий. И с моря доносился звон, гудевший нежно и невнятно: «Вернись обратно, Витингтон, о, Витингтон, вернись обратно!»

Он был каким-то Витингтоном, которого нежный голос жены звал вернуться обратно. Но время было необратимо. Он мчался к славе, и возврата к прошлому не было.

Никогда он больше не увидит крашенный подоконник, раскаленный южным солнцем до пузырей.

Никогда уже больше мы не были с птицеловом так душевно близки, как во время этой поездки. Во времена Пушкина о нас бы сказали, наверное, так:

«Пленники Бахуса и Феба».

На горизонте, за подмосковными лесами нам уже блеснула на солнце звезда золотого купола Христа Спасителя и две тени — ее и моя, — сидевшие на ступенях храма, а за нами величественно возвышалась массивная бронзовая дверь.

Она прижалась ко мне так доверчиво, так печально. Она положила на мое плечо свою голову в самодельной шелковой шляпке с большими полями на проволочном каркасе. Шляпа мешала и ей и мне: она не позволяла нам поцеловаться. Почему-то ей не пришло в голову снять и положить шляпу на гранитные ступени.

Мы не спали почти целые сутки, навсегда прощались и все никак не могли оторваться друг от друга. Нам казалось невероятным, что мы уже никогда не увидимся. В этот мучительно длинный летний день мы любили друг друга сильнее, чем за все время нашего знакомства. Казалось, мы не сможем прожить и одного дня друг без друга. И в то же время мы знали, что между нами навсегда все кончено.

Какая же страшная сила разлучала нас?

Не знаю. Не знал ни тогда, ни теперь, когда пишу эти строки. Она тоже не знала. И никогда не узнает, потому что ее уже давно нет на

свете. Никто не знал. Это было вмешательство в человеческую жизнь роковой силы как бы извне, не подвластной ни человеческой логике, ни простым человеческим чувствам.

Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы.

Мы старались как могли отдалить минуту разлуки. Держась за руки, как играющие дети, мы ходили по городу, садились в трамваи, ехали куда-то, пили чай в трактирах, сидели на деревянных скамейках вокзалов, заходили на дневные сеансы кинематографов, смотрели картины, ничего не понимая, кроме того, что скоро будем навеки разлучены.

Каким-то образом мы очутились в самый разгар палящего дня этого московского, как сказал бы щелкунчик — буддийского, лета в Сокольническом запущенном парке, в самой глуши леса, в безлюдье, лежа в высокой траве, в бурьяне, пожелтевшем от зноя, среди поникших ромашек, по которым ползали муравьи, трудолюбиво выполняя свою работу.

Она сняла и отбросила в сторону шляпу, портившую ее прелестное круглое личико восемнадцатилетней девушки. Лежа на спине, она неподвижно смотрела синими невинными глазами в небо. Совсем девочка, прилежная школьница с немного выдающимся кувшинчиком нижней губы, что придавало выражению ее милото, мягко сточенного лица, неуловимо похожего на лицо старшего брата, нечто насмешливое, но не ироничное, а скорее светящееся умным юмором, свойственным интеллигентным южным семьям, выписывающим «Новый Сатирикон» и любящим Лескова и Гоголя.

Я подsunул руку под ее нежную шею. Она полуоткрыла жаркие губы, как бы прося напиток; над нами парами летали некрасивые московские бабочки. И я не знаю, как бы сложилась в дальнейшем наша жизнь, если бы вдруг мимо нас, с трудом пробираясь по плечи в траве, под звуки барабана не прошел маленький отряд пионеров в белых рубашках и красных галстуках.

Мы отпрянули друг от друга.

И когда пионеры скрылись в зарослях Сокольнического леса, мы поняли, что бессильны противостоять той злой таинственной силе, которая не хотела, чтобы мы навсегда принадлежали друг другу.

Она поправила щелкнувшую подвязку, надела шляпу, села.

А знойный день все продолжался и продолжался, переходил в вечер, потом в душную ночь с зарницами, и мы ходили по Москве, по ее Садовому кольцу, которое в то время было еще действительно садовым, так как сплошь состояло из садилов перед маленькими домиками, потом по Бульварному кольцу, мимо Пушкина, Тимирязева с голубем на голове, мимо Гоголя, потонувшего в своей бронзовой шинели, потом по древним переулкам, мимо особняков Сивцева Вражка и Собачьей площадки, иногда целовались, плакали, пока наконец не очутились возле храма Христа Спасителя и сели, измученные, на его гранитные ступени, еще не остывшие после дневной жары, прижались друг к другу, немного вздремнули...

Близился рассвет. Город был пуст и мертв. Только где-то очень далеко и очень высоко слышался звук невидимого самолета, и мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа, началась всемирная война и город вокруг нас был уже умерщвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами, что нас — ни ее, ни меня — уже нет в живых, наши души отлетели и толь-

ко остались два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишенного божества, хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца все еще продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья, тот самый легендарный купол храма Христа Спасителя, который мы с птицеловом уже видели из окна международного вагона.

Легко представить то удовольствие, с которым я, считая себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы молодого Советского государства.

Сломивши сопротивление птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве — изделие известных кимрских сапожников, — а потом повел на Поварскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда птицелов вышел в тесноватом костюме с длинноватыми брюками.

Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве сравнительно прилично одетый, стуча по тротуарам новыми ботинками.

Я водил его по редакциям, знакомил с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще мало известным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы.

Птицелов был молчалив, исподлобья посматривал по сторонам, многозначительно тряс головой, как бы поддакивая и желая сказать:

«Так-так... Да, да... очень хорошо... Прекрасно... Посмотрим, посмотрим»...

Впрочем, он принадлежал к тем счастливицам, которым не приходится гоняться за славой. Слава сама гонялась за ними.

Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе. Молва о нем покатила широкой волной. И моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со славой птицелова.

Однако когда мы сидели на бронзовой цепи возле памятника Пушкину и сочиняли сонеты, молва о птицелове еще не дошла до ушей знаменитого королевича.

Беседа наша была душевной. Королевич, ничуть не кичась своей всероссийской известностью, по-дружески делился с нами, как теперь принято выражаться, творческими планами и жаловался на свою судьбу, заставившую его, простого деревенского паренька, жить в городе, лишь во сне мечтая о родной рязанской деревне.

Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким уж простым был он парнем, успел поучиться в университете Шанявского, немного знал немецкий язык, потерял еще в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов, однако время от времени в нем вспыхивала неодолимая жажда вернуться в Константиново, где на пороге рублевой избы с резными рязанскими наличниками на окошках ждала его старенькая мама в ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил.

...мы очутились в пивной, где жажда родной рязанской земли вспыхнула в королевиче с небывалой силой...

Стихи, которые мы, перебивая друг друга, читали, вдруг смолкли, и королевич, проливая горькие слезы и обнимая нас обеими руками,

заговорил своим несколько надсадным голосом, как бы даже с некоторым иностранным акцентом (может быть, чуть-чуть немецким), неточно произнося гласные: «э» вместо «а», «е» вместо «и», «ю» вместо «у» и так далее. Акцент этот был еле заметен и не мешал его речи звучать вполне по-рязански.

— Братцы! Родные! Соскучился я по своему Константинову. Давайте плюнем на все и махнем в Рязань! Чего там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы четыре. Ну? Давайте! А? Я вас познакомлю с моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей все обещаюсь да обещаюсь приехать, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен...

...несмотря на наши возражения, что, мол, как же это так вдруг, ни с того ни с сего ехать в Рязань?.. А вещи? А деньги? А то да се?

Королевич ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер капризной знаменитости: коли чего-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала.

Вынь да положи!

Деньги на билеты туда, если скинуться, найдутся. До Рязани доедем. А от Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Ну, это совсем пустое дело. На базаре в Рязани всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает. Почтет за честь. Поедем на немазаной телеге по лесам, по полям, по березнячку, по родной рязанской земле!.. С пижком въедем в Константиново! А уж там не сомневайтесь. Моя старушка примет вас как родных. Драчен напечат. Самогону выставит на радостях. А назад как? Да очень просто: тут же я ударю телеграмму Воронскому в «Красную новь». Он мне сейчас же вышлет аванс. За это я вам ручаюсь! Ну, братцы, поехали!

Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с птицеловом заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета, как бы простреленных навывлет дробинкой, и королевич сразу же устремился на перрон, с тем чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волость, в родное село, к маме.

Однако оказалось, что поезд отходит лишь через два часа, а до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере.

Лицо королевича помрачнело.

Ждать? Это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно — по щучьему веленью, по его хотенью.

Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания оказались непреодолимыми даже для его капризного гения.

Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках.

В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных, трактиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма — первые, еще весьма скромные порождения нэпа.

После покупки билетов у нас еще осталось немного денег — бутылки на три пива.

Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубашке навывшуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посыпанных ржаных сухариков, такими же крошечными мягкими пряничками и прочим в том же духе доброй старей, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусок сама собой возникла такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зеленое бутылочное стекло.

Снова началось безалаберное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь.

Время от времени королевич выбегал на вокзальную площадь и смотрел на башенные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего Казанского.

Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оказывалось около полутора часов.

Между тем наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки. Тогда птицелов предложил вернуть обратно в кассу его билет, так как он хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы и лучше ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъем.

Мы охотно согласились, и билет птицелова был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на двадцать. Тогда королевич, который начал читать нам свою длинейшую поэму «Анна Снегина», печально махнул рукой и отправился в кассу сдавать остальные два билета, после чего камень свалился с наших душ: слава богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город, и королевич, забыв свою старушку маму в ветхом шушуне и шустрю сестренку и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви, продолжал прерванное чтение поэмы со всхлипами и надсадными интонациями:

— ...когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково «нет»! Далекие, милые были — тот образ во мне не угас...

При этих щемящих словах королевич всхлипнул, заплакал горячими слезами, по моим щекам тоже потекли ручейки, потому что и я испытывал горечь своей первой любви, повторял про себя такие простые и такие пронзительно-печальные строчки:

«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас».

Даже холодный парнасец птицелов, многозначительно поддакивавший каждой строфе «Анны Снегиной», опустил свою лохматую голову и издал носом горестное мычание: видно, и его пронзили эти совсем простые, но такие правдивые строчки, напомнив ему «тихие медовые глаза», давно уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого, не совсем, впрочем, далекого, но невозвратимого, невозвратимого, невозвратимого...

Одним словом, вместо Константинова мы, уже глубокой ночью, брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились, очутились в глухом переулке, где у королевича всюду находились друзья — никому не известные простые люди.

Мы разбудили весь дом, но королевича приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнатке какого-то многосемейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как арлекин, ну и так далее.

А потом скрежет первых утренних трамваев, огибающих бульвары кольца А и тогда еще не вырубленные палисадники кольца Б, в которых весной гнездились соловьи, будя на рассвете разоспавшихся москвичей, и где рядом с садом «Аквариум» возвышался громадный, многоквартирный доходный дом, принадлежавший до революции крупному московскому домовладельцу по фамилии Эльпит. После революции этот дом был национализирован и превращен в рабочую коммуны, которая все же сохранила имя прежнего владельца, и стал называться «дом Эльпит-рабкоммуна».

...не так-то легко расставались дома с фамилиями своих владельцев. Десятиэтажный дом в Большом Гнездиновском переулке, казавшийся некогда чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскребом, с крыши которого открывалась панорама низкорослой старушки Москвы, долго еще назывался «дом Нирензее» — по имени его бывшего владельца. Гастроном № 1 на улице Горького еще до сих пор кое-кто называет «магазин Елисеева», а булочную недалеко от него — «булочной Филиппова», хотя сам Филиппов давно уже эмигрировал и, говорят, мечтал о возвращении ему советской властью реквизированной булочной и даже писал из Парижа своим бывшим пекарям просьбу выслать ему хотя бы немножко деньжонков, о чем Командор написал стишок, напечатанный в «Красном перце»:

«...в архив иллюзии сданы, живет Филиппов липово, отощал Филиппов, и штаны протерлись у Филиппова»...

Хотя штаны и протерлись, но булочная долго называлась булочной Филиппова.

Что касается дома «Эльпит-рабкоммуна», то о нем был напечатан в газете «Накануне» весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь буду называть синеглазым — тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное.

Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом...

...а тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная Манишка. Он проживал в доме «Эльпит-рабкоммуна» вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо

выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и *лисье*.

Он был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице.

В области искусств для нас существовало только два авторитета: Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной «башни Татлина», о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры.

Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик,

«колебать мировые струны».

А мы эти самые мировые струны колебали непрерывно, низвергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма корбило синеглазого, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе.

В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прынелевым верхом.

Он любил поучать — в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневающимся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.

Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти.

Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален.

Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом.

Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прынелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некоей Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской».

Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси.

Но тогда до этого было еще довольно далеко.

Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сближала с синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим, полтавским, даже как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение Гофманом.

Эти два магических Г — Гофман и Гоголь — стали нашими кумирами. Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гофманской фантазии.

А мир, в котором мы тогда жили, как нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал — противоестественном, мире нэпа, населенном призраками.

Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда называлось «гримасами нэпа» и что стало главной пищей для сатирического гения синеглазого.

...Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горячей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское.

Это он пустил в ход словечко «гофманиада», которым определялось каждое невероятное происшествие, свидетелем или даже участником коего мы были.

Нэп изобиловал невероятными происшествиями.

В конце концов из нашего узкого кружка слово «гофманиада» перешло в более широкие области мелкой газетной братии. Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей за кружкой пива выразился приблизительно так:

— Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то гофманиада!

Впоследствии один из биографов синеглазого написал следующее:

«Он поверил в себя как в писателя поздно — ему было около тридцати, когда появились первые его рассказы».

Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не написавши еще ни одного рассказа.

Уверенность в себе как в будущем писателе была свойственна большинству из нас; когда, например, мне было лет девять, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно одностомному собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем.

Хотя синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с гофманиадой так и называлась «Дьяволиада», что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски «Чертовщина»: история о двух братьях Кальсонерах в дряхлех громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая «гофманиада», обильно посыпанная гоголевским перцем.

Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада.

Ненависть наша к нэпу была так велика, что однажды мы с синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде «Сатирикона». Когда мы выбирали для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горячей серы, и он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал:

— Наш журнал будет называться «Ревизор»!

Издатель нашелся сразу: один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом количестве и шныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией синеглазого, автора нашумевшей «Дьяволиады»?

(Впрочем, не ручаюсь, возможно это было еще до появления «Дьяволиады».)

Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мною, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже — могу сказать — избрел.

Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не мемуары, не лирический дневник...

Но что же? Не знаю!

Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия.

И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не пойдем друг друга.

...Мы с синеглазым быстро накатали программу будущего журнала и отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель...

Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий — например, журнальчик «Рупор», юмористическая газетка «Тачка» и многие другие, — так что я не сомневался, что Сергей Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный фельетонист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия.

Мы стояли перед Ингуловым — оба в пальто — и мяли в руках шапки, а Ингулов, наклонивши к письменному столу свое красное лицо здоровья-сангвиника, пробежал глазами нашу программу. По ме-

ре того как он читал, лицо синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял свой аккуратный пробор прилежного блондина, искоса поглядывая на меня, и я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка — нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как у его сестренки-синеглазки.

— Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли, гениально? — воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова.

— Гениально-то оно, конечно, гениально, — сказал Сергей Борисович, — но что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы возьмете деньги на издание?

Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание.

Ингулов расстегнул ворот своей вышитой рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в бане грудь и тяжело вздохнул.

— Идите домой, — сказал он совсем по-родственному и махнул рукой.

— А журнал? — спросил я.

— Журнала не будет, — сказал Ингулов.

— Да, но ведь какое название! — воскликнул я.

— Вот именно, — сказал Ингулов.

— Странно, — сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице.

Синеглазый нежно, но грустно назвал меня моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил:

— Ай-яй-яй! Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике «Ревизоре», а лучше пойдем к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный? — участливо спросил он.

Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков.

Об этих трудных минутах написал привезенный мною в Москву птицелов:

«...и пылкие буквы МСПО расцветают сами собой над этой оголенной жратвой (рычи, желудочный сок!)... и голод сжимает скулы мои, и зудом ноет в зубах, и маленькой мышью по горлу вниз падает в пищевод... и я содрогаюсь от скрипа костей, от мышшей возни хвоста, от медного запаха смолы, заливающего гортань... И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим! Лишь поет нищета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча — и луна плывет в замерзающем стекле»...

Это было, конечно, написано птицеловом со свойственной ему гиперболичностью.

У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако... Однако...

Не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай внакладку из

семейного самовара, который мне выпадало счастье ставить в холодной, запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой, которая, как и ее брат, тоже была синеглазой, синеглазкой.

Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка не отремонтированной со времен первой мировой войны квартиры в доме «Эльпит-рабкоммуна».

У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.

Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.

На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуненака».

В Москве находилась контора «Накануне», куда мы и сдавали свои материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом «юнкерсе» или «дорнье комет», а потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатанными в этой сменовеховской газете.

Мы все подрабатывали в «Накануне», в особенности синеглазый, имевший там большой успех и шедший, как говорится «первым номером».

Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стакане.

Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусенького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:

синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто «лимонами», мы должны были идти играть в рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец — могучую советскую десятку, которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского фунта стерлингов: блестящий результат недавно проведенной валютной реформы.

Мы с синеглазым быстро одевались и, так сказать, «осенив себя крестным знаменем», отправлялись в ночь.

Современному читателю может показаться странным, даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но не забудьте, что ведь это был нэп, — и верьте, не верьте! — в столице молодого Советского государства, центре

мировой революции, имелось два игорных дома с рулеткой: одно казино в саду «Эрмитаж», другое на теперешней площади Маяковского, а тогда Триумфальной, приблизительно на том месте, где сейчас находятся Зал имени Чайковского, Театр сатиры и сад «Аквариум», а тогда был цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил синеглазый.

Вот, братцы, какие дела!

Над Триумфальной площадью с уютным садиком, трамвайной станцией и светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась въюзная ночь, цыганская московская ночь.

Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков пронеслись, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады.

У подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих:

— Пожа, пожа! А вот прокачу на резвой!..

Их рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизаций гражданской войны, перебирали породистыми, точеными ножками, и были покрыты гарусными синими сетками, с капором на голове, и скалились и косились на прохожих, как злые красавицы.

Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили мутные фигуры игроков.

— Прямо-таки гофманиада! — сказал я.

— Не гофманиада, а пушкиниана, — пробурчал синеглазый, — даже чайковщина. «Пиковая дама». Сцена у Лебяжьей канавки. «Уж полночь близится, а Германа все нет»...

Он вообще был большой поклонник оперы. Его любимой оперой был «Фауст». Он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля; иногда грустно напевал: «Я за сестру тебя молю», что я относил на свой счет.

...С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафешантанной ковровой дорожкой, с медными прутьями.

— Эй, господа молодые люди! — кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики в синих поддевах. — Куда же вы прете не раздевшись!

Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал:

— Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.

Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями — «частники», «нэлманы» или даже «совбуры», советские буржуи. На всех на них лежал особый отпеча-

ток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом.

Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие уютнообразные брючки, из-под которых блестяли узконосые боксовые полуботинки «от Зеленкина» из солодовниковского пассажа.

Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но нам с синеглазым все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей.

Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал:

— Пардон. Это мое стуло. Вас здесь не сидело.— И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.

Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались.

— Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? — озабоченно спросил синеглазый.

(Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш: получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками — таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает.)

— Ставим на красное,— решительно сказал я.

Синеглазый долго размышлял, а потом ответил:

— На красное нельзя.

— Почему?

— Потому что красное может не выиграть,— сказал он, пророчески глядя вдаль.

— Ну тогда на черное,— предложил я, подумав.

— На черное? — с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул.— Нет, дорогой...— Он назвал мое уменьшительное имя.— На черное нельзя.

— Но почему?

— Потому что черное может не выиграть.

В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нэпманов.

Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками.

Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало злое зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого злое зеро Помгол — Комиссия помощи голодающим Поволжья — и содержал свои рулетки.

Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна.

Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман.

Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по выюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер — непременно чед-

дер! — который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна.

Представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме «Эльпит-рабкоммуна» в комнате синеглазого вся наша гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавшему мне как-то в ответ на мои любовные излияния:

— Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки: девушка в шелковой блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без дырочек, гладкие, пришитые снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это и не делай излишних иллюзий.

С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызвало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой.

Ах, моя незабвенная синеглазка!

Как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным, пустынным залам музеев западной живописи (Морозова и Щукина), два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами, доселе нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мери Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине — разве только реснички... И пучок пыльного света, в котором, как в ткацком станке, передвигались черные и белые нити, озаряя нимбом ее распушившиеся, обычно гладко причесанные волосы.

Мы смотрели в Театре оперетты «Ярмарку невест», и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую» уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски, и, гуляя в антракте по фойе рядом с синеглазкой, я не мог оторвать взгляда от раковинки ее ушка, розовешего среди русских волос, а вокруг нас ходили зрители того времени — нэпманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые «цейсы» в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом Боевого Красного Знамени на алой шелковой розетке.

...и мы слушали «Гугенотов» в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до озноба холодной снаружи и по-девичьи горячей внутри, и я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила и на всю жизнь любит только меня, и в ожидании следующего свидания я как одержимый писал ночью в Мыльниковом переулке:

«Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного

замка, конечно, корь: бредят окна, коробит пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках Рауль. Заблудилась в небрежной прическе бровь, и запутался такт в виске. Королева, перчатка, Рауль, любовь — все повисло на волоске. А над темным партером повис балкон и барьер, навалясь, повис,— но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз. И висят... и не рушатся... Бредит пульс... скрипка скрипке доносит весть: «Мне одной будет скучно без вас, Рауль». «До свиданья: я буду в шесть»...

Из всех этих строф, казавшихся мне такими горькими и такими прекрасными, щелкунчик признал достойной внимания только однуединственную строчку:

«...и барьер, навалясь, повис...»

Остальное же с учтывым презрением он отверг, сказав, что это — вне литературы.

...Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову» и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбilo его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком.

Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акмеистически завываниями:

— ...свой благородный груз...— Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк.

Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например мне, из Воронежа.

— ...свой благородный груз,— шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки.— С чего начать?— продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев сада перед домом Герцена, шевелящихся за маленьким окном.

«...Все трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого. Земля гудит метафорой, и легкие двуколки в броской упряжи густых от натуги птичьих стай разрываются на части, соперничая с хряпящими любимцами ристалищ»...

Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью.

Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое. Может быть:

«...и военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел слюдяной перепончатый лес... И с трудом пробиваясь вперед в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил...»

Не эти ли стихи погрузили меня тогда, на рассвете, на ступеньках храма Христа Спасителя, в смертельное оцепенение, в предчувствие неизбежной мировой катастрофы...

Но нет! Тогда были не эти стихи. Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Стансы:

«Холодок щекочет темя, и нельзя признаться вдруг,— и меня срывает время, как скосило твой каблук! Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук, все чего-то не хватает, что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде шелестила, кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб».

Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно-отчаянных стихов.

Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальные страдания молодого безвестного поэта, почти нищего, «гуляки праздного», с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе у десятого дерева с краю Чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка и по кругу как заводные резали лед конькобежцы с развевающимися за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп; с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала; с отчаянными письмами; с клятвами; с бессонницей и нервами, натянутыми как струны; и, наконец, с ничем не объяснимым разрывом — сжиганием пачек писем, слезами, смехом,— как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только «все или ничего».

А потом продолжение жизни, продолжение все той же бесконечной зимы, все тех же Чистых прудов с музыкой, с конькобежцами, но уже без нее — маленькой, прелестной, в теплом пальто, с детски округлым, замерзшим, как яблоко, лицом,— с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма, в узенькой девичьей комнатке в Киеве на каком-то — кажется, на Владимирском — спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, синеглазый делал первые наброски «Белой гвардии»...

...и на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари прилежной курсистки, освещенные трепещущими крыльями отсветов пламени, сжигавшего пачку нашей любовной переписки...

Как, должно быть, мое душевное волнение было не похоже на душевное волнение щелкунчика.

Щелкунчик уже вступил в тот роковой возраст, когда человек начинает ощущать отдаленное, но уже заметное приближение старости: поредевшие волосы, не защищающие от опасного холода, женский каблук, косо сточенный временем...

...Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель... Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные

сны и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на сруб, верхушки, которая все еще продолжает колобродить...

Щелкунчик всегда «колобродил».

Я смотрел на него, несколько манерно выпевавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое, и головка щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом казалась мне колобродящей верхушкой чудного дерева.

Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к личной жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флигелька — густая зелень сада перед ампириным московским домом с колоннами по фасаду.

Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется лип, а может быть, тополей, и мне чудилось, что они тоже колобродят, обреченные на сруб.

Глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же, при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило «Московский дождик».

«...он подает куда как скупой воробьиный холодок: немного нам, немного купам, немного вишням на лоток. И в темноте растет кипенье — чайнок легкая возня, как бы воздушный муравейник пирует в темных зеленях; из свежих капель виноградник зашевелился в мураве, как будто холода рассадник открылся в лапчатой Москве»...

Что-то детское мелькнуло при этом в его бритых шевелящихся губах, в его верблюжьей, высокомерно вскинутой головке, в его опущенных веках, в его улыбке жмурящегося от удовольствия кота.

Я пришел к щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в Главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи.

При слове «агитстихи» щелкунчик поморщился, но все же согласился, и мы отправились в дом бывшего страхового общества «Россия» и там предстали перед Крупской.

Надежда Константиновна сидела за чрезмерно большим письменным столом, вероятно реквизированным во время революции у какого-нибудь московского богача. Во всяком случае, более чем скромный вид Крупской никак не соответствовал великолепию этого огромного стола красного дерева, с синим сукном и причудливым письменным прибором.

Ее глаза, сильно увеличенные стеклами очков, ее рано поседевшие волосы стального цвета, закрученные на затылке узлом, из которого высывались черные шпильки, несколько неодобрительное выражение ее лица — все это, по-видимому, не очень понравилось щелкунчику. Он был преувеличенного мнения о своей известности и, вероятно, полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление, в то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению, понятия не имела, кто такой «знаменитый акмеист».

Я опасался, что это может привести к нежелательным последствиям, даже к какой-нибудь резкости со стороны щелкунчика, считавшего себя общепризнанным гением.

(Был же, например, случай, когда, встретившись с щелкунчиком на улице, один знакомый писатель весьма дружелюбно задал щелкунчику традиционный светский вопрос:

— Что новенького вы написали?

На что щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно с цепи сорвался.

— Если бы я что-нибудь написал новое, то об этом уже давно бы знала вся Россия! А вы невежда и пошляк! — закричал щелкунчик, трясясь от негодования, и демонстративно повернулся спиной к бестактному беллетристу.)

Однако в Главполитпросвете все обошлось благополучно.

Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих — батраков — за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге. Надо написать на эту тему разоблачительную агитку.

Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него полкило отличной ветчины, батон белого хлеба и бутылку телиани — грузинского вина, некогда воспетого щелкунчиком.

Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда принято было говорить, к выполнению социального заказа.

Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора.

— Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков, — бодро начал я и предложил щелкунчику продолжить, но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел:

— Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы!

После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Лафонтена и наконец русских — Дмитриева и Крылова.

Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и его работнице-батрачке более всего подходит жанр крыловской басни: народно и поучительно.

Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собою слова, оставившись, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музыки, потом снова начинал ходить взад-вперед.

Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш.

Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что

«...есть разных хитростей у человека много и жажда денег их влечет к себе, как вол»...

Он призадумался.

Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно повисла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем все это кончится.

И вдруг щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложно-классический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подобало великому баснописцу:

— Кулак Пахом, чтоб не платить налога...— Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно: — Наложницу себе завел!

Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится.

На этом и кончилось покушение щелкунчика включиться в агит-позию Главполитпросвета.

Мы с удовольствием раздавили бутылочку прославленного грузинского вина за упокой души нашего хитрого кулака Пахома и его наложницы.

А я зализывал свои сердечные раны и продолжал ходить по редакциям в поисках заработка — существование случайное, ненадежное, но по сравнению с тем знойным, ужасным летом поволжского голода 1921 года, которое мы пережили в Харькове вместе с ключиком, теперешняя моя жизнь казалась раем.

Можно ли забыть те дни?

Многое ушло навсегда из памяти, но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени поклялся, что однажды — и он это видел собственными глазами — мы с ключиком вошли босиком в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды Наркомпроса, а может быть, и какого-то культ-отдела — уже не помню, как называлось это центральное учреждение республики, столицей которой в те времена был еще не Киев, а Харьков.

Да, действительно, мы шли по хорошо натертому паркету босые. Мало того. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы.

И тем не менее мы вовсе не были подонками, босяками, нищими. Мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли на штате в центральном республиканском учреждении Юграста, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде.

Просто было такое время: разруха, холод, отсутствие товаров, а главное, ужасный, почти библейский поволжский голод. Об этом уже забыли, а тогда это было неслыханным бедствием, обрушившимся на Советскую республику, только что закончившую гражданскую войну. Сейчас трудно представить всю безвыходность нашего положения в чужом городе, без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки, для того чтобы не умереть с голоду.

Вообще-то мы обычно питались по талонам три раза в день в привилегированной, так называемой вуциковской столовой, где получали на весь день полфунта сырого черного хлеба, а кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких деденцов, в обед какую-то затируху и горку ячной каши с четвертушкой крутого яйца, заправленной зеленым машинным маслом, а вечером опять ту же ячную кашу, но только сухую и холодную.

Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой, которой вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦИКа.

Жить можно!

Но однажды, придя утром в столовую, мы увидели на дверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на две недели.

Мы жили в бывшей гостинице «Россия», называвшейся Домом Советов, в запущенном номере с двумя железными кроватями без наволочек, без простынь и без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало. В конце концов мы даже умудрились продать оболочки наших тюфяков, а морскую траву, которой они были набиты, незаметно и постепенно выбросили во двор, куда выходило наше окно.

Внизу у конторки бывшего портье сидел на табурете печальный старик-еврей, продававший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы. Сначала мы эти папиросы покупали за наличные, а потом стали брать в кредит, и наш долг вырос до таких размеров, что нам стало неловко проходить мимо старика, и мы норовили проскользнуть, как призраки, и были очень довольны, что подслеповатый старик нас не замечает.

Мы не подозревали, что он нас отлично видит, но жалеет и делает из деликатности вид, что не замечает.

Потом, когда времена изменились к лучшему и мы расплатились, он нам в этом простодушно признался.

Итак: есть было нечего, курить было нечего, умываться было нечем.

...знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка — забыл ее название, — посредине которой разлагалась неизвестно как туда попавшая дохлая корова со зловонно раздутым боком, издали похожим на крашеную деревянную ложку.

Было воскресенье. Церковь на задах нашей гостиницы возле базарной площади трезвонила всеми своими колоколами, как тройка застоявшихся лошадей.

Мы голодали уже второй день. Делать было решительно нечего. Мы вышли на сухую замусоренную площадь, раскаленную полуденным украинским солнцем, и вдруг увидели за стеклом давно не мытой, пыльной витрины телеграфного агентства выставленный портрет Александра Блока. Он был в черно-красной кумачовой раме.

Мы замерли, как бы пораженные молнией:

нашей сокровенной мечтой было когда-нибудь увидеть живого Блока, услышать его голос. Мы прочитали выставленную рядом с портретом телеграмму, где коротко сообщалось о смерти Блока.

Мысль о том, что нам никогда не суждено будет увидеть поэта, изображенного на уже успевшей выгореть большой фотографии — кудрявая голова, прекрасное лицо, белые пророческие глаза, отложной воротник байроновской рубашки, — такой противоестественной среди этого зноя, пыли, провинциального мусора на запущенной площади города, оглушенного воскресным трезвонном базарной церкви, что мы ужаснулись тому необратимому, что произошло.

В один миг в нашем воображении пронеслись все музыкальные и зрительные элементы его поэзии, ставшие давно уже как бы частью нашей души.

«Во рву некошеном... красивая и молодая... Нет имени тебе, мой дальний, нет имени тебе, весна... О доблестях, о подвигах, о славе... Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!.. И Кельна дымные громады... Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Анна видит неземные сны... Дыша духами и туманами... И шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука... Далеко отступило море, и розы оцепили вал... Окна ложные на небе черном и прожектор на древнем дворце; вот проходит она вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице, а вино уж мутит мои взоры, и по жилам оно разлилось; что мне спеть в этот вечер, синьора, что мне спеть, чтоб вам славно спалось... Только странная воцарилась тишина... Отец лежал в Аллее Роз...»

Это все написал он, он...

Нас охватило отчаяние. Мы вдруг ощутили эту смерть как конец революции, которая была нашим божеством. Не в духе того времени были слезы. Мы разучились плакать.

Мы с ключиком не плакали.

Потом мы молча пошли сквозь адский зной этого августовского полудня в изнемогающий от жажды безлюдный, пыльный городской сад или даже, кажется, парк — не все ли равно, как он назывался? — шаркая босыми ногами по раскаленному гравию дорожек, и легли на дотла выгоревшую траву совсем желтого газона, несколько лет уже не поливавшегося, вытоптанного.

Мы лежали рядом, как братья, вверх лицом к неистовому солнцу, уже как бы невесомые от голода, ощущая единственное желание — покурить. На дорожках мы не нашли ни одного окурка. Мы как бы висели между небом и землей, чувствуя без всякого страха приближение смерти.

Чего же еще мы могли ожидать?

— Я никогда не думал, что смерть может быть так прекрасна: вокруг нас мир, в котором уже нет Блока, — сказал ключик со свойственной ему патетичностью.

Ничто не мешало нам перестать существовать.

Солнце и голод превращали нас еще при жизни в мощи. Мы чувствовали себя святыми. Может быть, мы и впрямь были святыми?

Сколько времени мы лежали таким образом на выжженной траве, я не знаю. Но душа все еще не хотела оставлять нашего тела. Солнце, совершая свой мучительно медленный кругообразный путь, опускалось в опаленную листву мертвого парка.

Наступали сумерки, такие же жгучие, как и полдень. Можно было думать, что они шли из вымершего Заволжья.

А мы все еще, к нашему удивлению, были живы.

— Ну что ж, пойдем, — сказал ключик с безжизненной улыбкой.

Мы с трудом поднялись и побрели в свою осточертевшую нам гостиницу. У нас даже не хватило сил прожуркнуть мимо старика, продающего папиросы, который со скрытым укором посмотрел на нас.

Потом мы лежали на своих твердых кроватях и, желая заглушить голод, громко пели, не помню уже что. Откуда-то с улицы доносились звуки дряхлой дореволюционной шарманки, надрывавшие сердце, усиливавшие наше покорное отчаяние.

В голой лампочке под потолком стали медлительно накаливаться, краснеть вольфрамовые нити, давая представление о стеклянном яйце,

пыльной колбочке, в котором проклеивается цыпленок чахлого света.

Из коридора иногда доносились

«...шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпор»...

Это проходили постояльцы гостиницы, по преимуществу бывшие военные, еще не снявшие своей формы, ныне советские служащие. Звук этих шагов еще более усиливал наше одиночество.

Но вдруг дверь приоткрылась и в комнату без предварительного стука заглянул высокий красивый молодой человек, одетый в новую, с иголочки красноармейскую форму: гимнастерка с красными сукоными «разговорами», хромовые высокие сапоги, брюки-галифе, широкий офицерский пояс, а на голове расстегнутая крылатая буденовка с красной суконой звездой. Если бы на рукаве были звезды, а на отложном воротнике ромбы, то его можно было бы принять по крайней мере за молодого комбрига или даже начдива — легендарного героя закончившейся гражданской войны.

— Разрешите войти? — спросил он, вежливо стукнув каблуками.

— Вы, наверное, не туда попали, — тревожно сказал я.

— Нет, нет! — воскликнул, вдруг оживившись, ключик. — Я уверен, что он попал именно сюда. Неужели ты не понимаешь, что это наша судьба? Шаги судьбы. Как у Бетховена!

Ключик любил выражаться красиво.

— Вы такой-то? — спросил воин, обращаясь прямо к взъерошенному ключику, и назвал его фамилию.

— Ну? — не без торжества заметил ключик. — Что я тебе говорил? Это судьба! — А затем обратился к молодому воину голосом, полным горделивого шляхетского достоинства: — Да. Это я. Чем могу служить?

— Я, конечно, очень извиняюсь, — произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату, — но, видите ли, дело в том, что послезавтра именины Раисы Николаевны, супруги Нила Георгиевича, и я бы очень просил вас...

— Виноват, а вы, собственно, кто? Командарм? — прервал его ключик.

— Никак нет, отнюдь не командарм.

— Ну раз вы не командарм, то, значит, вы ангел. Скажите, вы ангел?

Молодой человек замялся.

— Нет, нет, не отпирайтесь, — сказал ключик, продолжая лежать в непринужденной позе на своей жесткой кровати. — Я уверен, что вы ангел: у вас над головой крылья. Если бы вы были Меркурием, то крылья были бы у вас также и на ногах. Во всяком случае, вы посланник богов. Вас послала к нам богиня счастья, фортуна, сознайтесь.

Ключик сел на своего конька и, сыпя мифологическими метафорами, совсем обескуражил молодого человека, который застенчиво улыбался.

Наконец, улучив минутку, он сказал:

— Я, конечно, очень извиняюсь, но дело в том, что я хотел бы показать вам стихи.

— Мне? Почему именно мне, а не Горацию? — спросил ключик.

Но, видимо, молодой человек был лишен чувства юмора, так как ответил:

— Потому что до меня дошли слухи, будто, выступая в одной воинской части нашего округа, вы в пять минут сочинили буриме на заданную тему и это произвело на аудиторию, а особенно на полит-

состав такое глубокое впечатление, что... одним словом, я хотел бы вам заказать несколько экспромтов на именины Раисы Николаевны, супруги нашего командира... Ну и, конечно, на некоторых наиболее важных гостей... командиров рот, их жен и так далее... Конечно, вполне добродушные экспромты, если можно, с мягким юмором... Вы меня понимаете? Хорошо было бы протащить тещу Нила Георгиевича Оксану Федоровну, но, разумеется, в легкой форме. Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист, но — антр ну суа дит — в последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. Я вам выдам приличный гонорар, но, конечно, эти стихи перейдут в полную мою собственность и будут считаться как бы моими... Обычно я имею успех... и это очень помогает мне по службе.

Молодой человек заалел как маков цвет, и простодушная улыбка осветила его почти девичье лицо симпатичного пройдохи.

Дело оказалось весьма простым: молодой интендант территориальных войск делал себе карьеру души общества, выступая с экспромтами на всяческих семейных вечеринках у своего начальства.

Ключик сразу это понял и сурово сказал:

— Деньги вперед.

— О, какие могут быть разговоры? Конечно, конечно. Только вы меня, бога ради, не подведите, — жалобно промолвил молодой человек и выложил на кровать ключика целый веер розовых миллионных бумажек, как я уже, кажется, где-то упоминал, более похожих на аптекарские этикетки, чем на кредитки.

— Завтра я найду за материалом ровно в семнадцать ноль-ноль. Надеюсь, к этому времени вы уложите.

— Можете зайти через тридцать минут ноль-ноль. Мы уложимся, — холодно ответил ключик. — Тем более что нас двое.

Ключик нехотя встал с кровати, сел к столу и под диктовку молодого человека составил список именинных гостей, а также их краткие характеристики, после чего молодой человек удалился.

Можно себе представить, какую чечетку мы исполнили, едва затворилась дверь за нашим заказчиком, причем ключик время от времени восклицал:

— Бог нам послал этого румяного дурака!

Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба, выпили у молочницы по глечичку жирного молока, вернулись в свою гостиницу, предварительно расплатившись с удивленным евреем, взяли у него два десятка папирос и быстро накатали именинные экспромты, наполнив комнату облаками табачного дыма.

Наши опусы имели такой успех, что нашего доброго гения повысили в звании, и он повадился ходить к нам, заказывая все новые и новые экспромты.

Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, что у нас называлось по-черноморски «сидеть на декохте», говорили:

— Хоть бы пришел наш дурак.

И он, представьте себе, тотчас являлся как по мановению черной палочки фокусника.

Эта забавная история закончилась через много лет, когда ключик сделался уже знаменитым писателем, имя которого произносилось не только с уважением, но даже с некоторым трепетом. О нем было написано раза в четыре больше, чем он написал сам своей чудесной, нарядной прозы.

Мы довольно часто ездили (конечно, всегда в международном вагоне!) в свой родной город, где мальчики вместо «абрикосы» говорили «аберкосы» и где белый Воронцовский маяк отражался в бегущих черноморских волнах, пенящихся у его подножия.

Мы всегда останавливались в лучшем номере лучшей гостиницы с окнами на бульвар и на порт, над которым летали чайки, а вдали розовел столь милый нашему сердцу берег Дофиновки, и мы наслаждались богатством, и славой, и общим поклонением, чувствуя, что не посрамили чести родного города.

И вот однажды рано утром, когда прислуга еще не успела убрать с нашего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура харьковского дурака.

Он был все таким же розовым, гладким, упитанным, красивым и симпатичным, с плутоватой улыбкой на губах, которые можно было бы назвать девичьими, если бы не усики и вообще не какая-то общая потертость — след прошедших лет.

— Здравствуйте. С приездом. Я очень рад вас видеть. Вы приехали очень кстати. Я уже пять лет служу здесь, и вообразите — какое совпадение: командир нашего полка как раз послезавтра выдает замуж старшую дочь Катю. Так что вы с вашей техникой вполне успеете. Срочно необходимо большое свадебное стихотворение, так сказать, эпиталама, где бы упоминались все гости, список которых...

— Пошел вон, дурак, — равнодушным голосом сказал ключик, и нашего заказчика вдруг как ветром сдуло.

Больше мы его уже никогда не видели.

— Ты понимаешь, что в материальном мире ничто не исчезает. Я всегда знал, что наш дурак непременно когда-нибудь возникнет из непознаваемой субстанции времени, — сказал ключик, по своему обыкновению вставив в свое замечание роскошную концовку — «субстанцию времени», причем бросил на меня извиняющийся взгляд, понимая, что «субстанция времени» не лучшая из его метафор.

Но я ему простил.

В конце концов, может быть, это была действительно «субстанция времени», кто его знает: жизнь загадочна! Хотя в принципе я и не признаю существования времени, но как рабочая гипотеза время может пригодиться, ибо что же как не время скосило, уничтожило и щелкунчика, и ключика, и птицелова, и мулата, и всех остальных и превратило меня в старика, путешествующего по Европе и выступающего в славянских отделениях разных уважаемых университетов, где любознательные студенты, уже полурусские потомки граждан бывшей Российской империи, уничтоженной революцией, непременно спрашивают меня о ключике.

Ключик стал мировым именем.

И я, озирая аудиторию потухшим взглядом, говорю по-русски со своим неистребимым черноморским акцентом давно уже обкатанные слова о моем лучшем друге.

— Ключик, — говорю я, — родился вопреки укоренившемуся мнению не в Одессе, а в Елисаветграде, в семье польского — точнее литовского — дворянина, проигравшего в карты свое родовое имение и принужденного поступить на службу в акцизное ведомство, то есть стать

акцизным чиновником. Вскоре семья ключика переехала в Одессу и поселилась в доме, как бы повисшем над спуском в порт, в темноватой квартире, выходявшей окнами во двор, где постоянно выбивали ковры.

Семья ключика состояла из отца, матери, бабушки и младшей сестры.

Отец, на которого сам ключик в пожилом возрасте стал похож как две капли воды, продолжал оставаться картежником, все вечера проводил в клубе за зеленым столом и возвращался домой лишь под утро, зачастую проигравшись в пух, о чем изведал короткий, извиняющийся звонок в дверь.

Мать ключика была, быть может, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мнишек, но я помню ее уже пожилой, властной, с колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила с сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и с кожаным молитвенником, а дома читала польские романы, в которых, я заметил, латинская буква Л была перечеркнута косой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи.

Ключик ее боялся и однажды таинственно и совершенно серьезно сообщил мне, что его мать настоящая полесская ведьма и колдунья.

Она была владычицей дома.

Бабушка ключика была согбенная старушка, тоже всегда в черном и тоже ходила в костел мелкими-мелкими неторопливыми шажками, метя юбкой уличную пыль. Она тоже, несомненно, принадлежала к породе полесских колдуний, но только была добрая, дряхлая, отжившая, в железных очках.

Сестру ключика я видел только однажды, и то она как раз в это время собиралась уходить и уже надевала свою касторовую гимназическую шляпу с зеленым бантом, и я успел с нею только поздороваться, ощутить теплое пожатие девичьей руки,— робкое, застенчивое, и заметил, что у нее широкое лицо и что она похожа на ключика, только милевиднее.

Как это ни странно, но я сразу же тайно влюбился в нее, так как всегда имел обыкновение влюбляться в сестер своих товарищей, а тут еще ее польское имя, придававшее ей дополнительную прелесть. Мне кажется, мы были созданы друг для друга. Но почему-то я ее больше никогда не видел, и мое тайное влюбление прошло как-то само собой.

Ей было лет шестнадцать, а я уже был молодой офицер, щеголявший своей раненой ногой и ходивший с костылем под мышкой.

Вскоре началась эпидемия сыпного тифа, она и я одновременно заболели. Я выздоровел, она умерла.

Ключик сказал мне, что в предсмертном бреде она часто произносила мое имя, даже звала меня к себе.

Теперь, когда все это кануло в вечность памяти, я понимаю, что меня с ключиком связывали какие-то тайные нити, может быть, судьбой с самого начала нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами.

Судьба дала ему, как он однажды признался во хмелю, больше таланта, чем мне, зато мой дьявол был сильнее его дьявола.

Что он имел в виду под словом «дьявол», я так уже никогда и не узнаю. Но, вероятно, он был прав.

...я забыл, что нахожусь в узкой переполненной аудитории славянского отделения Сорбонны в Гран-Пале... Я видел в высоком французском окне до пола вычурно-массивные многорукие фонари моста Александра Третьего и еще голые конские каштаны с большими надутыми почками, как бы намазанными столярным клеем, уже готовые лопнуть, но все еще не лопнувшие, так что я обманулся в своих ожиданиях, хотя всем своим существом чувствовал присутствие вечной весны, но она еще была скрыта от глаз в глубине почти черных столетних стволов, где уже несомненно двигались весенние соки.

...громадные стеклянные куполообразные крыши Гран-Пале, его ужасный стиль девятнадцатого века, неистребимая память дурного вкуса Всемирной парижской выставки...

Впрочем, в Северной Италии вечная весна тоже еще не наступила, хотя вдоль шоссе по дороге из Милана в Равенну в альпийском тумане светилась пасхальная зелень пьемонтской равнины и в снежном дыхании невидимой горной цепи слышался неуловимый запах рождающейся весны, несмотря на то, что ряды фруктовых деревьев, пробежавших мимо нас, — цыпьята-табака шпалерных яблонь и распятия старых виноградных лоз — по-прежнему оставались черными, лишенными малейших признаков зелени, и все же мне казалось, что я уже вижу ее незримое присутствие.

Стоит ли описывать древние итальянские города-республики, это дивное скопление покосившихся башен, кирпичных дворцов-крепостей, окруженных рвами, по пятьсот залов в некоторых, со специальными пологими лестницами для конницы, с мраморными и бронзовыми статуями владык, поэтов и святых, с гранитными плитами площадей и железными украшениями колодцев и фонтанов, с балконами, говорящими моему воображению о голубой лунной ночи и шепоте девушки с распущенными волосами в маленькой унизанной жемчугами ренессансной шапочке.

Потемки древних храмов и базилик, где при зареве целых снопов белоснежных свечей можно было с трудом разглядеть выпуклые девичьи лбы мадонн со старообразными младенцами на руках, чьи головы напоминали скорее головы епископов, чем веселых малюток...

Только один ключик сумел бы найти какой-нибудь единственный, неотразимый метафорический код, чтобы вместить в несколько строк впечатление обо всем этом ренессансном великолепии, я же в бессилии кладу свою шариковую ручку.

Мы промчались, прошуршали по безукоризненным бетонным дорогам, мимо архитектурных бесценностей, как бы созданных для того, чтобы в них играли Шекспира и ставили «Трех толстяков» ключика.

Впрочем, здесь нельзя было найти площадь Звезды. Для этого надо было вернуться в Париж и на метро направления Венсенн — Нейи доехать на колесах с дутыми шинами до площади Этуаль (ныне Де Голль), где от высокой Триумфальной арки с четырьмя пролетами расходятся как лучи двенадцать сияющих авеню.

Очевидно, туда стремилась фантазия ключика, когда он заставил своего Тибула идти по проволоке над площадью Звезды.

Меня же влекла к себе Равенна, одно имя которой, названное Александром Блоком, уже приводило в трепет.

С юношеских лет я привык повторять магические строки:

«Все, что минутно, все, что бrenно, похоронила ты в веках. Ты как ребенок спишь, Равенна, у сонной вечности в руках».

О, как мне хотелось, отбросив от себя все, что минутно, все, что бrenно, уснуть самому у сонной вечности в руках и увидеть наяву, как передо мною

«...далёко отступило море и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорик о буре жизни не мечтал»...

Больше всего поражала нас, особенно ключика, неслышанная магия строчки «и розы оцепили вал». Здесь присутствовала тайная звукопись, соединение двух согласных «з» и «ц», как бы сцепленных между собой необъяснимым образом. Сила этого сцепления между собою роз вокруг какого-то вала мучила меня всю жизнь, и наконец я приблизился к разгадке этой поэтической тайны.

Я увидел на земле нечто вроде купола, сложенного из диких камней. Это и был склеп Теодорика, действительно окруженный земляным валом, поросшим кустами еще не проснувшихся роз, цеплявшихся друг за друга своими своими коралловыми шипами.

Вечная весна еще не наступила и здесь. Но, сцепленные в некий громадный венок вокруг склепа Теодорика, они были готовы выпустить первые почки. Местами они уже даже проклевывались.

Мы поднялись по каменной лестнице и вошли в мавзолей, посредине которого стоял гроб Теодорика. Но гроб был открыт и пуст, подобный каменной ванне. Я так привык представлять себе блоков-скодного спящего в гробе Теодорика, что в первое мгновение замер как обворованный. Отсутствие Теодорика, который не должен был мечтать о бурях жизни, а спать мертвым сном на дне своей каменной колоды,— эти два исключаящих друг друга отрицания с наглядной очевидностью доказали мне, что семьдесят пять лет назад поэт, совершая путешествие по Италии и посетив Равенну, по какой-то причине не вошел в мавзолей Теодорика, ограничившись лишь видом роз, оцепивших вал, а Теодорика, спящего для того, чтобы не мечтать о бурях жизни, изобрела его поэтическая фантазия — неточность, за которую грех было бы упрекнуть художника-визионера.

Зато я понял, почему так чудесно вышло у Блока сцепление роз.

Когда мы выходили из мавзолея и столетний старик сторож, которого несомненно некогда видел и Блок, протянул нам руку за лирами, я заметил по крайней мере десяток кошек со своими котятками, царапавших землю возле площадки с молоком.

Старик любил кошек.

Очевидно, Блок видел кошек старика, который тогда еще не был стариком, но уже любил окружать себя кошками.

Цепкие когти кошек и цепкие шипы роз вокруг мавзолея Теодорика родили строчку «и розы оцепили вал».

Ну а что касается моря, то оно действительно отступило довольно далеко, километров на десять, если не больше, но, плоское и серое, оно не представляло никакого интереса: дул холодный мартовский ветер, за брекватером кипели белые волны Адриатики, на пристани стояли на стапелях яхты и моторные боты, которых готовили к весен-

ней навигации. И пахло масляной краской, едким нитролаком, суриком, бензином. Только не рыбой.

На обратном пути мы посетили церковь святого Франциска, снова попали в тьму и холод католического собора с кострами свечей. Я бросил в автомат монетку, и вдруг перед нами, как на маленькой полукруглой сцене, ярко озарилась театральная картина поклонения волхвов: малютка Христос, задрав пухлые ножки, лежал на коленях нарядной мадонны, справа волхвы и цари со шкатулками драгоценных даров, слева — коровы, быки, овцы, лошади, на небе хвостатая комета. И все это вдруг задвигалось: волхвы и цари протянули маленькому Христу свои золотые дары, коровы, быки, лошади потянули к нему головы с раздутыми ноздрями, богородица с широко висящими рукавами синего платья нежно и неторопливо движениями марионетки наклонилась толчками к малютке, а на заднем плане два плотника все теми же марионеточными движениями уже тесали из бревен крест и римский воин поднимал и опускал копье с губкой на острие. Это повторилось раз десять и вдруг погасло, напомнив стихотворение, сочиненное мулатом, кажется «Поклонение волхвов», где хвостатая звезда сравнивается со снопом.

— Ключик,— говорил я несколько дней спустя в старинном миланском университете с внутренними дворами, зеленеющими сырыми газонами, окруженными аркадами с витыми ренессансными мраморными колонками, студентам, собравшимся в тесном классе славянско-го отделения,— ключик,— говорил я,— был человеком выдающимся. В гимназии он всегда был первым учеником, круглым пятерочником, и если бы гимназия не закрылась, его имя можно было бы прочесть на мраморной доске среди золотых медалистов, окончивших в разное время Ришельевскую гимназию, в том числе и великого русского художника Михаила Врубеля.

Ключик всю жизнь горевал, что ему так и не посчастливилось сиять золотом рядом с Врубелем.

Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошел самого латиниста. Он был начитан, интеллигентен, умен. Единственным недостатком был его малый рост, что, как известно, дурно влияет на характер и развивает честолюбие. Люди небольшого роста, чувствуя как бы свою неполноценность, любят упоминать, что Наполеон тоже был маленького роста. Ключика утешало, что Пушкин был невысок ростом, о чем он довольно часто упоминал. Ключика также утешало, что Моцарт ростом и сложением напоминал ребенка.

При маленьком росте ключик был коренаст, крепок, с крупной красивой головой с шапкой кудрявых волос, причесанных а-ля Титус, по крайней мере в юности.

Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнил ключика с Бетховеном.

Сравнить ключика с Бетховеном — это все равно что сказать, что соль похожа на соль.

В своем сером форменном костюме Ришельевской гимназии, немного мешковатый, ключик был похож на слоненка: такой же широкий лоб, такие же глубоко сидящие, почти детские глаза, ну а что касается хобота, то его не было. Был утиный нос. Впрочем, это не

очень бросалось в глаза и не портило впечатления. Таким он и остался для меня на всю жизнь: слоненком. Ведь и любовь может быть слоненком!

«Моя любовь к тебе сейчас — слоненок, родившийся в Берлине или Париже и топающий ватными ступнями по комнатам хозяина зверинца. Не предлагай ему французских булок, не предлагай ему кочней капустных, он может съесть лишь дольку мандарина, кусочек сахара или конфету. Не плачь, о нежная, что в тесной клетке он делается посмеяньем черни»...

Ну и так далее. Помните?

«Нет, пусть тебе приснится он под утро в парче и меди, в страусовых перьях, как тот Великолепный, что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала».

Я уверен, что именно таким — Великолепным — ключик сам себе и снился: в страусовых перьях, на подступах к вечному Риму всемирной славы.

Едва сделавшись поэтом, он сразу же стал иметь дьявольский успех у женщин, вернее у девушек — курсисток и гимназисток, постоянных посетительниц наших литературных вечеров. Они окружали его, щебетали, называли уменьшительными именами, разве только не предлагали ему с розовых ладошек дольку мандарина или конфетку. Они его обожали. У него завязывались мимолетные платонические романчики — предмет наших постоянных насмешек.

Он давал своим возлюбленным красивые имена, так как имел пристрастие к роскошным словам.

Так, например, одну хорошенькую юную буржуазку, носившую ранней весной букетик фиалок, прищипленный к воротнику кротовой шубки, ключик называл Фиордализой.

— Я иду сегодня в Александровский парк на свиданье с Фиордализой, — говорил он, слегка шепелявя, с польским акцентом.

Можно себе представить, как мы, его самые близкие друзья — птицелов и я, — издевались над этой Фиордализой, хотя втайне и завидовали ключику.

Как и подавляющее большинство поэтов нашего города, ключик вырос из литературы западной. Одно время он был настолько увлечен Ростаном в переводе Щепкиной-Куперник, что даже начал писать рифмованным шестистопным ямбом пьесу под названием «Двор короля поэтов», явно подражая «Сирано де Бержераку».

Я думаю, что опус ключика рождался из наиболее полюбившейся ему строчки:

«Теперь он ламповщик в театре у Мольера».

Помню строчки из его стихотворения «Альдебаран».

«...смотри, — по темным странам, среди миров, в полночной полумгле, течет звезда. Ее Альдебараном живущие назвали на земле»...

Слово «Альдебаран» он произносил с упоением. Наверное, ради этого слова было написано все стихотворение.

Потом настало время Метерлинка. Некоторое время ключик носился с книгой Марселя Швоба «Воображаемые портреты», очарованнейшей его своей раскованностью и метафоричностью. Всю жизнь ключик преклонялся перед Эдгаром По, считал его величайшим писателем мира, что не мешало ему в то же время очень ловко сочинять поэмы под Игоря Северянина, а позже даже восхищаться песенками Вертинского; это тогда считалось признаком дурного тона, и совершенно напрасно. Странность, которую я до сих пор не могу объяснить.

Ключик упорно настаивал, что Вертинский — выдающийся поэт, в доказательство чего приводил строчку: «Аллилуйя, как синяя птица».

Самое поразительное было то, что впоследствии однажды сам неумолимый Командор сказал мне, что считает Вертинского большим поэтом, а дожидаться от Командора такой оценки было делом не легким.

Ключик опередил нас независимостью своих литературных вкусов. Он никогда не подчинялся общему мнению, чаще всего ошибочному.

Увлекался ключик также и Уэллсом, которого считал не только родоначальником целого громадного литературного направления, но также и великим художником, несравненным изобразителем какой-то печально-волшебной Англии начала двадцатого века, так не похожей на Англию Диккенса и вместе с тем на нее похожей.

Не знаю, заметили ли исследователи громадное влияние Уэлса-фантаста на Командора, автора почти всегда фантастических поэм и «Бани» с ее машиной времени.

Не говорю уж о постоянном, устойчивом влиянии на ключика Толстого и Достоевского, как бы исключаящих друг друга, но в то же время так прочно слившихся в творчестве ключика.

Воздух, которым дышал ключик, всегда был перенасыщен поэзией Блока. Впрочем, тогда, как и теперь, Блоку поклонялись все.

Однажды я прочитал ключику Бунина, в то время малоизвестного и почти никем не признанного. Ключик поморщился. Но, видно, поэзии Бунина удалось проникнуть в тайное тайных ключика; в один прекрасный день, вернувшись из деревни, где он жил репетитором в доме степного псмещика, ключик прочитал мне новое стихотворение под названием «В степи», посвященное мне и написанное «под Бунина».

«Иду в степи под золотым закатом... Как хорошо здесь! Весь простор — румян и все в огне, а по далеким хатам ползет, дымясь, сиреневый туман» — ну и так далее.

Я был очень удивлен.

Это было скорее «под меня», чем «под Бунина», и, кажется, ключик больше никогда не удивлялся в подобном роде, совершенно ему не свойственном: его гений развивался по совсем другим законам.

Думаю, что влиял на ключика также и Станислав Пшибышевский — польский декадент, имевший в то время большой успех. «Под Пшибышевского» ключик написал драму «Маленькое сердце», которую однажды и разыграли поклонники его таланта на сцене местного музыкального училища. Я был помощником режиссера, и в сцене, когда некий «золотоволосый Антек» должен был застрелиться от любви к некой Ванде, я должен был за кулисами выстрелить из настоящего револьвера в потолок. Но, конечно, мой револьвер дал осечку и некоторое время «золотоволосый Антек» растерянно вертел в руках бутылочный револьвер, время от времени неуверенно прикладывая его то

к виску, то к сердцу, а мой настоящий револьвер как нарочно давал осечку за осечкой. Тогда я трахнул подвернувшимся табуретом по доскам театрального пола. «Золотоволосый Антек», вздрогнув от неожиданности, поспешил приложить бутафорский револьвер к сердцу и с некоторым опозданием упал под стол, так что пьеса в конечном итоге закончилась благополучно, и публика была в восторге, устроила ключику овацию, и он выходил несколько раз кланяться, маленький, серенький, лобастенький слоненок, сияя славой, а я аккуратно дергал за веревку, раздвигая и задвигая самодельный занавес.

Барышня, игравшая главную роль роковой женщины Ванды, помнится мне, выходя на вызовы, на глазах у всех поцеловала ключику руку, что вызвало во мне жгучую зависть. Барышня-гимназистка была очень хорошенькая.

«Черт возьми, везет же этому ключику! Что она в нем нашла, интересно? Пьеска так себе, под Пшибышевского, декадентщина, а сам ключик просто серый слоненок!»

Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к другу начиная с юности.

Однажды ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть.

Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила: любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена или просто любовь неудачная, в особенности любовь ранняя, которая оставляет в сердце рубец на всю жизнь.

В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее нанесенная рана, тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце концов к самоуничтожению.

Я не хочу приводить примеры. Они слишком хорошо известны.

Однако надо иметь в виду, что самоуничтожение не всегда самоубийство. Иногда оно принимает другие, более скрытые, но не менее ужасные формы: дуэль Пушкина, уход Толстого из Ясной Поляны.

Переживши рядом с ключиком лучшую часть нашей жизни, я имел возможность не только наблюдать, но и участвовать в постоянных изменениях его гения, все время толкавшего его в пропасть.

Я был так душевно с ним близок, что нанесенная ему некогда рана оставила шрам и в моем сердце. Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для окружающих: ключик был скрытен и самолюбив; он ничем не выдал своего отчаяния. Идеалом женщины для него всегда была Настасья Филипповна из «Идиота» с ее странной, неустроенной судьбой, с ее прекрасным, несколько скуластым лицом мещанской красавицы, с ее чисто русской сумасшедшинкой.

Он так и не нашел в жизни своего литературного идеала. В жизни обычно все складывается вопреки мечтам.

Подрутой ключика стала молоденькая, едва ли не семнадцатилетняя, веселая девушка, хорошенькая и голубоглазая. Откуда она взялась, не имеет значения. Ее появление было предопределено.

Только что, более чем с двухлетним опозданием, у нас окончательно установилась советская власть, и мы оказались в магнитном поле победившей революции, так решительно изменившей всю нашу жизнь.

Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных; мы опьянели от воздуха свободы: только права и никаких обязанностей. Мы не капиталисты, не помещики, не фабри-

канты, не кулаки. Мы дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников.

Мы — разночинцы.

Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было.

Революция открыла для нас неограниченные возможности.

Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная, химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушится последнее государство и «все народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Но тогда нам казалось, что мы уже шагнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья.

Некоторые из нас ушли из своих семейств и поселились в отдельных комнатах по ордерам губжилотдела. Мы были ближе к Фурье, чем к Марксу. Образовалась коммуна поэтов.

В реквизированном особняке при свете масляных и сальных коптилок мы читали по вечерам стихи, в то время как в темных переулках города, лишённого электрического тока, возле некоторых домов останавливались автомобили ЧК с погашенными фарами и над всем мертвым и черным городом светился лишь один ярко горевший электричеством семизэтажный дом губчека, где решались судьбы последних организаций, оставленных в подполье бежавшей из города контрреволюцией, а утром на стенах домов и на афишных тумбах расклеивались списки расстрелянных.

Я даже не заметил, с чего и как начался роман ключика. Просто однажды рядом с ним появилась девушка, как нельзя более соответствующая стихам из «Руслана и Людмилы»:

«...есть волшебницы другие, которых ненавижу я: улыбка, очи голубые и голос милый — о друзья! Не верьте им: они лукавы! Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы».

Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами. Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее, то есть тем материалом, который писатель употребляет для постройки своих произведений.

Для меня Пушкин — великое произведение природы вроде грозы, бури, метели, летучей гряды облаков, лунной ночи, чувьяканья соловьев, даже чумы.

Я его цитирую, так же как цитирую множество других прекрасных авторов и явлений природы.

Прочитывал же Толстой предутреннюю летнюю луну, похожую на кусок ртuti. Именно на кусок. Хотя ртуть существует как шарик.

Так что примиритесь с этой моей манерой; почему же мне не цитировать других в том случае, когда я сам не могу создать лучшего?

Итак:

«...улыбка, очи голубые и голос милый...»

Такова была подруга ключика — его первая любовь! — а то, что «она лукава», выяснилось позже и нанесло ключику незаживающую рану, что оставила неизгладимый след на всем его творчестве, сделала

его гениальным и привела в конце концов к медленному самоуничтожению. Это стало вполне ясно только теперь, когда ключика уже давно не существует на свете и только его тень неотступно следует за мною. Мне кажется, что я постиг еще не обнаруженную трагедию ключика.

Ах, как они любили друг друга — ключик и его дружок, дружок, как он ее называл в минуты нежности. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех, и мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья.

Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Они осыпали друг друга самыми ласковыми прозвищами, и ключик, великий мастер слова, столь изобретательный в своих литературных произведениях, ничего не мог придумать более оригинального, чем «дружок, дружок».

Он бесконечно спрашивал:

— Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружок, дружок?

На что она также, беспечно смеясь, отвечала:

— А ты ведь мой слоненок, слоник?

Никому в голову не могло прийти, что в это время у ключика в семье разыгрывается драма. Считалось, что всякого рода семейные драмы ушли в прошлое вместе со старым миром. Увы, это было не так.

Семья ключика собиралась уезжать в Польшу, провозглашенную независимым государством. Поляки возвращались из России на родину. И вдруг оказалось, что ключик решительно отказывается ехать с родителями. Несмотря на то, что он всегда даже несколько преувеличенно гордился своим шляхетством, он не захотел променять революционную Россию на панскую Польшу.

В упрямстве ключика его семья обвинила девушку, с которой ключик не хотел расстаться. Мать ключика ее возненавидела и потребовала разрыва. Ключик отказался. Властная полька, католичка, «полесская ведьма» прокляла сына, променявшего Польшу на советскую девушку, с которой ключик даже не был обвенчан или, в крайнем случае, зарегистрирован.

Произошла драматическая сцена между матерью и сыном, который до этого случая был всегда почтительным и послушным. Но вдруг взбунтовался. В нем заговорила материнская кровь. Нашла коса на камень.

Семья ключика уехала в Польшу. Ключик остался. Его любовь к дружку не изменила наших отношений. Но теперь нас уже было не двое, а трое. Впрочем, когда нас перевели в Харьков на работу в Югосту для укрпления пропагандистского сектора, дружок на некоторое время осталась в Одессе, так что самые тяжелые, голодные дни не испытала, но времена переменялись и скоро она перебралась к ключику в Харьков. Мы жили втроем, нанимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазовской, прельстивших нас своими поэтическими названиями.

Дела наши поправились. Мы прижились в чужом Харькове, уже недурно зарабатывали, иногда вспоминая свой родной город и некоторые проказы прежних дней, среди которых видное место занимала забавная история брака дружка с одним солидным служащим в губпродкоме. По первым буквам его имени, отчества и фамилии он получил по моде того времени сокращенное название Мак. Ему было лет сорок, что делало его в наших глазах стариком. Он был весьма при-

личен, вежлив, усат, бородат и, я бы даже сказал, не лишен некоторой приятности. Он был, что называется, вполне порядочный человек, вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце. Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров, где и влюбился в дружок.

Когда они успели договориться, неизвестно.

Но в один прекрасный день дружок с веселым смехом объявила ключику, что она вышла замуж за Мака и уже переехала к нему.

Она нежно обняла ключика, стала его целовать, роня прозрачные слезы, объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак имеет возможность получать продукты и что ей надоело влачить полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что ключик навсегда останется для нее самым светлым воспоминанием, самым-самым ее любимым друзиком, слоником, гением и что она не забудет нас и обещает нам продукты.

Тогда я еще не читал роман аббата Прево и не понял, что дружок — разновидность Манон Леско и что тут уж ничего не поделаешь.

Ключик в роли кавалера де Гриё грустно поник головой. Он начался Толстого и был непротивленцем. Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов, на что она, весело смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает, какую глупость совершила, и согласна в любой миг бросить Мака, но только стесняется сделать это сама. Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук Мака, похищена.

— Это будет так забавно, — прибавила она, — и я опять вернусь к моему любимому слоненку.

Так как ключик по своей природе был человек воспитанный, не склонный к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный из всей нашей компании.

В условленное время мы отправились с ключиком за дружочком. Ключик остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком.

Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал тереть бородку, как бы предчувствуя беду.

Вид у меня был устрашающий: офицерский френч времен Керенского, холщовые штаны, деревянные сандалии на босу ногу, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с черной кистью, полученная мною по ордеру вместо шапки в городском вещевом складе.

Не удивляйтесь: таково было то достославное время — граждан снабжали чем бог послал, но зато бесплатно.

— Где дружок? — грубым голосом спросил я.

— Видите ли... — начал Мак, теребя шнурок пенсне.

— Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка. Я вам покажу, как быть в наше время синей бородой! Ну, поворачивайтесь живее!

— Дружок! — блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел.

— Я здесь, — сказала дружок, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты. — Здравствуй.

— Я пришел за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Ключик тебя ждет внизу.

— Позвольте... — пробормотал Мак.

— Не позволю,— сказал я.

— Ты меня извини, дорогой,— сказала дружок обращаясь к Маку.— Мне очень перед тобой неловко, но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю ключика и должна к нему вернуться.

— Идем,— скомандовал я.

— Подожди, я сейчас возьму вещи.

— Какие вещи? — удивился я.— Ты ушла от ключика в одном платице.

— А теперь у меня уже есть вещи. И продукты,— прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками.— Прощай, Мак, не сердись на меня,— милым голосом сказала она Маку.

У Мака на испуганном лице показались слезы.

— И смотрите у меня,— сказал я на прощанье, погрозив Маку трубкой,— чтобы этого больше не повторялось!

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Гриё.

Читателю все это может показаться невероятным, но таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке.

Как ни странно, но всю эту историю с Маком мы тогда воспринимали всего лишь как забавное приключение, не понимая всей серьезности того, что случилось.

Не прошло и года, как ключик вспомнил об этом, но уже было поздно.

Во всяком случае, еще долгое время история с Маком служила поводом для веселых импровизаций и дружок не без юмора рассказывала, как она была замужней дамой.

Через некоторое время, уже в Москве, в моей комнате в Мыльниковом переулке раздался телефонный звонок и оживленный женский голос сказал:

— Здравствуй. Как поживаешь?

Я узнал голос дружка.

— Можешь меня поздравить, я уже в Москве,— сказала она.

— А ключик? — спросил я.

— Остался в Харькове.

— Как! Ты приехала одна?

— Не совсем,— проговорила дружок, и я услышал ее странный смешок.

— Как это не совсем? — спросил я, предчувствуя недоброе.

— А так! — услышал я беспечный голос.— Жди нас.

И через полчаса в мою комнату вбежала нарядно одетая, в модной шляпке, с сумочкой, даже, кажется, в перчатках дружок, а следом за ней боком, криво, как бы расталкивая воздух высоко поднятым плечом, прошел в дверь человек в новом костюме и в соломенной шляпе-канотье — высокий, с ногой,двигающейся как на шарнирах.

Это был колченогий — так я буду его называть в дальнейшем — одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, вдруг появившихся среди нас, странное порождение той эпохи.

Остатки денкикинских войск были сброшены в Черное море; обезумевшие толпы беглецов из Петрограда, Москвы, Киева — почти все, что осталось от российской Вандеи, — штурмовали пароходы, уходившие в Варну, Стамбул, Салоники, Марсель.

Контрразведчики, не сумевшие пробиться на пароход, стрелялись тут же на пристани, среди груды брошенных чемоданов. Город, взятый с налета конницей Котовского и регулярной московской дивизией Красной Армии, одетой в новые оранжевые полушубки, был чист и безлюден, как бы вычищенный железной метлой от всей его белогвардейской нечисти, многочисленных ярких вывесок магазинов, медных досок консульств и банков, золотых букв гостиниц и ресторанов...

Город, приняв огненное крещение, как бы очистился от скверны, помолодел и замер в ожидании начала новой жизни.

Пароходы с эмигрантами еще чернели на горизонте как выброшенная куча дымящегося шлака, а уже новая власть занимала опустевшие особняки, размещалась в городской управе, в штабе военного округа, в Воронцовском дворце, в редакциях газет, получивших новые названия и новое содержание.

В помещении денкикинского Освага возникло новое советское учреждение Одукроста, то есть Одесское бюро украинского отделения Российского телеграфного агентства, с его агитотделом, выпускавшим листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты, тут же изготовлявшиеся на больших картонных и фанерных листах, написанные клеевыми красками. Плакаты эти тут же, еще не высохнув, разносились и развозились по всему городу на извозчиках и велосипедах. На плакатах под картинками помещались агитстихи нашего сочинения. Например:

«По небу полуночи Врангель летел, и грустную песню он пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел».

С утра до вечера в Одукросте кипела работа, стучали пишущие машинки, печатая сводки двух последних фронтов — польского и врангелевского, крымского.

Положение новой, советской власти все еще было неопределенным, хотя окончательная победа уже явно ощущалась.

Нашей Одукростой руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выделялся своим видом.

Во-первых, он был калека.

С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то павшего ангела с прекрасным демоническим лицом, он появлялся в машинном бюро Одукросты, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо краснели, опускали глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками.

Может быть, он даже являлся им в грешных снах.

О нем ходило множество неирозверенных слухов. Говорили, что он происходит из мелкопоместных дворян Черниговской губернии, порвал со своим классом и вступил в партию большевиков. Говорили, что его расстреливали, но он по случайности остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили кисть руки. Но кто его так покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было открыто мраком неизвестности.

Во всяком случае, у него был партийный билет и все тогдашние чистки он проходил благополучно.

Он принадлежал к руководящей партийной головке города и в общественном отношении для нас, молодых беспартийных поэтов, был недостижим, как звезда.

Между нами и им лежала пропасть, которую он сам не склонен был перейти.

У него были диктаторские замашки, и свое учреждение он держал в ежовых рукавицах.

Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению святейшего синода.

Это прибавляло к его личности нечто демоническое.

Вскоре в местных «Известиях» стали печататься его стихи. Вот, например, как он изображал революционный переворот в нашем городе:

«...от птичьего шеврона до лампаса полковника все погрузилось в дым. О, город Ришелье и Де-Рибаса! Забудь себя, умри и стань другим».

Птичьим шевроном поэт назвал трехцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме ижицы или римской пятерки, напоминая условное изображение птички, так сказать, галочку.

Эта поэтическая инверсия — «птичий шеврон» — привела нас в восхищение. Мы все страдали тогда детской болезнью поэтической левизны.

Помню еще отличное четверостишие колченогого того периода:

«Щедроты сердца не разменены, и хлеб — все те же пять хлебов, Россия Разина и Ленина, Россия огненных столбов».

Это и впрямь было прекрасное, хотя и несколько мистическое изображение революции.

Должен, кстати, опять предупредить читателей, что все стихи в этой книге я цитирую исключительно по памяти, так что не ручаюсь за их точность, а проверять не хочу, даже если это стихи Пушкина, так что рассматривать мое сочинение как научное пособие нельзя. Это чисто художественное отражение моего внутреннего мира. Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней поправки. Сделал же поправку Толстой, цитируя стихи Пушкина: «...и горько жалуясь и горько слезы лью, но строк постыдных не смываю». А у Пушкина не «постыдных», а «печальных». Толстой превратил их в постыдные и был прав, так как имел обыкновение пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, через себя.

Первое время между колченогим и нами не было никакой товарищеской связи. Но ведь все же и мы и он, кроме всего прочего, были поэты, то есть братья по безумию, так что мало-помалу мы не могли не сблизиться: ничто так не сближает людей, как поэзия.

Он стал изредка захаживать на наши поэтические собрания. Сначала свои стихи не читал, явно стеснялся, лишь изредка делая замечания, относящиеся к чужим стихам.

Его речь была так же необычна, как и его наружность. Его заикание заключалось в том, что часто в начале и в середине фразы, произнесенной с некоторым староукраинским акцентом, он останавливался и вставлял какое-то беспомощное, бессмысленное междометие «ото... ото... ото»...

— С точки... ото... ото... ритмической,— говорил он,— данное стихотворение как бы написано... ото... ото... сельским писарем...

Едучи впоследствии с колченогим в одном железнодорожном вагоне по пути из Одессы в Харьков, куда нас перебрасывали для усиления харьковского агитпропа, я слышал такую беседу колченогого с одним весьма высокопарным поэтом-классиком. Они стояли в коридоре и обсуждали бегущий мимо них довольно скучный новороссийский пейзаж.

Поэт-классик, носивший пушкинские бакенбарды, некоторое время смотрел в окно и наконец произнес свой приговор пейзажу, подыскав для него красивое емкое слово, несколько торжественное:

— Всколмления!..

На что колченогий сказал:

— Ото... ото... скудоумная местность.

Он был ироничен и терпеть не мог возвышенных выражений.

Его поэзия в основном была грубо материальной, вещественной, нарочито корявой, немusыкальной, временами даже косноязычной. Он умудрялся создавать строчки шестистопного ямба без цезуры, так что тонический стих превращался у него в архаическую силлабику Кантемира.

Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом.

Колченогий брал самый грубый, антипоэтический материал, причем вовсе не старался его опозитизировать. Наоборот. Он его еще более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. Это сближало колченогого с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения падаль.

На нас произвели ошеломляющее впечатление стихи, которые впервые прочитал нам колченогий своим запинаящимся, совсем не поэтическим голосом из только что вышедшей книжки с программным названием «Плоть».

В этом стихотворении, называемом «Предпасхальное», детально описывалось, как перед пасхой «в сарае, рыхлой шкурой мха покрытом», закалывают кабана и режут индюков к праздничному столу. Были блестяще описаны и кабан, и индюки, и предстоящее пасхальное пиршество хозяина-помещика.

Там были такие строки, по-моему пророческие:

«...и кабану, уж вялому от сала, забронированному тяжело им, ужель весна хоть смутно подсказала, что ждет его холодный нож и

дым?.. Молчите, твари! И меня прикончит, по рукоять вогнав клинок, тоска, и будет выть и рыскать сухой гончей душа моя, ребенка-старичка»...

В этих ни на что не похожих, неуклюжих стихах мы вдруг ощутили вечное отчаяние колченогого, предчувствие его неизбежного конца.

«Плоть» была страшная книга.

«Ну, застрелюсь. И это очень просто: нажать курок и выстрел прогремит. И пуля виноградиной-наростом застрянет там, где позвонок торчит... А дальше что?.. И вновь, теперь уже как падаль,— вновь распотрошенного и с липкой течкой бруснично-бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня... Обиду стерла кровь, и ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло (я!) к виску?.. О, безвозвратная! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку». А пальцы, корчась, тянутся к виску»...

Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его голо обритой головой с шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке.

Я не буду цитировать еще более ужасных его стихотворений, способных довести до сумасшествия.

Нет, колченогий был исчадием ада.

Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в черном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон, отверженный богом революции. Но его душа тяготела к этому богу. Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарала отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя.

Недаром же он писал:

«Как быстро высыхают крыши. Где буря? Солнце припекло. Градиной вихрь на церкви вышиб под самым куполом стекло. Как будто выхватив проворно остроконечную звезду — метавший ледяные зерна, гудевший в небе на лету. Овсы лохматы и корявы, а рожью крытые поля: здесь пересечены суставы, коленца каждого стебля. Христос! Я знаю, ты из храма сурово смотришь на Илью: как смел пустить он градом в раму и тронуть скинию твою? Но мне — прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу — твоя раздробленная голень на каждом чудится шагу».

Теперь, когда я пишу эти строки, колченогого никто не помнит. Он забыт.

Но тогда он был известен только нам, тем, из которых остался в живых, кажется, только я один.

В Харькове после смерти Блока, после исчезновения Гумилева, после поволжского голода мы настолько сблизились с колченогим, что часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг другу стихи,— ключик, дружочек и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться.

Я первый уехал в Москву.

И вот я уже стою в тесной редакционной комнате «Красной нови» в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку королевича и мулата. Королевич во хмелю, мулат трезв и взбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает: ну что вы, товарищи...

Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда ей бежать: прямо на улицу или укрыться в крошечной каморке кабинета редактора Воронского, который сидел, согнувшись над своим шведским бюро, черный, маленький, носатый, в очках, сам похожий на ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя «выясняли отношения» два лучших поэта страны.

Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат — походящему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба и на его лошадь, — с пылающим лицом, в развеваемомся пиджаке с оторванными пуговицами с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось.

Что между ними произошло?

Так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях мулат, кажется, упомянул о своих отношениях с королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными: то они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки.

По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной ненависти.

Не знаю как мулат, но королевич всегда ненавидел мулата и никогда с ним не сближался, по крайней мере при мне. А я дружил и с тем и с другим, хотя с королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени мулата, не признавал его поэзии и говорил мне:

— Ну подумай, какой он, к черту, поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь?

Я отмалчивался, потому что весь был во власти поэзии мулата, а объяснить ее магическую силу не умел; да если бы и умел, то королевич все равно бы ее не принял: слишком они были разные.

Поединок мулата с королевичем кончился вничью; общими усилиями их разняли, и, закрутив вокруг горла кашне и нахобучив кепку, которые имели на нем какой-то заграничный вид, оскорбленный мулат покинул редакцию, а королевич, из которого еще не вполне выветрился хмель, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с Командором.

— Послушай, друг, — говорил он умоляющим, нежным, почти ребячьим голосом. — Ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знаком. Он тебя печатает в своем «Лефе». Подлецы нас поссорили. А я его, богом клянусь, люблю и считаю знаменитым русским поэтом, и, если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там у себя, в Водопьяном переулке, стесняется своих футуристов, лефов или как их там — комфутов, пропади они пропадом. Вот те крест святой! Ты меня только поведи к нему на Водопьяный, а уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились. Окажи дружбу!

Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с Командором, чтобы приводить в Водопьяный переулок незваных гостей, что меня там самого недолюбливают и еще, чего доброго, дадут по шее и что я вовсе не уверен, будто Командор действительно втайне любит его.

Но королевич не отставал.

— Пойми, какая это будет сила: я и он! Да-у нас вся русская поэзия окажется в шапке.

Но я решительно отказался, отлично понимая, чем все это может кончиться.

— Тогда ладно,— сказал королевич,— не хочешь вести меня к Командору, так веди меня к его соратнику, а уж он меня наверняка подружит с самим. Соратник у него первый друг. А соратник тебя любит, я знаю, ты с ним дружишь, он считает тебя хорошим поэтом.

Королевич льстиво и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы.

Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал королевичу:

— Ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу.

Но надо было знать характер королевича.

— Веди меня сейчас же. Я знаю, это отсюда два шага. Ты дал мне слово.

— Лучше как-нибудь на днях.

— Веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся!

Это был как бы разговор двух мальчишек.

Я согласился.

Королевич поправил и сколько возможно привел в порядок свой скрученный жгутом парижский галстук, и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа, настоящая Лада, почти сказочный персонаж не то из «Снегурочки», не то из «Садко».

Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату.

Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела, так что как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бехштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного, лакированного, с поднятым крылом Пегаса (на котором несомненно ездил хозяин-поэт), белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая — поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо только что принесенная из прачечной, источала свежий запах резеды — аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль — алые розы на черном фоне.

Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза.

Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго.

— Какими судьбами! — воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем. Он не без галантности поцеловал ее ручку и назвал ее на ты.

Я был неприятно удивлен.

Оказывается, они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов.

В таком случае при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола королевичу понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе?

По-видимому, королевич был не вполне уверен, что его примут. Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с соратником.

Не следует забывать, что соратник и мулат были близкими друзьями и оба начинали в «Центрифуге» С. Боброва.

Теперь же оказалось, что все забыто, и королевича приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени как человек в доме свой.

— А где же Коля? — спросил королевич.

— Его нет дома, но он скоро должен вернуться. Я его жду к чаю. Королевич нахмурился: ему нужен был соратник сию же минуту. Вынь да положи!

Он не выносил промедлений, особенно если был слегка выпивши.

— Странно это, — сказал королевич, — где же он шляется, интересно знать? Я бы на твоём месте не допускал, чтобы он где-то шлялся.

Лада принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов.

Она сыграла на рояле несколько прелюдий Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения, но на королевича Рахманинов не произвел никакого впечатления — ему подавай Колю.

Лада предложила нам чаю.

— Спасибо, Ладушка, но мне, знаешь, не до твоего чая. Мне надо Колю!

— Он скоро придет.

— Мы уже это слышали, — с плохо скрытым раздражением сказал королевич.

Он положительно не переносил ни малейших препятствий к исполнению своих желаний. Хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтивого гостя, но я чувствовал, что в нём уже начал пошевеливаться злой дух скандала.

— Почему он не идет? — время от времени спрашивал он, с отворачиванием откусывая рябиновую пастилу.

Видно, он заранее нарисовал себе картину: он приходит к соратнику, соратник тут же ведет его к Командору, Командор признается в своей любви к королевичу, королевич, в свою очередь, признается в любви к поэзии Командора и они оба соглашаются разделить первенство на российском Парнасе и все это кончается апофеозом всемирной славы.

И вдруг такое глупое препятствие: хозяина нет дома, и когда он придет, неизвестно, и надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непьющих советских старосветских помещиков, где, кроме Рахманинова и чашки чая с пастилой, ни черта не добьешься.

А время шло.

Лицо королевича делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал:

— Беда хочется вытереть нос, да забыл дома носовой платок.

— Ах, дорогой, возьми мой.

Лада взяла из стопки стираного белья и подала королевичу с обаятельнейшей улыбкой воздушный, кружевной платочек. Королевич осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака.

— О нет! — почти пропел он ненатурально восторженным голосом. — Таким платочком достойны вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит.

Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло.

Я взорвался.

— Послушай, — сказал я, — я тебя привел в этот дом, и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой — и мы уходим.

— Я? — с непередаваемым презрением воскликнул он. — Чтобы я извинялся?

— Тогда я тебе набью морду, — сказал я.

— Ты? Мне? Набьешь? — с еще большим презрением уже не сказал, а как-то гнусно пропел, провыл с иностранным акцентом королевич.

Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, мы стали драться как мальчишки. Затрещал и развалился подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась крышка рояля. Упала на пол ваза с белой и розовой пастилой. Полетели во все стороны разорванные листы Рахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек.

Лада в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, стирая руки:

— Спасите! Помогите! Милиция!

Но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа!

Мы с королевичем вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатались вниз по лестнице.

Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами изпод своих носов юшку и, посылая друг другу проклятия, разошлись в разные стороны, причем я был уверен, что нашей дружбе конец, и это было мне горько. А также я понимал, что дом соратника для меня закрыт навсегда.

Однако через два дня утром ко мне в комнату вошел тихий, ласковый и трезвый королевич. Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал:

— А меня еще потом били маляры.

Конечно, никаких маляров не было. Все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминисценция из «Преступления и наказания». Убийство, кровь, лестничная клетка, Раскольников...

Королевич обожал Достоевского и часто, знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так:

— Свидригайлов!

Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его большим воображением.

Таинственно улыбаясь, он сказал мне полупшепотом, что меня ждет нечаянная радость. Я спросил какая. Но он сказал еще более таинственно:

— Сам увидишь скоро.

В веревочной кошелке, которую он держал в руках, я увидел бутылку водки и две копченые рыбины, связанные за жабры бечевочкой. Рыбины были золотистого оттенка и распространяли острый аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бутылки усугублял эту жажду. Но королевич, заметив мой взгляд, погрозил пальцем и, лукаво улыбнувшись, сказал:

— Только не сейчас. Потом, потерпи.

После этого он как некое величайшее открыттие сообщил мне, что он недавно перечитывал «Мертвые души» и понял, что Гоголь гений.

— Ты понимаешь, что он там написал? Он написал, что в дождливой темноте России дороги расплзлись, как раки. Ты понимаешь, что так сказать мог только гений! Перед Гоголем надо стать на колени. Дороги расплзлись, как раки!

И королевич действительно стал на колени, обратился в ту сторону, где, по его мнению, находилась Арбатская площадь с памятником Гоголю, перекрестился как перед иконой и стукнулся головой об пол.

Я не захотел уступить ему первенство открытия, что Гоголь гений, и напомнил, что у Гоголя есть «природа как бы спала с открытыми глазами» и также «графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке» в чулане Плюшкина, похожего на бабу.

— Неужели он это написал? — почти с суеверным ужасом воскликнул королевич. — А ты не врешь? — прибавил он, подозрительно глядя на меня. — Может быть, это ты сам выдумал, что графинчик был в фуфаечке, и морочишь меня?

— Прочти «Вия», прочти сцену у Плюшкина.

Он смущенно pokrutil головой.

— Вот это да! Но все-таки мои раки гениальнее твоей природы, спящей с открытыми глазами. А в общем, куда нам всем по сравнению с Гоголем! Особенно имажинистам! Тоже мне «образное мышление».

Страстная любовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас, и мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя и в то же время чувствуя себя детьми великой русской литературы, правда еще не вполне выросшими, созревшими.

В этот миг раздался звонок и в дверях появился соратник. Это и был приятный сюрприз, обещанный мне королевичем. Оказывается, королевич уже успел где-то встретиться с соратником, извиниться за скандал, учиненный на седьмом этаже, и назначил ему свидание у меня, с тем чтобы прочитать нам еще никому не читанную новую поэму, только что законченную.

Соратник, крупный поэт, был, кажется, единственным из всех лефов признававшим меня. Он настолько верил в меня как в поэта, что даже сердился, когда я брался за прозу. На одной из своих книжек он сделал мне такую надпись: большими буквами сверху стояло слово ПОЭТУ, дальше было мое имя и потом:

«с враждой за его отход от поэзии к «всерьез и надолгой» прозе, любящий его искренне — такой-то».

Может быть, он был мой самый настоящий, верный друг. Но он был гораздо старше меня как по возрасту, так и по литературному положению и его дружба со мною имела скорее характер покровительства, что еще Пушкин назвал «иль покровительства позор».

Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет. Ни одной заметной черточки. Не за что зацепиться: ну в приличном осеннем пальто, ну с бритым, несколько старообразным сероватым лицом, ну, может быть, советский служащий среднего ранга, кто угодно, но только не поэт, а между тем все-таки что-то взвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так — ни одной заметной черты: рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником Командора, одним из вождей Лёвого фронта. Ну, словом, не могу его описать.

Складываю, как говорится, перс.

Помнится, в то утро королевич привел с собой какого-то полудеревенского паренька, доморощенного стихотворца, одного из своих многочисленных поклонников-приживал, страстно в него влюбленных.

Кто-нибудь из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пес, и все время канючил, прося позволения прочитать свои стихотворения.

Королевич обращался с ними грубо и насмешливо, не стесняясь в выражениях:

— Ну чего ты за мной ходишь? Может быть, ты воображаешь себя замечательным талантом-самородком вроде Алексея Кольцова или Никитина? Так можешь успокоиться: ты полная бездарность, твоими стихами можно только подтираться, и то поцарапаешь задницу. Ну? Не пускай сопли и не рыдай. Москва слезам не верит. Поворачивай лучше оглобли и возвращайся в деревню землю пахать, вместо того чтобы тут гнить. Все равно ни черта из тебя не получится, можешь мне поверить. Хоть, по крайней мере, не мелькай перед глазами, ступай в угол и молчи в тряпочку. Тоже мне гений! Знаешь, сколько ты мне стоишь? И на кой черт я тебя, дурака, пою-кормлю. Жалкий прихлебало!

В те годы развелось великое множество подражателей королевичу, приезжавших из деревни в Москву за славой. Им казалось, что слава королевича легкая, дешевая. Королевич их презирал, но все же ему льстило такое поклонение.

Кажется, ни один из этих несчастных, свихнувшихся на эфемерной литературной славе королевичевских эпигонов так и не выписался в сколько-нибудь приличного поэта.

Все они сгнули после смерти своего божества. Иные из них по примеру королевича наложили на себя руки.

Обиженный подражатель, утирая рукавом слезы, удалился.

Мы остались втроем — королевич, соратник и я. Королевич подошел ко мне, обнял и со слезами на глазах сказал с непередаваемой болью в голосе, почти шепотом:

— Друг мой, друг мой, я очень и очень болен! Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

Он произносил слово «очень» как-то изломанно, со своим странным акцентом. Выходило «ёчень, оёчень, иочень»...

Слова эти были сказаны так естественно, по-домашнему жалобно, что мы сначала не поняли, что это и есть первые строки новой поэмы.

Потом он встал, прислонился к притолоке, полузакрыв свои вдруг помутневшие глаза смертельно раненного человека, может быть даже животного — оленя, — и своим особым, надсадным, со странным акцентом голосом произнес:

— То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ль, как рошу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше невмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь.

Только тут мы поняли, что это начало поэмы.

«Черный человек» он произносил с особенным нажимом, еще более ломая язык:

«Чьорный, чьорный, чьорный человек, ч'лавик»...

Королевич вздрогнул и стал озираться, как бы увидев невдалеке от себя ужасный призрак.

Мороз тронул мои волосы. Серое лицо соратника побледнело. Поэма называлась «Черный человек».

— Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и, гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то пройдохи и забуддыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный...

Слезы текли по щекам королевича, когда он произносил слово «черный» не через «ё», а через «о» — чорный, чорный, чорный, хотя это «о» было как бы разбавлено мучительно тягучим «ё».

Чорный, чорный, чорный.

Что делало это слово еще более ужасным.

Это был какой-то страшный, адский вариант пушкинского

«...воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивают свиток; и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная и горько жалуясь и горько слезы лью, но строк печальных не смываю».

Я уже упоминал, что Лев Толстой, читая это стихотворение, всегда с особенным упорством и значением вместо «строк печальных» говорил «строк постыдных».

Поэма королевича «Черный человек» была полна строк именно не печальных, но постыдных, которых поэт не мог и не хотел смыть, уничтожить.

«...Не знаю, не помню, в одном селе, может в Калуге, а может в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый,

с голубыми глазами... И вот стал он взрослым, к тому ж поэт, хоть и небольшой, но с ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою».

Королевич стоял, прислонясь к притолоке, и как бы исповедовался перед нами, не жалея себя и выворачивая наизнанку свою душу.

Мы были потрясены.

Он продолжал:

— ...Черный человек! Ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу...

Королевич вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая трость с золотым набалдашником.

Потом он долго молчал, поникнув головой. А затем почти шепотом промолвил:

— ...Месяц умер, синее в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один... И разбитое зеркало...

Звездообразная трещина разбитого зеркала как бы прошла через наши души. Какой неожиданный конец!

Оказывается, поэт сам как в горячечном бреду разговаривал со своим двойником, вернее сам с собой.

Действительно у него имелся цилиндр, привезенный из-за границы, и черная накидка на белой шелковой подкладке, наряд, в котором парижские щеголи некогда ходили на спектакли-галы в Гранд-опера.

Однажды в первые дни нашей дружбы королевич появился в таком плаще и цилиндре, и мы шлялись всю ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков.

Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший, уныло поджидая седоков, возле еще не отремонтированного дома с зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними — следами ноябрьских дней семнадцатого года.

Теперь там построено новое здание ТАСС.

Извозчик дремал на козлах. Королевич подкрался, вскочил на переднее колесо и заглянул в лицо старика, пощекотав ему бороду. Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил: еще со времен покойного царя-батюшки не видывал он таких седоков.

— Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! Хочешь? — сказал королевич.

— Ты что! Не замай! — крикнул в испуге извозчик. — Не хватай вожжи! Ишь фулиган! Позову милицию, — прибавил он, не на шутку рассердившись.

Но королевич вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика такой доброй, ласковой и озорной улыбкой, его детское личико под черной трубой шелкового цилиндра осветилось таким простоду-

шим, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что королевич совсем по-ребячьи показал ему язык, после чего они — королевич и извозчик — трижды поцеловались, как на пасху.

И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжащим смехом.

Это были золотые денечки нашей легкой дружбы. Тогда он еще был похож на вербного херувима.

Теперь перед нами стоял все тот же кудрявый, голубоглазый знаменитый поэт, и на лице его лежала тень мрачного вдохновения.

Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и закусили копченой рыбой. Но расстаться на этом казалось невозможным. Королевич еще раз прочитал «Черного человека», и мы отправились все вместе по знакомым и незнакомым, где поэт снова и снова читал «Черного человека», пил не закусывая, наслаждаясь успехом, который имела его новая поэма.

Успех был небывалый. Второе рождение поэта.

Конечно, я не смог не потащить королевича к ключику, куда мы явились уже глубокой ночью.

Ключик с женой жили в одной квартире вместе со старшим из будущих авторов «Двенадцати стульев» (другом, не братом!) и его женой, красавицей художницей родом из нашего города.

Появление среди ночи знаменитого поэта произвело переполох. До сих пор, кажется, никто из моих друзей не видел живого королевича. Дамы наскоро оделись, напудрились, взбили волосы. Ключик и друг натянули штаны. Все собрались в общей комнате, наиболее приличной в этой запущенной квартире в одном из глухих переулков в районе Сретенских ворот.

В пятый или шестой раз я слушал «Черного человека», с каждым разом он нравился мне все больше и больше. Уже совсем захмелевший королевич читал свою поэму, еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие — еле слышным шепотом.

Кончилось это внезапной дракой королевича с его провинциальным поклонником, который опять появился и сопровождал королевича повсюду, как верный пес. Их стали разнимать. Женщины схватились за виски. Королевич сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка. Его пытались успокоить, но он был уже невменяем.

Его навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь, к Зинке и бить ей морду, «Зинка» была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двоих детей и потом ушедшая от него к знаменитому режиссеру.

Королевич никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже порядочно времени. Я думаю, это и была та сердечная незаживающая рана, которая, по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта.

У Командора тоже:

«Мне говорили: Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я знал, что ты Джиоконда, которую надо украсть. И украли».

У всех у нас в душе была украденная Джиоконда.

Мы с трудом вывели королевича из разгромленной квартиры на темный Сретенский бульвар с полуоблетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться, но он продолжал бушевать.

Осипшим голосом он пытался кричать:

— И этот подонок... это ничтожество... жалкий актеришка... паршивый Треплев... трепло... Он вполз как змея в мою семью... изобразил из себя нищего гения... Я его, подлеца, кормил, поил... Он как собака спал у нас под столом... как последний шелудивый пес... И увел от меня Зинку... Потихоньку, как вор... и забрал моих детей... Нет!.. К черту!.. Идем сейчас же все вместе бить ей морду!..

Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара «бить морду Зинке».

Мы остались втроем: соратник, ключик и я. Мы поняли, что королевича уже ничто не спасет: он погибнет от белой горячки или однажды, сам не сознавая, что он делает, повесится, о чем он часто говорил во хмелю.

Что мы могли поделать? Это был рок. Проклятие.

Королевич был любимцем правительства. Его лечили. Делали все возможное. Отправляли неоднократно в санатории. Его берегли как национальную ценность. Но он отовсюду вырывался.

— Вот Командор другое дело. Командор никогда... — сказал соратник. — У Командора совсем другой характер. Он настоящий человек, строитель нового мира... революционер...

Мы согласились: Командор никогда не...

Но почему же соратник, ближайший друг Командора, комфут, вдруг ни с того ни с сего каким-то таинственным образом прогнотопоставил судьбы этих двух, таких разных, гениев?

Думаю, что подсознательно он уже и тогда предвидел конец Командора, его самоуничтожение. Ведь Командор много раз говорил об этом в своих стихах, но почему-то никто не придавал этому значения.

Ключик молчал. Я понял его молчание среди этой темной московской ночи на бульваре: его сердце тоже терзал незаживающий рубец любви и измены.

Я вспомнил, как тогда он приехал из Харькова в Москву ко мне в Мыльников переулок. Он был прилично одет, выбрит, его голова, вымытая шампунем в парикмахерской, придавала ему решительность, независимость. Это уже не был милый дружок, а мужчина с твердым подбородком, однако я чувствовал, что в нем горит все та же сердечная рана. Один из первых вопросов, заданных мне, был вопрос, виделся ли я уже с дружочком и где она поселилась с колченогим.

Я рассказал ему все что знал.

Он нахмурился, как бы прикусив польский ус, которого у него не было, что еще больше усилило его сходство с отцом.

Несколько дней он занимался устройством своих дел, а потом вдруг вернулся к мысли о дружочке. Я понял, что он не примирился с потерей и собирается бороться за свое счастье.

Однажды, пропадая где-то весь день, он вернулся поздно ночью и сказал:

— Я несколько часов простоял возле их дома. Окно в третьем этаже было освещено. Оранжевый мещанский абажур. Наконец я

увидел ее профиль, поднятую руку, метнулись волосы. Ее силуэт обращался к кому-то невидимому. Она разговаривала со злым духом. Я не удержался и позвал ее. Она подошла к окну и опустила штору. Я могу поручиться, что в этот миг она побледнела. Я еще постоял некоторое время под уличным фонарем, и моя тень корчилась на тротуаре. Но штора по-прежнему висела не шевелясь. Я ушел. По крайней мере, я теперь знаю, где они живут. Что-то в этой сцене было от Мериме,— не удержался ключик от литературной реминисценции.

— Мы ее должны украсть.

Таким образом, было решено второе, после Мака, похищение дружочка. Но на этот раз я не рискнул идти в логово колченогого: слишком это был опасный противник, не то что Мак. Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас как поэт, над которым незримо витала зловещая тень Гумилева, некогда охотившегося вместе с колченогим в экваториальной Африке на львов и носорогов, не говоря уж о его таинственной судьбе, заставлявшей предполагать самое ужасное, он являлся нашим руководителем, идеологом, человеком, от которого, в конце концов, во многом зависела наша судьба. Переведенный из столицы Украины в Москву, он стал еще на одну ступень выше и продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице. В этом отношении по сравнению с ним мы были пигмеи. В нем угадывался демонический характер.

Однако по твердому, скульптурному подбородку ключика я понял, что он решился вступить в борьбу с великаном.

Ключик стоял посередине комнаты в Мыльниковом переулке, расставив ноги в новых брюках, недавно купленных в Харькове, в позе маленького Давида перед огромным Голиафом. Он великодушно отказался от моей помощи и решил действовать самостоятельно. Он надолго исчезал из дому, вел таинственные переговоры по телефону, часто посещал парикмахерскую, изредка даже гладил брюки утюгом на моем письменном столе, любовался на себя в зеркале, и в конце концов однажды у нас в комнате появилась наша Манон Леско.

Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнувшая духами «Лориган» Коти, которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук московскими потаскушками, обособившимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин, не утративший еще своего дореволюционного названия «Мюр и Мерилиз».

Если раньше дружочек имела вид совсем молоденькой девушки, то теперь в ней проглядывало нечто дамское, правда еще не слишком явственно. Такими обычно выглядят бедные красавицы, недавно вышедшие замуж за богатого, еще не освоившиеся с новым положением, но уже научившиеся носить дамские аксессуары: перчатки, сумочку, кружевной зонтик, вуалетку.

Она нежно, даже, кажется, со слезами на глазах, словно бы вырвавшись из плена, целовала своего вновь обретенного ключика, ершила ему шевелюру, обнимала, называла дружком и слоником и заливалась странным смехом.

Что касается колченогого, то о нем как бы по молчаливому уговору не упоминалось.

Вместе с дружочком к нам вернулась наша бродячая молодость, когда мы на случайных квартирах при свете копилки читали только что вышедшее «Все сочиненное» Командора — один из первых стихотворных сборников, выпущенных молодым Советским государством на плохой, тонкой, почти туалетной бумаге.

Боже мой, как мы тогда упивались этими стихами с их гиперболизмом, метафоричностью, необыкновенными составными рифмами, разорванными строчками и сумасшедшими ритмами революции.

«Дней бык пег. Медленна лет арба. Наш бог — бег, сердце наше барабан».

Мы выучили наизусть «Левый марш» с его

«Левой! Левой! Левой!»

Мы хором читали:

«Сто пятьдесят миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля — ритм. Рифма — огонь из здания в здание. Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими. Ротационкой шагов, в булыжном верже площадей отпечатано это издание».

Нас восхищало как нечто невообразимо прекрасное, неслыханное:

«Выйдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса, бог-человек!..»

«...пули погуще по оробелым! В гущу бегущим грянь, парабеллум»...

Среди странной, враждебной нам стихии нэпа, бушующего в Москве, в комнате на Мыльниковом переулке на один миг мы как бы вернулись в забытый нами мир отгремевшей революции. Как будто бы жизнь начиналась снова. И снова вокруг нас шли по черным ветвям мертвых деревьев тайные соки, обещавшие вечную весну.

...Именно в этот миг кто-то постучал в окно.

Стук был такой, как будто постучали костяшками мертвой руки.

Мы обернулись и увидели верхнюю часть фигуры колченогого, уже шедшего мимо окон своей ныряющей походкой, как бы выбрасывая вперед бедро. Соломенная шляпа-канотье на затылке. Профиль красивого мертвеца. Длинное белое лицо.

Ход к нам вел через ворота. Мы ждали звонка. Дружочек прижалась к ключику. Однако звонка не последовало.

— Непонятно, — сказал ключик.

— Вполне понятно, — оживленно ответила дружочек. — Я его хорошо изучила. Он стесняется войти и теперь, наверное, сидит где-нибудь во дворе и ждет, чтобы я к нему выскочила.

— Ни в коем случае! — резко сказал ключик.

Но надо же было что-то делать. Я вышел во двор и увидел два бетонных звена канализационных труб, приготовленных для ремонта, видимо, еще в дореволюционных лет. Одно звено стояло. Другое лежало. Оба уже немного ушли в землю, поросшую той травкой московских дворикув с протоптанными тропинками, которую так любили изображать на своих небольших полотнах московские пейзажисты-передвижники.

...Несколько тополей. Почерневший от времени, порванный веревочный гамак висел перед желтым флигелем. Он свидетельствовал о мучительно длинной череде многолетних затяжных дождей. Но теперь сквозь желтоватые листья кленов светило грустное солнце, и весь этот старомосковский поленовский дворик, сохранившийся на задах нашего многоэтажного доходного дома, служил странным фоном для изломанной фигуры колченогого, сидевшего на одном из двух бетонных звеньев.

Нечто сюрреалистическое.

Он сидел понуро, выставив вперед свою искаленную, плохо сгибающуюся ногу в щегольском желтом полуботинке от Зеленкина.

Вообще он был хорошо и даже щеголевато одет в стиле крупного администратора того времени. Кульпячкой обрубленной руки, видневшейся в глубине рукава, он прижимал к груди свое канотье, в другой же руке, бессильно повисшей над травой, держал увесистый комиссарский наган-самовзвод. Его наголо обритая голова, шафранно-желтая, как дыня, с шишкой, блестела от пота, а глаза были раскосо опущены. Узкий рот иезуитски кривился, и вообще в его как бы вдруг еще более постаревшем лице чудилось нечто католическое, может быть униатское, и вместе с тем украинское, мелкопоместное.

Он поднял на меня потухший взор и, назвав меня официально по имени-отчеству, то и дело заикаясь, попросил передать дружочку, которую тоже назвал как-то церемонно по имени-отчеству, что если она немедленно не покинет ключика, названного тоже весьма учтиво по имени-отчеству, то он здесь же у нас во дворе выстрелит себе в висок из нагана.

Пока он все это говорил, за высокой каменной стеной заиграла дряхлая шарманка, доживавшая свои последние дни, а потом раздались петушинные крики петрушки.

Щемящие звуки уходящего старого мира. Вероятно, они извлекали из глубины сознания колченогого его стихи:

«Жизнь моя, как летопись, загублена, киноварь не вьется по письму. Ну, скажи: не знаешь, почему мне рука вторая не отрублена?»

«Ну застрелюсь, и это очень просто»...

Колченогий был страшен, как оборотень.

Я вернулся в комнату, где меня ждали ключик и дружочек. Я сообщил им о том, что видел и слышал. Дружочек побледнела:

— Он это сделает. Я его слишком хорошо знаю.

Ключик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком. Однако его реакция на мой рассказ оказалась гораздо проще, чем я ожидал.

— Господа,— рассудительно сказал он, скрестив по-наполеоновски руки,— что-то надо предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия? Ответственный работник стреляется почти на наших глазах! Следствие. Допросы. Прокуратура. В лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем... даже страшно подумать! Нет, нет! Пока не поздно, надо что-то предпринять.

А что можно было предпринять?

Через некоторое время после коротких переговоров, которые с колченогим вел я, дружочек со слезами на глазах простилась с ключиком, и, выглянув в окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего колченогого, удаляется в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка.

Было понятно, что это уже навсегда.

Кровавый конец колченогого отдалился на неопределенный срок. Но все равно — он был обречен: недаром так мучительно-сумбурными могли показаться его пророческие стихи.

Окончательный разрыв с дружочком ключик наружно перенес легко и просто. Он даже как бы несколько помолодел, будто для него началась вторая юность.

Но наши отношения с колченогим и дружочком, как это ни странно, ничуть не изменились. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались.

Мы с ключиком были неразлучны до тех пор, пока он не женился. Но и его женитьба ничего не изменила. Мы были оба внутренне одиноки, оба со шрамами от первой неудачной любви.

Но никто этого не замечал.

Последние годы Мыльникова переулка, о котором я еще расскажу более обстоятельно, оставили в моей душе навсегда неизгладимый след, как первая любовь.

Чистые пруды. Цветущие липы. Кондитерская Бартельса в большом пряничном доме стилиа модерн-рюс на углу Покровки, недалеко от аптеки, сохранившейся с петровского времени. Кинотеатр «Волшебные грезы», куда мы ходили смотреть ковбойские картины, мелькающие ресницы Мери Пикфорд, развороченную походку Чарли Чаплина в тесном сюртучке, морские маневры — окутанные дымом американские дредноуты с мачтами, решетчатými как Эйфелева башня...

А позади бывшая гренадерская казарма, где в восемнадцатом году восставшие левые эсеры захватили в плен Дзержинского.

В том же доме, где помещались «Волшебные грезы», горевшие по ночам разноцветными электрическими лампочками, находилось и то прекрасное, что называлось у нас с легкой руки ключика на ломаном французском языке «экутэ ле богемьен», что должно было означать «слушать цыган».

Пока из окон «Волшебных грез» долетали звуки фортепьянного галопа, крашенные двери пивной то и дело визжали на блоке, оттуда на морозный воздух вылетали облака пара, и фигуры в драповых пальто с каракулевыми воротниками то и дело по двое, по трое бочком спасались от снежных вихрей там, где на помосте уже рассаживался пестрый цыганский хор.

Мы с ключиком в надвинутых на глаза кепках, покрытых снегом, входили в эту второразрядную пивнушку, чувствуя себя по меньшей мере гусарами, примчавшимися на тройке к «Яру» слушать цыган.

Стоит ли описывать после Льва Толстого цыганские песни, надрывавшие души не одного поколения русских людей? Стоит ли описывать ночную метель — от неба до земли, — раскачиванье предутренних фонарей, отчего вся улица ныряла, как сорвавшийся с якоря корабль, и тени убежавших от нас цыганок с узелками под мышкой, в которых они несли своим детям-цыганятам в Петровский парк еду, **полученную в трактире?**

Бесплодная погоня за неземной, выдуманной цыганской любовью.

Единственно что стоит вспомнить, это слова ключика по поводу одной старой-престарой, но могучей цыганки, сидевшей как идол в первом ряду хора, посередине, с длинными буклями по сторонам грубого мужского лица. Видимо, она была хозяйкой и повелительницей хора. Нечто вроде пчелиной матки.

— Ты знаешь, на кого она похожа? — спросил ключик.

— На кого?

Он сделал длинную паузу, во время которой несколько раз окунул подбородок в пивную пену, и наконец торжественно провозгласил:

— Она похожа на Джонатана Свифта!

Слово «Свифт» его не удовлетворяло. Ему непременно надо было произнести эффектное — Джонатан.

Однажды в присутствии Командора ключик не удержался и произнес с пафосом:

— Протуберанец!

Командор слегка поморщился, вокруг его рта появились складки, и он сказал:

— Послушайте, ключик, а вы не могли бы выразаться менее помпезно?

Ключик стал обидчиво объяснять, что слово «протуберанец» вполне научное и обозначает астрономическое явление, связанное со структурой солнечной короны, на что Командор только безнадежно махнул рукой.

«... ночью снежной и мятежной чей-то струнный перебор» — и тени саней, летящих к «Яру», и звон колокольчика, и шорох крупных бубенцов...

...Так мы некоторое время и жили с ключиком...

Но не думайте, что я описываю двух бездельников, огорванных от жизни, от революции. Это совсем не так. Мы много и усердно работали в газете «Гудок», предназначенной для рабочих-железнодорожников.

По странному стечению обстоятельств в «Гудке» собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Три толстяка», «Зависть», «Двенадцать стульев», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Растратчики», «Мастер и Маргарита» и много, много других. Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу.

Каждый такой счет должна была подписать заведующая финансовым отделом, старая большевичка из ленинской гвардии еще времен «Искры».

Эта толстая пожилая дама в вязаной кофте с оторванной нижней пуговицей, с добрым, но измученным финансовыми заботами лицом и юмористической, почти тоголевской фамилией — не буду ее здесь упоминать — брала счет, пристально его рассматривала и чесала поседевшую голову кончиком ручки, причем глаза ее делались

грустными, как у жертвенного животного, назначенного на заклание.

— Неужели все это вы умудрились настроичить за одну неделю? — спрашивала она, и в этой фразе как бы слышался осторожный вопрос: не приписали ли вы в своем счете что-нибудь лишнего?

Затем она тяжело вздыхала, отчего ее обширная грудь еще больше надувалась, и, обтерев перо о юбку, макала его в чернильницу и писала на счете сбоку слово «выдать».

Автор брал счет и собирался поскорее покинуть кабинет, но она останавливала его и добрым голосом огорченной матери спрашивала:

— Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их девааете?

Эти, в сущности, скромные выплаты казались ей громадными суммами.

— Куда вы их девааете?

Могли ли мы с ключиком ответить на ее вопрос? Она бы ужаснулась. Ведь мы были одиноки, холосты, вокруг нас бушевал нэп... Наконец, «экүтэ ле богемьен» — это ведь было не даром!

Мы молчали.

Она огорченно махала рукой. В самом деле, что она могла о нас подумать? Беспартийные, без роду без племени, неизвестно откуда взявшиеся, сомнительно одетые, с развязными манерами газетной богемы... Правда, не лишённые литературного таланта... И этим-то, в общем, подозрительным личностям приходилось выдавать святыя партийные деньги.

Она так привыкла к понятию «партийная касса», что всякие деньги считала партийными и отдавать их на сторону считала чуть ли не преступлением перед революцией.

Подписывая наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой экономической политике. С волками жить — по-волчьи выть. Ее можно было понять.

Ключик зарабатывал больше нас всех. Он вообще родился под счастливой звездой. Его все любили.

— Что вы умеете? — спросили его, когда он, приехав из Харькова в Москву, пришел наниматься в «Гудок».

— А что вам надо?

— Нам надо стихи на железнодорожные темы.

— Пожалуйста.

Получив материал о беспорядках на каком-то железнодорожном разъезде, ключик, как был в расстегнутом пальто, сел за редакционный стол, бросил кепку под стул и через пятнадцать минут вручил секретарю редакции требуемые стихи, написанные его крупным, разборчивым, круглым почерком.

Секретарь прочел и удивился — как гладко, складно, а главное, вполне на тему и политически грамотно!

После этого возник вопрос: как стихи подписать?

— Подпишите как хотите, хотя бы «А. Пушкин», — сказал ключик, — я не тщеславный.

— У нас есть ходовой, дежурный псевдоним Зубило, под которым мы пускаем материалы разных авторов. Не возражаете?

— Валайте.

Через месяц ходовой редакционный псевдоним прогремел по всем железнодорожным линиям, и Зубило стал уже не серым анонимом, а одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов, едва ли не затмив славу Демьяна Бедного.

Ключик-Зубило оказался бесценной находкой для «Гудка».

Синеглазый и я со своими маленькими фельетонами на внутренние и международные темы потонули в сиянии славы Зубилы. Как мы ни старались, придумывая для себя броские псевдонимы — и Крахмальная Манишка, и Митрофан Горунца, и Оливер Твист, — ничто не могло помочь. Простой, совсем не броский, даже скучный псевдоним Зубило стал в «Гудке» номером первым.

Когда Зубилу необходимо было выехать по командировке на какую-нибудь железнодорожную станцию, ему давали отдельный вагон!

Он часто брал меня с собой на свои триумфальные выступления, приглашая «в собственный вагон», что было для меня, с одной стороны, комфортабельно, но с другой — грызло мое честолюбие.

Ключик-Зубило выступал со своими знаменитыми буриме перед тысячными аудиториями прямо в паровозных депо, имея не меньший успех, чем наш харьковский дурак, некогда сделавший свою служебную карьеру стишками молодого ключика.

Но в «Гудке» произошло еще одно чудо.

В числе молодых, приехавших с юга в Москву за славой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской, культуры, ее новейшего искусства — живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы (даже птицелов) еще не имели понятия. Во всем его облике было нечто неистребимо западное. Он одевался, как все мы: во что бог послал. И тем не менее он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобретала на его голове парижский вид, а пенсне без ободков, сидящее на его странном носу и как бы скептически поблескивающее, его негритянского склада губы с небольшой черничной пигментацией были настолько космополитичны, что воспринять его как простого советского гражданина казалось очень трудным. Между тем среди всех нас, одержимых духом революции, он, быть может, был наиболее революционно-советским.

Он дружил с наследником (так мы назовем одного из нашей литературной компании), который и привел его к нам в агитотдел Одукрыты, а потом и в так называемый коллектив поэтов, где он (назовем его просто друг) хотя большей частью и молчаливо, но весьма неравнодушно принимал участие в наших литературных спорах.

Мы полюбили его, но никак не могли определить, кто же он такой: поэт, прозаик, памфлетист, сатирик? Тогда еще не существовало понятия эссеист.

Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, к кубо-футуристам. Нечто маяковское всегда витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус, и втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний «с места», всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойствен афористический стиль.

Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто весьма своеобразное, ни на что не похожее, но очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упрямствами провинциальных декадентов.

Сейчас, через много лет, мне трудно воспроизвести по памяти хотя бы один из его опусов. Помню только что-то, где по ярко-зеленому лугу бежали красные кентавры, как бы написанные Матиссом, и молнии ложились на темном горизонте, и это была вечная весна или нечто подобное...

Можете себе представить, каких трудов стоило устроить его на работу в Москве. О печатании его произведений, конечно, не могло быть и речи. Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне не пришла на первый взгляд безумная идея повести его заниматься в «Гудок».

— А что он умеет? — спросил ответственный секретарь.

— Все и ничего, — сказал я.

— Для железнодорожной газеты это маловато, — ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий, последний из рода польских графов Потоцких, подобно Феликсу Дзержинскому примкнувший к революционному движению, старый большевик, политкаторжанин, совесть революции, на вид грозный, с наголо обритой, круглой, как ядро, головой и со сложением борца-тяжеловеса, но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании. — Вы меня великодушно извините, — обратился он к другу, которого я привел к нему, — но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно?

Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись:

— В принципе пишу без грамматических ошибок.

— Тогда мы берем вас правщиком, — сказал Август.

Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников.

Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе; дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления.

Другу вручили пачку писем, вкривь и вкось исписанных чернильным карандашом. Друг отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. Он уважал рабочий класс, невинный в своей безграмотности — наследии дореволюционного прошлого.

Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки.

Друг же поступил иначе. Вылущив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму — нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти — пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной.

Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать. Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии.

Это была маленькая газетная революция.

Старые газетчики долго вспоминали невозвратно далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка».

Создатель же этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным, хотя через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность, о чем своевременно и будет рассказано.

Пока же мне не хочется расставаться с ключиком, с Мыльниковым переулком, с его особым поэтическим миром, где наши свободные мнения могли не совпадать с общепринятыми, где для нас не существовало авторитетов и мы независимо судили об исторических событиях, а о великих людях просто как о соседях по квартире.

О Льве Толстом и Наполеоне судили строго, но справедливо, не делая скидок на всемирную славу. Некоторых из великих мы совсем не признавали. Много читали. Кое-чем чрезмерно восхищались. Кое-что напрочь отвергали. Словом, позволяли себе «колебать мировые струны».

Вокруг нас бушевали политические страсти. Буржуазный мир еще не мог смириться с победой Октябрьской революции. Волны ненависти катились на нас с Запада. Советская власть с каждым днем мужала, но ей все еще приходилось преодолевать множество препятствий.

Сегодня трудно себе представить, но в стране была безработица и в Москве работала Биржа труда. Среди бурь и потрясений рождалось могучее государство рабочих и крестьян. Появились новые формы общественного сознания, производственных отношений.

Эпоха Великого Поиска.

Все несло на себе печать новизны.

Новый кинематограф. Новый театр. Новая поэзия. Новая проза. Новая живопись.

Новые имена гремели вокруг нас. Новые поэмы. Новые фильмы. Новая техника.

Появились первые радиоаппараты — самодельные ящики с детекторными приемниками, и, надев на голову наушники, можно было слышать муравьиною возню неразборчивой человеческой речи на разных языках и слабую музыку, бог весть откуда доносившуюся из мирового эфира в наш Мыльников переулок.

Но все это как бы не имело к нам отношения.

Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений. А то, что было написано нами раньше, преждевременно умирало, едва успев родиться. Однако это нас несколько не огорчало.

Может быть, этим и восхищался Брунsvик...

Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома союзов, где в Колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая, как паруса.

Мы посещали знаменитую первую Сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян, колхозников и одиноличников, из всех союзных республик в своих национальных одеж-

дах, в тубетейках и папахах, оставя павильоны и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная вонь скотных дворов, толпились на берегу разукрашенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким дюралевым «юнкерсом» на водяных лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пестрым табором выставки, то садился на воду, бегущую синей рябью под дряхлым Крымским мостом на том месте, где ныне мы привыкли видеть стальной висячий мост с натянутыми струнами креплений.

«И чего глазеет люд? Эка невидаль — верблюд! Я на «юнкерсе» катался, да и то не удивлялся».

Именно к этому периоду нашего творческого бездействия, изнурительно-медленного созревания гражданского самосознания мне бы хотелось отнести те отрывочные воспоминания о ключике на пороге его зрелости, о его оригинальном мышлении, о его совершенно невероятных метафорах, секрет которых ныне утрачен, как утрачен секрет химического состава неповторимых красок мастеров старинной итальянской живописи, и по сей день не потерявших своей светящейся свежести.

Вероятно, здесь мы имеем дело с физиологическим феноменом: особым устройством механизма запоминания в мозговых клетках ключика, странным образом соединенного с механизмом ассоциативных связей.

Метафора — это, в общем, довольно банальная форма поэтической речи. Кто из писателей не пользовался метафорой! Но метафоры ключика отличаются такой невероятной ассоциативной сложностью, которая уже не в состоянии выдержать собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной простоты.

В жизни он был так же метафоричен, как в своих произведениях.

Уже тяжело больной, на пороге смерти он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок:

— Вы переворачиваете меня, как лодку.

Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком.

Быть может, самая его блестящая и нигде не опубликованная метафора родилась как бы совсем случайно и по самому пустому поводу:

у нас, как у всяких холостяков, завелись две подружки-мещаночки в районе Садовой Триумфальной, может быть в районе Миусской площади. Одна чуть повыше, другая чуть пониже, но совершенно одинаково одетые в белые батистовые платица с кружевами, в белых носочках и в белых шляпках с кружевными полями. Одна была «моя», другая — «его».

Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших прежних любовных неудач.

Наши юные подруги были малоразговорчивы, ненавязчиво нежны, нетребовательны, уступчивы и не раздражали нас покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого, возможно, даже и не подозревали.

Иногда они приходили к нам в Мыльников переулок, никогда

не опаздывая, и ровно в назначенный час обе появлялись в начале переулка — беленькие и нарядные.

(Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких возлюбленных!)

Однако ключик решил эту стилистическую задачу очень просто. Однажды, посмотрев в окно на садящееся за крыши солнце, он сказал:

— Сейчас придут флаконы.

Так они у нас и остались на всю жизнь под кодовым названием флаконы, с маленькой буквы.

По-моему, безукоризненно!

Одно только слово — и все совершенно ясно, вся, так сказать, картина.

На этом можно и остановиться.

Остальные метафоры ключика общеизвестны:

«Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев» — и т. д.

Наконец, неизвестные «голубые глаза огородов».

Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал:

— Можешь закончить длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой, нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов. Непременно эти три волшебных слова как заключительный аккорд. «Голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь.

Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть.

Боюсь, что она так и останется как неприкаянная. Но ведь она уже и так, одна, сама по себе произведение искусства и никакого рассказа для нее не надо.

Что же касается классической ветки, полной цветов и листьев, то она нашла место в одном из самых популярных сочинений ключика. Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, вероятнее всего ветка белой акации («...белой акации гроздь душистые вновь аромата полны»), была той неизлечимой душевной болью, которую ключик пронес через всю свою жизнь после измены дружочка, подобно Командору, у которого украли его Джиоконду еще во времена «Облака в штанах».

...тщетные поиски навсегда утраченной первой любви, попытки как-то ее воскресить, найти ей замену...

Конечно, этой заменой не могли стать для нас флаконы, так же незаметно исчезнувшие, как и появившиеся, не оставив после себя никакого следа, даже запаха.

Боже мой, сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получавших, конечно, другие кодовые названия, изобретенные ключиком вместе со мной в Мыльниковом переулке.

Так как это мое сочинение — или, вернее, лекция — не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю, а является продуктом мовизма, придуманного мною в счастливую минуту, то я считаю вполне естественным рассказать в этом месте обо всех изобретенных нами кодовых названиях, облегчавших нам определение разных знакомых женских типов.

Но прежде хочется привести кусочек из письма Пушкина Вяземскому 1823 года из Одессы в Москву. Может быть, это прольет некоторый свет на мовизм, а также на литературный стиль моих сочинений последних десятилетий.

Вот что писал Пушкин:

«...я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедаю из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе...»

Ломаю эту привычку. Итак:

высший тип женщины — небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, покрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, — на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа. Она неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в «Метрополе» вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные Матиссом золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забывали о существовании мимолетных видений и гениев чистой красоты. В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор, а в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, и два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в смокинге, под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает, с ее ресниц течет черная краска и шлейф крепдешинового платья оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника.

Следом за небожительницей в ранге красавиц идет хорошенькая девушка более современного полуспортивного типа, в кофточке джерси с короткими рукавами, с ямочками на щеках и на локотках, чаще всего азартная любительница пинг-понга, имеющая у нас кодовое название «Ай дабль-даблью. Блеск домен. Стоп! Лью!».

(Дань американизму Левого фронта двадцатых годов: из стихов соратника.)

После ай дабль-даблью идет таракуцка (происходит от румынского слова «тартакуца», то есть маленькая высушенная тыквочка, величиной с яблоко, превратившегося у нас в южнорусское слово «таракуцка» — любимая игрушка маленьких деревенских детей). Если ее потрясти, в середине зашуршат высушенные семечки. Таракуцки были наиболее распространенным у нас типом молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса — продавщиц,

вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик, наполнявших в часы пик московские улицы. Они были большие модницы, хотя и одевались стандартно: лихо надетые набекрень белые суконные береттики, аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав, на плотных ножках туфельки-танкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка. Они были самостоятельны, независимы, улыбчивы; их всегда можно было видеть вечером под светящимися уличными часами, в ожидании свиданья с каким-нибудь красавцем или даже с немолодым советским служащим, улизнувшим от бдительного ока супруги. Их еще называли «фордики» в честь первых такси, недавно появившихся на улицах Москвы. Признаться, из всех видов красавиц они были для нас самые привлекательные, конечно не считая флаконов. Таракуцки были маленькие московские парижанки, столичные штучки, то, что когда-то во Франции называлось «мидинетки», их не портило даже то, что пальчики на руках и ногах у них были как бы не до конца прорезаны, вроде некоторых видов сдобного печенья, надрезанного по краям. Видимо, создавая их, бог очень торопился и не вполне закончил свою работу.

За таракуцками шли женщины неприятные, и среди них самый неприятный тип был холера — тощая, очень чернобровая, с плохими зубами, висящими космами прямых волос и пронзительным индюшачьим голосом. Как ни странно, но бывали случаи, когда небожительница перерождалась в холеру, а холера каким-то образом преобразалась в небожительницу, но это случалось крайне редко.

Зато между таракуцками и ай дабль-даблью было больше сходства, и мужчины нередко их путали, что, впрочем, не приносило им особых огорчений.

Был еще тип, носящий длинное кодовое название последний день Парижской коммуны, более возвышенный и одухотворенный тип холеры, — с пятнами черных глазных впадин и страшно раскинутыми, распятыми руками, как барельеф, высеченный на могильном камне.

И, наконец, первый день творенья. Очень молоденькая, рано созревшая, малограмотная, с неразвитой речевой артикуляцией, испуганными глазами на толстом свекловично-багровом лице, каким-то образом, чаще всего случайно, очутившаяся в большом городе и показывающая прохожим листок бумаги, на котором каракулями написан адрес, который она разыскивает. Первый день творенья чаще всего превращалась в няньку (няньки в то время еще не перевелись), в железнодорожную сторожиху, держащую в руке зеленый флажок, но чаще всего поступала на фабрику и с течением времени превращалась в таракуцку.

Были еще какие-то разновидности, открытые мною с ключиком, но я уже о них забыл. Имелись также типы и мужчины, но перечислять их не стоит, так как все они являлись для нас игрой воображения, выходцами из старого мира, заимствованными из дореволюционной классической литературы.

Все это было для нас литературной игрой, вечной тренировкой наблюдательности, в особенности же упражнением в сравнениях.

Однажды мы так заигрались в эту игру в сходства, что ключик, рассердившись не на шутку, закричал:

— Будем считать, что все похоже на все, и кончим это метафорическое мучение!

В чем-то он, конечно, был прав. Но я думаю, что подобного рода игра ума, которой мы занимались чуть ли не с гимназических лет, сослужила нам впоследствии, когда мы стали всерьез писателями, большую службу.

...я чувствовал, что ключик никак не может забыть ту, которая еще так недавно прошумела в его жизни, как ветка, полная цветов и листьев.

Подобно Прусту, искавшему утраченное время, ключик хотел найти и восстановить утраченную любовь. Он смоделировал образ ушедшего от него дружка, искал ей замену, его душа находилась в состоянии вечного тайного любовного напряжения, которое ничем не могло разрешиться.

То, что он так упорно искал, оказалось под боком, рядом, в Мыльниковом переулке, почти напротив наших окон.

Моя комната была проходным двором. В ней всегда, кроме нас с ключиком, временно жило множество наших приезжих друзей. Некоторое время жил с нами вечно бездомный и неустроенный художник, брат друга, прозванный за цвет волос рыжим. Друг говорил про него, что когда он идет по улице своей нервной походкой и размахивает руками, то он похож на манифестацию. Вполне допустимое преувеличение.

Так вот этот самый рыжий художник откуда-то достал куклу, изображающую годовалого ребенка, вылепленную совершенно реалистически из папье-маше и одетую в короткое розовое платьице.

Кукла была настолько художественно выполнена, что в двух шагах ее нельзя было отличить от живого ребенка.

Наша комната находилась в первом этаже, и мы часто забавлялись тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка на подоконник и, дождавшись, когда в переулке появился прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок вываливается из окна.

Раздавался отчаянный крик прохожего, что и требовалось доказать.

Скоро слава о чудесной кукле распространилась по всему району Чистых прудов. К нашему окну стали подходить любопытные, прося показать искусственного ребенка.

Однажды, когда ключик сидел на подоконнике, к нему подошли две девочки из нашего переулочка — уже не девочки, но еще и не девушки, то, что покойный Набоков назвал «нимфетки», и одна из них сказала, еще несколько по-детски шепелявя:

— Покажите нам куклу.

Ключик посмотрел на девочку, и ему показалось, что это то самое, что он так мучительно искал. Она не была похожа на дружочка. Но она была ее улучшенным подобием — моложе, свежее, прелестнее, невиннее, а главное, по ее фаянсовому личику не скользила ветреная улыбка изменницы, а личико это было освещено серьезной любознательностью школьницы, быть может совсем и не отличницы, но зато честной и порядочной четвероножки.

Тут же не сходя с места ключик во всеулышание поклялся, что напишет блистательную детскую книгу-сказку, красивую, роскошно изданную, в коленкоровом переплете, с цветными картинками, а на титульном листе будет напечатано, что книга посвящается...

Он спросил у девочки имя, отчество и фамилию; она добросовестно их сообщила, но, кажется, клятва ключика на нее не произвела особенного впечатления. У нее не была настолько развита фантазия, чтобы представить свое имя напечатанным на роскошной подарочной книге знаменитого писателя. Ведь он совсем еще был не

знаменитость, а всего лишь, с ее точки зрения, немолодой симпатичный сосед по переулку, не больше.

Он стал за ней ухаживать как некий добрый дядя, что выражалось в потоке метафорических комплиментов, остроумных замечаний, которые пропадали даром, так как их не могла оценить скромная чистопрудная девочка, едва вышедшая из школьного возраста. Дело дошло до того, что ключик пригласил ее с подругой в упомянутое уже здесь кино «Волшебные грезы» на ленту с Гарри Пилем; девочки получили большое удовольствие, в особенности от того, что ключик купил им мороженое с вафлями, которое они бережливо облизывали со всех сторон во время сеанса.

Одним словом, роман не получился: слишком велика была разница лет и интеллектов. Но обещанную книгу ключик стал писать, рассчитывая, что, пока он ее напишет, пока ее примут в издательстве, пока художник изготовит иллюстрации, пока книга выйдет в свет, пройдет года два или три, а к тому времени девочка созреет, поймет, что он гений, увидит напечатанное посвящение и заменит ему дружочка.

Большая часть расчетов ключика оправдалась. Он написал нарядную сказку с участием девочки-куклы, ее иллюстрировал (по протекции колченогого) один из лучших графиков дореволюционной России, Добужинский, на титульном листе четким шрифтом было отпечатано посвящение, однако девичья фамилия девочки, превратившейся за это время в прелестную девушку, изменилась на фамилию моего младшего братца, приехавшего из провинции и успевшего прижиться в Москве, в том же Мыльниковом переулке.

Он сразу же влюбился в хорошенькую соседку, но не стал ее обольщать словесной шелухой, а начал за ней ухаживать по всем правилам, как заправский жених, имеющий серьезные намерения: он водил ее в театры, рестораны, кафе «Битые сливки» на Петровке за церковкой, которой уже давно не существует и куда водил своих возлюбленных также Командор — очень модное место в Москве, — провозжал на извозчике домой, дарил цветы и шоколадные наборы, так что вскоре в моей комнате в Мыльниковом переулке шумно сыграли их свадьбу, на которой ключик, несмотря на то, что изрядно выпил, вел себя вполне корректно, хотя и сделал робкую попытку наскандалить, после чего счастливые молодожены поселились в небольшой квартирке, которую предусмотрительно нанял мой положительный брат.

Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я отрицательным.

В скором времени мой брат стал знаменитым писателем, так что девочка с Мыльникова переулка ничего не потеряла и была вполне счастлива.

Конечно, вас интересует, каким образом мой брат прославился?

Об этом стоит рассказать подробнее, тем более что мне часто задают вопрос, как создавался роман «Двенадцать стульев», переведенный на все языки мира и неоднократно ставившийся в кино многих стран.

...Я встаю и, отстраняя микрофон, который всегда меня раздражает, начинаю свой рассказ с описания авторов «Двенадцати стульев» — сначала я говорю о друге, а потом о брате:

— Мой брат, месть и медам, был на шесть лет моложе меня, и я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал,— вследствие чего и получил название наш кувака.

Затем я говорю студентам о нашей семье, о рано умершей матери и об отце, окончившем с серебряной медалью Новороссийский университет, ученике прославленного византиста, профессора, академика Кондакова; говорю о нашей семейной приверженности к великой русской литературе и папиному книжному шкафу, где как величайшие ценности хранились двенадцатитомная «История государства Российского» Карамзина, полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Лескова, Гончарова и так далее.

Я рассказываю, как у нас в семье ценился юмор и как мой братец, еще будучи гимназистом пригготовительного класса, сочинял смешные рассказы — вполне детские, но уже обещающие большой литературный талант.

Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизаны «Двенадцать стульев».

Я говорю довольно связно, повторяя уже много раз говоренное, а в это же самое время, как бы пересекая друг друга по разным направлениям и в разных плоскостях, передо мной появляются цветные изображения, таинственным образом возникающие из прошлого, из настоящего, даже из будущего,— порождение еще не разгаданной работы множества механизмов моего сознания.

Говорю одно, вижу другое, представляю третье, чувствую четвертое, не могу вспомнить пятое, и все это совмещается с тем материальным миром, в сфере которого я нахожусь в данный миг: маленький золотой карандаш в руке, голубые прописи между линейками большой тетради, переделкинская зелень за окном, сильно тронутая сентябрьской желтизной, или же наоборот — свинцовое майское небо, лужи, покрытые рыбьими глазами весеннего дождя.

...и еще много непознанного в психике, над чем всю жизнь трудился Павлов и гадал Фрейд.

Запись Ю. П. Фролова, сообщенная в книге С. Д. Каминского «Динамическое нарушение коры головного мозга», М., 1948, стр. 195—196:

«Павлов говорил: когда я думаю о Фрейде и о себе, мне представляются две партии горнорабочих, которые начали копать железнодорожный туннель в подошве большой горы — человеческой психики. Разница состоит, однако, в том, что Фрейд взял немного вниз и зарылся в дебрях бессознательного, а мы добрались уже до света... Изучая явления иррадиации и концентрации торможения в мозгу, мы по часам можем ныне проследить, где начался интересующий нас нервный процесс, куда он перешел, сколько времени там оставался и в какой срок вернулся к исходному пункту. А Фрейд может гадать о внутренних состояниях человека. Он может, пожалуй, стать основателем новой религии».

Почему же я обращаюсь к этим молодым итальянцам или французам славистам, студентам и студенткам, которые стараются записать мою неорганизованную речь в свои блокноты, а сам я смотрю — быть может, последний раз в жизни — в окно на средневековый двор старинного Миланского университета, на белые и черные статуи, на

аркады, окружающие невероятно просторный двор, но при этом почему-то думаю о судьбе старых европейских деревьев, которым опоздавшая весна не позволяет еще зазеленеть, — черных многовековых деревьев, вечно преследующих меня по дорогам Брабанта, Фландрии, Уэльса, Нормандии, Пьемонта, Ломбардии?..

Одни из них бегут за мной и не могут догнать; другие убегают от меня за горизонт, и я не могу их догнать.

Но все они кажутся мне лишь черными скелетами, хотя я и знаю, что в них надежно теплится зеленая жизнь, никогда их не покидающая; летом она бушует, осенью начинает осторожно прятаться, зимой таинственно спит, прикидываясь мертвой, в корневых сосудах, в капиллярах, среди возрастных колец сердцевины, но никогда не умирает, вечно живет.

Лето умирает. Осень умирает. Зима — сама смерть. А весна постоянна. Она живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, только меняет свои формы.

Самая волнующая форма — это миг, предшествующий появлению первой зелени на черноте якобы мертвых древесных развилки.

Может быть, это март в Александровском парке, где мама, вся черная, как и деревья вокруг нас, стояла возле мертвого розариума, и черный ветер с моря нес над трепещущим орлиным пером ее шляпы грузные дождевые облака, и все в мире казалось мертвым, между тем как весна незримо, как жизнь моего еще не родившегося братишки, уже где-то трепетала, и билось маленькое сердечко.

Брат приехал ко мне в Мыльников переулок с юга, вызванный моими отчаянными письмами. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске, в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал в Москву. Он остался один, не успев даже окончить гимназию. Песчинка в вихре революции. Где-то в степях Новороссии он гонялся на обывательских лошадях за бандитами — остатками разгромленной петлюровщины и махновщины, особенно свирепствовавшими в районе еще не вполне ликвидированных немецких колоний.

Я понимал, что в любую минуту он может погибнуть от пули из бандитского обреза. Мои отчаянные письма в конце концов его убедили.

Он появился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, жгучим брюнетом, юношей, вытянувшимся, обветренным, с почерневшим от новороссийского загара, худым, несколько монгольским лицом, в длинной, до пят, крестьянской свитке, крытой поверх черного бараньего меха синим грубым сукном, в юфтовых сапогах и кепке агента уголовного розыска. Он поселился у меня. Его все время мучило, что он живет, ничем не занимаясь, на моих хлебах. Он решил поступить на службу. Но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в московский уголовный розыск, где ему предложили место, как вы думаете, где? — ни более ни менее как в Бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении.

Он сообщил мне об этом не без некоторой гордости, прибавив, что теперь больше не будет мне в тягость.

Я ужаснулся.

...мой родной брат, мальчик из интеллигентной семьи, сын преподавателя, серебряного медалиста Новороссийского университета, внук генерал-майора и вятского соборного протоиерея, правнук героя Отечественной войны двенадцатого года, служившего в войсках Кутузова, Багратиона, Ланжерона, атамана Платова, получившего четырнадцать ранений при взятии Дрездена и Гамбурга,— этот юноша, почти еще мальчик, должен будет за двадцать рублей в месяц служить в Бутырках, открывая ключами больничные камеры, и носить на груди металлическую бляху с номером!..

Несмотря на все мои уговоры, брат не соглашался отказаться от своего намерения и аккуратно стал ездить на трамвае в Бутырки, до которых было настолько далеко от Мыльникового переулка, что приходилось два раза пересаживаться и еще одну остановку проезжать на дряхлом автобусе: получалось, что на один только проезд уходит почти все его жалованье.

Я настаивал, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше.

— Но почему же? — спрашивал я с раздражением.

— Потому что я не умею,— почти со злобой отвечал он.

— Но послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать?

— Что именно?

— Бог мой, ну что-нибудь.

— Конкретно?

— Мало ли... Не все ли равно... Ты столько рассказывал забавных случаев из своей уголовной практики. Ну возьми какой-нибудь сюжетец.

— Например?

— Ну, например, как вы там где-то в уезде накрыли какого-то типа по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски.

— Я не умею,— заскрипел зубами брат, и его шоколадного цвета глаза китайского разреза свирепо сверкнули.

Тогда я решил употребить самое грубое средство.

— Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?

Мой брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, но сдержался и, еще сильнее стиснув зубы, процедил, с ненавистью глядя на меня:

— Хорошо. Я напишу. Говори, что писать.

— Напиши про Гуся и доски.

— Сколько страниц? — спросил он бесстрастно.

— Шесть,— сказал я, подумав.

Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу и стал писать — не быстро, но и не медленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно-неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отвращение.

Примерно через час, не сделав ни одной поправки и ни разу не передожнув, он исписал от начала до конца ровно шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо.

— Подавись! — тихо сказал он.

У него оказался четкий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им шесть страниц и с удивлением понял, что он совсем недурно владеет пером. Получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности.

Я тотчас отвез его на трамвае А в редакцию «Накануне», дал секретарю, причем сказал:

— Если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать. Вы понимаете — на д о! От этого зависит судьба человека.

Рукопись полетела на «юнкерсе» в Берлин, где печаталось «Накануне», и вернулась обратно уже в виде фельетона, напечатанного в литературном приложении под псевдонимом, который я ему дал.

— Заплатите как можно больше, — сказал я представителю московского отделения «Накануне».

После этого я отнес номер газеты с фельетоном под названием «Гусь и доски» (а может быть, «Доски и Гусь») на Мыльников и вручил ее брату, который был не столько польщен, сколько удивлен.

— Поезжай за гонораром, — сухо приказал я.

Он поехал и привез домой три отличных, свободно конвертируемых червонца, то есть тридцать рублей, — валюту того времени.

— Ну, — сказала я, — так что же выгоднее: служить в Бутырках или писать фельетоны? За один час сравнительно легкой и чистой работы ты получил больше, чем за месяц бездарных поездок в Бутырки.

Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным, так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров: писал фельетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах, давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, наведывался в «Гудок», сдал казенный наган в Московское управление уголовного розыска, отлично оделся, немного пошолнел, брился и стригся в парикмахерской с одеколоном, завел несколько приятных знакомств, нашел себе отдельную комнату, и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке:

... он, видимо, возвращался после ночных походов. Тогда еще не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках — то есть на дутых резиновых шинах, — модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице со скользкой мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами.

Кажется, он спронеся мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер, а к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестящий на утреннем московском солнышке.

Меня он не заметил.

Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я как старший брат, с одной стороны, был доволен, что из него, как говорится, «вышел человек», а с другой стороны, чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже.

Наша встреча произошла на том самом месте, где несколько лет спустя Командор назначил мне свидание, с тем чтобы накануне очередной октябрьской годовщины мы пошли в МК и там в отделе пропаганды сочинили бы вместе стихотворные лозунги для праздничной демонстрации на Красной площади после военного парада.

Приглашая меня на эту совместную поэтическую работу, Командор строго заметил:

— Но имейте в виду — это бесплатно. Это наш с вами гражданский долг.

МК помещался тут же рядом, в том особняке, где сейчас находится Прокуратура СССР, и мы сидели в пустой комнате агитпропа и сочиняли лозунги, которые потом, написанные на кумачовых полотнищах, поплыли над толпой по улицам Москвы, а потом через всю Красную площадь мимо Мавзолея, еще в то время деревянного.

По странному стечению обстоятельств через несколько лет на том же самом месте мы встретились с Командором, шагавшим на голову выше остальных прохожих. Он только что написал «Марш времени» для своей «Бани» и тут же в такт своим чугунным шагам прочитал его мне: видимо, ему не терпелось лишний раз проверить его звучание среди шумной улицы революционной Москвы.

«Вперед, время! Время, вперед!»

Этот кусок города сохранился до сих пор почти в полной неприкосновенности, подобно тому как среди обломков моей разрушающейся и перестраивающейся памяти сохранилось видение Командора, выбрасывающего вперед шагающие ноги с задранными тупыми носами башмаков, и клюквенно-красного, отражающего солнышко воздушного шарика, плывущего над экипажем моего брата, которому в недалеком будущем предстояло сделаться соавтором знаменитого на весь мир романа.

Сейчас я вам, синьоры, расскажу, каким образом появился на свет этот роман.

Прочитав где-то сплетню, что автор «Трех мушкетеров» писал свои многочисленные романы не один, а нанимал нескольких талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-пэра и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура.

Сюжет не бог весть какой, так как в литературе уже имелось «Шесть Наполеонов» Конан-Дойля, а также уморительно смешная повесть молодого, рано умершего советского писателя-петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку.

Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный Каверинным в Мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха.

Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору.

Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели.

Теперь-то я знаю, что теория моя ошибочна. Сейчас у меня совсем противоположное мнение: в хорошем романе (хотя я и не признаю деление прозы на жанры) герой должен быть неподвижен, а об-

рацаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит если не галактику, то, во всяком случае, солнечную систему художественного произведения.

Ну а тогда, увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила «Мертвых душ» заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. В силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении — покупать у разных людей мертвые души. Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы.

Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа.

Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облачают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма-пера выходящий под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну.

Почему я выбрал своими неграми именно их — моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх на таланты, даже еще не проявившиеся в полную силу.

Я представил себе их обоим — таких разных и таких ярких — и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра.

До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы друг с другом. Они встречались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение.

Возможно, их прельстила возможность крупно заработать; чем черт не шутит! Не знаю. Но они согласились. Я же уехал на Зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для Художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа.

Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа.

Сначала я отвечал им коротко:

«Думайте сами».

А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь в субтропиках, среди бамбуков, бананов, мандарин, висящих на деревьях как маленькие зелено-желтые фонарики, деля время между купаньем, дольче фар ньенте и писанием «Квадратуры круга».

Еще почти совсем летнее октябрьское солнце, косые черноморские волны, безостановочно набегающие на пляж, те самые волны, о которых по ту сторону Зеленого мыса сочинял мулат, еще более поsmуглевший на абхазском солнце, следующие строки:

«...их много. Им немислим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как вафли, их печет... В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в несслыханную простоту».

Боюсь, что к своему концу я действительно впадаю в ересь несслыханной простоты.

Но что же делать, если так случилось? Впрочем, мовизм — это и есть простота, но не просто простота, а именно несслыханная...

Так пел мулат за Зеленым мысом в Кобулетах —

«...обнявшись, как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум,— одним концом ночное Поти, другим — светящийся Батум»...

Но я пытаюсь быть пощаженным, соединив в этом своем сумбурном выступлении ересь сложности с ересью несслыханной простоты, чего так и не удалось в своей прозе достигнуть мулату.

Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи.

Иногда я совершал набег на Батум с бамбуковыми галереями его гостиниц, с бархатной мебелью духанов, где подавалось ни с чем не сравнимое кипиани в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками, нанимал ялик, выезжал на батумский рейд и, сбрасывая с себя одежду, бросался в темную, уже почти ночную воду акватории, покрывшую павлиньими перьями нефти.

Пока мои спутники, два грузинских поэта, оставшихся в ялике, с ужасом восхищались моим молодецким поступком, я плавал и нырял среди парашоудов, черные корпуса которых были вблизи такими огромными, что рядом с их красными рулями высотой с двухэтажный дом я сам себе казался зеленым лягушонком, готовым каждый миг пойти ко дну, как бы затянутый в злоеущую пропасть.

Я испугался.

Грузинские поэты выгнали меня за руки в ялик, и я, испуганный и озябший, натянул одежды на свое мокрое тело, так как нечем было вытереться; грудь моя была поцарапана о борт ялика, когда меня вытаскивали.

Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову, ездили цугом в фазтонах с зажженными фонарями по сторонам козел, направляясь в загородные духаны пировать, и их сопровождал особый фазтон, в котором ехал шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки, издававшей щемящие звуки австрийских вальсов и чешских полек, где старуха-аджарка в чувяках продавала тыквенные семечки, сидя под лохматым, как бы порванным банановым листом, служившим навесом от солнца...

Едва я появился в холодной, дождливой Москве, как передо мною предстали мои соавторы. С достоинством, несколько даже сухо вато они сообщили мне, что уже написали более шести печатных листов.

Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух.

Уже через десять минут мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж — Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали — великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной.

Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее:

— Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраниюсь. Ваш Остап Бендер меня доконал.

— Позвольте, Дюма-пер, мы очень надеялись, что вы пройдетесь по нашей жалкой прозе рукой мастера, — сказал мой друг с тем свойственным ему выражением странного, вогнутого лица, когда трудно понять, серьезно ли он говорит или издевается.

— Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас бог. Завтра же я еду в издательство и перепишу договор с нас троих на вас двоих.

Соавторы переглянулись. Я понял, что именно этого они от меня и ожидали.

— Однако не очень радуйтесь, — сказал я, — все-таки сюжет и план мой, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды своих усилий и размышлений...

— В часы одинокие ночи, — дополнил мою мысль братец не без ехидства, и оба соавтора улыбнулись одинаковой улыбкой, из чего я сделал заключение, что за время совместной работы они настолько сблизились, что уже стали как бы одним человеком, вернее одним писателем.

Значит, мой выбор оказался совершенно точен.

— Чего же вы от нас требуете? — спросил мой друг.

— Я требую от вас следующего: пункт «а» — вы обязуетесь посвятить роман мне и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях как на русском, так и на иностранных языках, сколько бы их ни было.

— Ну, это пожалуйста! — с облегчением воскликнули соавторы. — Тем более что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание — русское.

— Молодые люди, — сказал я строго, подражая дидактической манере синеглазого, — напрасно вы так легко согласились на мое первое требование. Знаете ли вы, что вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но также и мировая слава?

Соавторы скромно потупили глаза, однако мне не поверили. Они еще тогда не подозревали, что я обладаю пророческим даром.

— Ну хорошо, допустим, — сказал друг, — с пунктом «а» покончено. А пункт «б»?

— Пункт «б» обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портсигар.

Соавторы вздрогнули.

— Нам надо посоветоваться, — сказал рассудительный друг.

Они отошли к окну, выходящему на извозничий двор, и неко-

торое время шептались, после чего вернулись ко мне и, несколько побледнев, сказали:

— Мы согласны.

— Смотрите же, братцы, не надуйте.

— Вы, кажется, сомневаетесь в нашей порядочности? — голосом дуэлянта произнес друг, для которого вопросы чести всегда и во всем стояли на первом месте.

Я поклялся, что не сомневаюсь, на чем наша беседа и закончилась.

Долго ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман наконец был напечатан в журнале и потом вышел отдельной книгой, и на титульном листе я не без тайного тщеславия прочел напечатанное мне посвящение.

Пункт «а» был свято выполнен.

— Ну а пункт «б»? — спросило меня несколько голосов в одном из английских университетов.

— Леди и гамильтоны,— торжественно сказал я словами известного нашего вратаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного «леди и джентльмены» начал его восклицанием «леди и гамильтоны», будучи введен в заблуждение шумевшей кинокартиной «Леди Гамильтон».

... — Ну а что касается пункта «б», то с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я. Молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов:

— Старик Саббакин, нам необходимо с вами повидаться. Когда вы можете нас принять?

— Да ваяйте хоть сейчас! — воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем смягченный обращением ко мне «старик Саббакин».

(«Старик Саббакин» был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах.)

Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие.

— Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту «б».

С этими словами один из соавторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть раза в два меньше.

Эти жмоты поскупились на мужской.

— Мы не договаривались о том, какой должен быть портсигар — мужской или дамский,— заметил мой друг, для того чтобы сразу же пресечь всяческие словопрения.

Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской «Жалобной книги»:

— Лопай, что дают.

На чем наши деловые отношения закончились, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в «Метрополь».

Роман «Двенадцать стульев», надеюсь, все из вас читали, и я не буду, леди и гамильтоны, его подробно разбирать. Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге: «Мусик, дай мне гусик» — или что-то подобное.

Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое.

Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга птицелова, эссеиста и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени на свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов, в обложке из зеленой обойной бумаги, с загадочным названием «Зеленые агаты». Там были такие строки:

«Зеленые агаты! Зелено-черный вздох вам посылаю тихо, когда закат издох». И прочий вздор вроде «...гордо-стройный виконт в манто из лягушечьих лапок, а в руке — красный зонт» — или нечто подобное, теперь уже не помню.

Это была поэтическая корь, которая у него скоро прошла, и он стал писать прелестные стихи сначала в духе Михаила Кузьмина, а потом уже и совсем самостоятельные.

К сожалению, в памяти сохранились лишь осколки его лирики.

«Не архангельские трубы — деревянные фаготы пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах... Не таясь и не тоскуя, слышу я как голос милой золотое Аллилуйя над высокою могилой».

Он написал:

«Есть нежное преданье на Ниппоне о маленькой лошадке вроде пони», которая забралась на рисовое поле и лакочилась зелеными ростками. Ее увидел художник и увековечил на своей картине.

Он изобразил осенние груши на лотке; у них от тумана слезились носики и тому подобное.

У него было вечно ироническое выражение добродушного несколько вытянутого лица, черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, озорной носик сатирикончика, студенческая тужурка, диагональные брюки...

Как все поэты, он был пророк и напроорочил себе золотое Аллилуйя над высокой могилой.

Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени — короткого отрезка гетманского владычества на Украине. Полная чепуха. Какие-то синие жупаны, державная варга, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по Брестскому миру почти весь юг России.

Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном ро-

зыксе по борьбе с бандитизмом, принявшем угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить. Но по ошибке, введенные в заблуждение фамилией, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрац.

Я не был на его похоронах, но ключик рассказывал мне, как молодая жена убитого поэта и сама поэтесса, красавица, еще так недавно стоявшая на эстраде нашей «Зеленой лампы» как царица с двумя золотыми обручами на голове, причесанной директору, и читавшая нараспев свои последние стихи:

«...Радикальное средство от скуки— ваш изящный мотор-ландо-де. Я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле...»

...теперь, распростершись, лежала на высоком сыром могильном холме и, задыхаясь от рыданий, с постаревшим, искаженным лицом хватала и запихивала в рот могильную землю, как будто именно это могло воскресить молодого поэта, еще так недавно слышавшего небесные звуки деревянных фаготов, певших ему о жизни грубой, о печалях, о заботах и о вечной любви к прекрасной поэтессе с двумя золотыми обручами на голове.

— Ничего более ужасного,— говорил ключик,— в жизни своей я не видел, чем это распростертое тело молодой женщины, которая ела могильную землю, и она текла из ее накрашенного рта.

Но что же в это время делал брат убитого поэта Остап?

То, что он сделал, было невероятно.

Он узнал, где скрываются убийцы, и один, в своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты, в так называемую хавиру, и, войдя, положил на стол свое служебное оружие — пистолет-маузер с деревянной ручкой.

Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять.

Бандиты ответили вежливостью на вежливость и, в свою очередь, положили на стол револьверы, обрезы и финки.

— Кто из вас, подлецов, убил моего брата? — спросил он.

— Я его пришел по ошибке вместо вас, я здесь новый, и меня спутала фамилия,— ответил один из бандитов.

Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза.

— Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?

— Тогда не знал. А теперь уже имею сведения: известного поэта, друга птицелова. И я прошу меня извинить. А если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь — и будем квиты.

Всю ночь Остап провел в хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга птицелова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались в засос.

Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря.

Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами.

Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску и в особенности Ростову-на-Дону — вечному сопернику Одессы.

Остапа тянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас.

Вот каков был прототип Остапа Бендера.

— Это все очень любопытно, то, что вы нам рассказываете, синьор профессоре, но мы интересуемся золотым портсигаром. Не можете ли вы нам его показать?

Я был готов к этому вопросу. Его задавали решительно всюду — и в Европе и за океаном. В нем заключался важный философский смысл: золото дороже искусства. Всем хотелось знать, где золото.

— Увы, синьоры, мистеры, медам и месье, леди и гамильтоны, я его продал, когда мне понадобились деньги.

Вздых разочарования, но вместе с тем и глубокого понимания пролетел по рядам молодых, любознательных и весьма патлатых студентов.

— А что стало с вашей комнатой, месье ле профессор, в том переулке, который вы называете таким трудно произносимым словом, как «Мильникоф»? Она занимает так много места в ваших лекциях.

К этому стандартному вопросу я тоже был готов.

— Мильников переулок, или, если вам угодно, виа Мильников, рю Мильников или же Мильников-стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы. Но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер четыре стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший Мильников переулок, дом четыре. Мою комнату легко заметить с улицы; на ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца, весьма обыкновенная защита от воров как в Европе, так и за океаном.

Время от времени в моей памяти возникают разные события, происшедшие в давние времена в Мильниковом переулке.

Теперь трудно поверить, но в моей комнате вместе со мной в течение нескольких дней на диване ночевал великий поэт будетлянин, председатель земного шара. Здесь он, голодный и лохматый, с лицом немолодого уездного землемера или ветеринара, беспорядочно читал свои странные стихи, из обрывков которых вдруг нет-нет да и вспыхивала неслыханной красоты алмазная строчка, например:

«...деньгою серебряных глаз дорога...» —

при изображении цыганки. Гениальная инверсия. Или:

«...прямо в тень тополевых теней, в эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет»...

Или:

«Мне мало надо! Краюшку хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака».

Или же совсем великое!

«Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Мы воины, смело ударим рукой по суровым щитам: да будет народ государем всегда навсегда здесь и там. Пусть девы поют у оконца меж песен о древнем походе о верно-подданном солнца самосвободном народе»...

Многие из нас именно так моделировали эпоху.

Мы с бюджетянином питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом.

Председатель земного шара не выражал никакого недовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото.

Он показывал мне свои «доски судьбы» — большие листы, где были напечатаны математические непонятные формулы и хронологические выкладки, предсказывающие судьбы человечества.

Говорят, он предсказал первую мировую войну и Октябрьскую революцию.

Неизвестно, когда и где он их сумел напечатать, но, вероятно, в Ленинской библиотеке их можно найти. Мой экземпляр с его дарственной надписью утрачен, как и многое другое, чему я не придавал значения, надеясь на свою память.

Несомненно, он был сумасшедшим. Но ведь и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие.

Я был взбешен, что его не издают, и решил повести бюджетянина вместе с его наволочкой, набитой стихами, прямо в Государственное издательство. Он сначала противился, бормоча с улыбкой, что все равно ничего не выйдет, но потом согласился, и мы пошли по московским улицам как два оборванца, или, вернее сказать, как цыган с медведем. Я черномазый молодой молдаванский цыган, он — исконно русский пожилой медведь, разве только без кольца в носу и железной цепи.

Он шел в старом широком пиджаке с отвисшими карманами, останавливаясь перед витринами книжных магазинов и с жадностью рассматривая выставленные книги по высшей математике и астрономии. Он шевелил губами, как бы произнося неслышные заклинания на некоем древнеславянском диалекте, которые можно было по мимике понять примерно так:

«О, Дажь-бог, даждь мне денег, дабы мог я купить все эти драгоценные книги, так необходимые мне для моей поэзии, для моих досок судьбы».

В одном месте на Никитской он не удержался и вошел в букинистический магазин, где его зверино-зоркие глаза еще с улицы увидели на прилавке «Шарманку» Елены Гуро и «Садок судей» второй выпуск — одно из самых ранних изданий футуристов, напечатанное на синеватой оберточной толстой бумаге, посеревшей от времени, в обложке из обоев с цветочками. Он держал в своих больших лапах «Садок судей», осторожно перелистывая толстые страницы и любовно поглаживая их.

— Наверное, у вас тоже нет денег? — спросил он меня с некоторой надеждой.

— Увы, — ответил я.

Ему так хотелось иметь эти две книжки! Ну хотя бы одну — «Садок судей», где были, кажется, впервые напечатаны его стихи. Но на нет и суда нет.

Он еще долго держал в руках книжки, боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина еще более мешковатый, удрученный.

На балконе безвкусного особняка в стиле московского модерна миллионера Рябушинского против церкви, где венчался Пушкин, ненадолго показалась стройная, со скрещенными на груди руками фигура Валерия Брюсова, которого я сразу узнал по известному портрету не то Серова, не то Врубеля. Ромбовидная голова с ежиком волос. Скуластое лицо, надменная бородка, глаза египетской кошки, как его описал Андрей Белый. Он еще царствовал в литературе, но уже не имел власти. Время символизма навсегда прошло, на нем был уже не сюртук с шелковыми лацканами, а нечто советское, даже, кажется, общепринятая толстовка. Впрочем, не ругаюсь.

Оставив будетлянина в вестибюле внизу на диване, среди множества авторов с рукописями в руках и строго наказав ему никуда не отлучаться и ждать, я помчался вверх по широченной, манерно изогнутой лестнице с декадентскими, как бы оплывшими перилами, украшенными лепными барельефами символических цветов, полулилиями-полуподсолнечниками, и, несмотря на строгий окрик барышни секретарши, ворвался в непотребно огромный кабинет, где за до глупости громаднейшим письменным столом сидел не Валерий Брюсов, а некто маленький, ничтожный человек, наставив на меня черные пики усов. Профессор!

Терять мне в ту незабвенную пору было нечего, и я, кашляя от скрытого смущения и отплевываясь, не стесняясь стал резать правду-матку: дескать, вы издаете халтуру всяких псевдопролетарских примазавшихся бездарностей, недобитых символистов, в то время как у вас под носом голодает и гибнет величайший поэт современности, гениальный будетлянин, председатель земного шара, истинный революционер-реформатор русского языка и так далее.

Я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное и меня с позором вышвырнут из кабинета.

Однако человек с грозными пиками усов (тот самый литературный критик, фамилию которого Командор так ужасно и, кажется, несправедливо зарифмовал со словом «погань») оказался довольно симпатичным и даже ласковым. Он стал меня успокаивать, всплеснул ручками, захлопотал:

— Как! Разве он в Москве? Я не знал. Я думал, что он где-то в Астрахани или Харькове!

— Он здесь, — сказал я, — сидит внизу, в толпе ваших халтурщиков.

— Так тащите же его поскорее сюда! Он принес свои стихи?

— Да. Целую наволочку.

— Прекрасно! Мы их непременно издадим в первую очередь.

Я бросился вниз, но будетлянина уже не было. Его и след пропал. Он исчез. Вероятно, в толпе писателей, как и всегда, нашлись его страстные поклонники и увели его к себе, как недавно увел его к себе и я.

Я бросился на Мыльников переулок. Увы. Комната моя была пуста.

Больше я уже никогда не видел будетлянина.

Потом до Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, неким художником. Потом уже стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу русской земли, по ее городам и весям, ночевали где бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием. Сперва простудился и заболел воспалением легких художник. Он очень боялся умереть без покаяния. Будетлянин его утешал:

— Не бойся умереть среди родных просторов. Тебя отпоют ветра.

Художник выздоровел, но умер сам будетлянин, председатель земного шара. И его «отпели ветра».

...Кажется, он умер от дизентерии.

Впрочем, за достоверность не ручаюсь. Так гласила легенда. Да и вообще вся наша жизнь в то время была легендой.

Затем на некоторое время в комнату на Мыльниковом переулке вселилась банда странных, совсем юных поэтов-ничевоков, которые спали вповалку на полу и прыгали в комнату в окно прямо с улицы, издавая марсианские вопли. Они напечатали сборник своих сумбурных стихотворений под названием «Собачий ящик», поставив вместо даты:

«Москва. Хитров рынок. Советская водогрейня».

Один из них носил почему-то котелок.

Хитров рынок был тем самым прибежищем босяков, местом скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые некогда послужили материалом для Художественного театра при постановке «На дне».

Я еще застал Хитров рынок, сохранившийся в неприкосновенности с дореволюционных времен.

Помню яркую лунную ночь. Голубое и черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населенных болезненными людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными, базарными проститутками, мелкими рахитичными воришками-домушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицыми, иногда с проваленными носами сифилитиками. Они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой, трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек освещенного луною двора и подбирали какие-то бумажки, принимая их за кредитки.

Это было неопишимо ужасно.

А водогрейня, откуда ничевоки добывали себе бесплатный кипяточек, отбрасывала черную коленкоровую тень своего навеса на половину зловещей площади, залитой голубым лунным светом, куда не отваживалась заглядывать даже милиция. Это была неуправляемая часть столицы.

Хитров рынок помещался сравнительно недалеко от моих Чистых прудов.

Незадолго до своего конца однажды грустным утром ко мне зашел королевич, трезвый, тихий, я бы даже сказал благостный — инок, послушник. Только скуфейки на нем не было.

— Ты знаешь, — негромко сказал он, — не такой уж я пропащий, как обо мне говорят. Послушай мои последние стихи. Это лучшее, что я написал.

Он подсел ко мне на тахту, как-то по-братски обнял меня одной рукой и, заглядывая в лицо, стал читать те свои самые последние прелестные стихи, которые и до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез.

Всем известны эти стихи, прозрачные и ясные, как маленькие алмазики чистой воды.

Не могу удержаться, чтобы не переписать здесь по памяти:

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу... Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым»...

Он читал со слезами на слегка уже полинявших глазах. Ну и, конечно:

«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый робок и застенчив, по равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый! Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим — что такое? И станцуем вместе под тальянку трое».

Он с таким детским удивлением произнес это «спросим — что такое?», что мне захотелось плакать сам не знаю отчего.

Тогда я не понимал, что это его действительно последнее.

— Знаешь что, — сказал он вдруг, — давай сегодня не будем пить, а пойдем ко мне, будем пить не водку, а чай с медом и читать стихи.

Мы не торопясь пошли к нему через всю по-осеннему солнечную Москву, в конец Пречистенки, мимо особняка, где некогда помещалась школа Айседоры Дункан, и поднялись на четвертый или пятый этаж большого, богатого доходного дореволюционного дома в нордическом стиле, вошли через переднюю, где стояли скульптуры Коненкова — Стенька Разин и персидская княжна, одно время даже украшавшие Красную площадь, гениально грубо вырубленные из бревен, — и вступили в барскую квартиру, в столовую, золотисто наполненную осенним солнцем. Там немолодая дама — новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда грубова-

тым мужицким лицом, только без известной всему миру седой бороды,— налила нам прекрасно заваренный свежий красный чай в стаканы с подстаканниками и подала в розетках липовый мед, золотисто-янтарный, как этот солнечный грустноватый день.

И мы пили чай с медом, ощущая себя как бы в другом мире, между ясным небом и трубами московских крыш, видневшихся в открытые двери балкона, откуда потягивало осенним ветерком.

...и читали, читали, читали друг другу — конечно, наизусть — бездну своих и чужих стихов: Блока, Фета, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова...

Я даже удивил королевича Иннокентием Анненским, плохо ему знакомым:

«Нависнет ли пламенный зной, бушуя расходятся ль волны — два паруса лодки одной, одним мы дыханием полны. И в ночи беззвездные юга, когда так отрадно темно, стгорая коснуться друг друга, одним парусам не дано».

Мы были с ним двумя парусами одной лодки — поэзии.

Я думаю, в этот день королевич прочитал мне все свои стихи, даже «Радуницу», во всяком случае все последние, самые-самые последние... Но самого-самого-самого последнего он не прочел. Оно было посмертное, написанное мокрой зимой в Ленинграде, в гостинице «Англетер», кровью на маленьком клочке бумажки:

«До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки и слова, не грусти и не печаль бровей — в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Он верил в загробную жизнь.

Долгое время мне казалось — мне хотелось верить, — что эти стихи обращены ко мне, хотя я хорошо знал, что это не так.

И долгое время передо мной стояла — да и сейчас стоит! — неустрашимая картина:

...черная похоронная толпа на Тверском бульваре возле памятника Пушкину с оснеженной курчавой головой, как бы склоненной к открытому гробу, в глубине которого виднелось совсем по-детски маленькое личико мертвого королевича, задушенного искусственными цветами и венками с лентами...

Прошло то, что мы привыкли называть временем, — некоторое время, — и, судя по тому, что в объемистой стеклянной чаше, наполненной белым сухим вином ай-даниль, мокла клубника, а на Чистых прудах отцветала сирень и начинали цвести липы, вероятно, кончался месяц май.

Мы сидели в Мыльниковом переулке: мулат, альпинист — худой, высокий, резко вырезанный деревянный солдатик с маленьким носиком, как у Павла Первого, — птицелов, арлекин, еще кто-то из поэтов и я.

Здесь уместно объяснить читателю, почему я избегаю собственных имен и даже не придумываю вымышленных, как это принято в романах.

Но, во-первых, это не роман. Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется выплевывая косточки.

А во-вторых, сошлюсь на Пушкина:

«Те, которые пожурили меня, что никак не назвал моего Финна, не нашед ни одного имени собственного, конечно почтут это за непростительную дерзость—правда, что большей части моих читателей никакой нужды нет до имен и что я не боюсь никакой запутанности в своем рассказе» (письмо Гнедичу от 29 апреля 1822 года; из ранних редакций).

Я тоже не боюсь никаких запутанностей.

Итак — мулат, альпинист, птицелов, арлекин, ключик, еще кто-то из поэтов и я.

При открытых окнах мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянея от поэзии, от крюшона, который мы черпали чашками из стеклянного сосуда, где кисли уже побелевшие, как бы обескровленные, разбухшие ягоды клубники, отдававшие свой сок дешевому белому вину, время от времени подливаемому из булькающих бутылок.

Это было то, что в пушкинское время называлось дружеской пирушкой или даже попойкой.

Мы все уже были пьяны, «как пьяный Дельвиг на пиру».

Деревянный солдатик был наш ленинградский гость, автор романтических баллад, бывший во время первой мировой войны кавалеристом, фантазер и дивный рассказчик, поклонник Киплинга и Гумилева, он мог бы по табели поэтических рангов занять среди нас первое место, если бы не мулат. Мулат царил на нашей дружеской попойке. Деревянный солдатик был уважаемый гость, застрявший в Москве по дороге в Ленинград с Кавказа, где он лазил по горам и переводил грузинских поэтов. Мы его чествовали как своего собрата, в то время как мулат был хотя и свой брат, московский, но стоял настолько выше как признанный гений, что мог считаться не только председателем нашей попойки, но самим богом поэзии, сошедшим в Мыльников переулок в обличии мулата с конскими глазами и наигранно простодушными повадками Моцарта, якобы сам того не знающим, что он бог.

Его стихи из книги «Сестра моя жизнь» и из «Темы и вариации», которые он щедро читал, мыча в нос и перемежая густыми, низкоголосыми междометиями полуглухонемого, как бы поминутно теряющего дар речи, были настолько прекрасны, что по сравнению с ним все наши, даже громогласные до истерики пассажи арлекина и многочисленные строфы птицелова, казались детским лепетом.

Если у художников бывают какие-то особые цветовые периоды, как, например, у Пикассо розовый или голубой, то в то время у мулата был «период Спекторского».

Изображая косноязычным мычанием, подобно своему юродствующему инвалиду, гундосю подражающему пиле (то, что в глубине его сознания звучало как оркестровая сюита), мулат читал нам:

...«Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст взглядам смеривши косым, я первую на нем заметил проседь... Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу гася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заматали след... Как лешие, земля, вода и воля сквозь суро-

локу вешалок и шуб за голою русалкой алкоголя врываются, ища губами губ».

Нас потрясла «голая русалка алкоголя», к которой мы уже были близки.

«Покамест оглашаются открытья на полном съезде капель и копыт, пока бульвар с простительною прытью скамью дождем растительным кропит, пока березы, метлы, голодранцы, афиши, кошки и столбы скользят виденьями влюбленного пространства, мы повесть на год отведем назад».

Важны были совсем не повесть, не все эти неряшливые, мало-вразумительные перечисления, а отдельные строки, которые в свалке мусора мог найти как бриллиант только гуляка праздный, гений...

«...с простительною прытью скамью дождем растительным кропит»...

Может быть, это изображение с пьяных глаз рассветного московского бульвара стоило всей поэмы.

Мы были восхищены изобразительной силой мулата и признавали его безусловное превосходство.

Дальше развивался туманный «спекторский» сюжет, сумбурное повествование, полное скрытых намерений и темных политических намеков. Но все равно это было прекрасно.

«Забытый дом служил как бы резервом кружку людей, знакомых по Москве, и потому Бухтеевым не первым подумалось о нем на рождестве... Их было много, ехавших на встречу. Опустим планы, сборы, переезд...» — и т. д.

Триумф мулата был полный. Я тоже, как и все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных строф вторичны. Где-то давным-давно я уже все это читал. Но где? Не может этого быть! И вдруг из глубины памяти всплыли строки:

«...и вот уже отъезд его назначен, и вот уж брат зовет его кутить. Игнат мой рад, взволнован, озадачен, на все готов, всем хочет угодить. Кутить в Москве неловко показалось по случаю великопостных дней, и за город, по их следам помчалось семь троек, семь ямских больших саней... Разбрасывая снег, стучат подковы, под шапками торчат воротники, и слышен смех и говор: «Что вы! Что вы, шалите!» — и в ногах лежат кульки».

Что это: мулат? Нет, это Полонский, из поэмы «Братья».

А это тот же пятистопный рифмованный ямб с цезурой на второй стопе:

«...был снег волнист, окольный путь — извилист, и каждый шаг готовился сюрприз. На розвальнях до колики ревелись, и женский смех, как снег, был серебрист.— Особенно же я вам благодарна за этот такт, за то, что ни с одним...— Ухаб, другой — ну как? А мы на парных! — А мы кульков своих не отдадим».

Кто это: Полонский? Нет, это мулат, но с кульками Полонского.

Впрочем, тогда в Мыльникове переулке об этом как-то не думалось. Все казалось первозданным. Невероятно было представить, что мулат вторичен!

В окошки уже начал приливать ранний весенний рассвет цвета морской воды. На миг настала предрассветная тишина. Мы почему-то замолкли перед опустевшей чашей крушона.

Вдруг послышался цокот подков по мостовой Мыльникова переулка, уже не ночного, но еще и не утреннего. К нашему дому приближался извозчий экипаж. Была такая тишина, что угадывалось его мягкое подпрыгивание на рессорах. Экипаж поравнялся с нашими открытыми окнами. Поравнялся и остановился. Мы увидели в экипаже господина с испытанным лицом, в шляпе на затылке. Видимо, он возвращался домой после бессонной ночи. Усы, трость с набалдашником.

Господин повернул к нашим распахнутым окнам бледное лицо игрока и произнес утренним, хотя и несколько с перепоею, но четким, хрипловатым, громким, на весь переулок, голосом нечто похожее на зловещую, как бы гекзаметрическую строку:

— Всех ждет неминуемая петля!

После чего тронул извозчицью спину тростью, и звонкое цоканье по мостовой возобновилось и постепенно все слабело и слабело до тех пор, пока экипаж не скрылся за углом.

Мы некоторое время пребывали в молчании. В конце концов расхохотались. Ночная пирушка кончилась. Надо было расходиться. Но нам трудно было так вдруг расстаться друг с другом.

Все вместе пошли мы провожать мулата. Еще по-ночному пустынные улицы были уже ярко освещены утренним июньским солнцем, жарко бившим в глаза откуда-то из Замоскворечья.

По дороге мы изо всех сил старались шутить и острить, как будто бы ничего особенного не случилось.

Арлекин — маленький, вдохновенный, весь набитый романтическими стихотворными реминисценциями, — орал на всю улицу свои стихи, как бы наряженные в наиболее яркие исторические платья из театральной костюмерной: в камзолы, пудренные парики, ложноклассические тоги, рыцарские доспехи, шутовские кафтаны...

В конце концов как бы придя ко взаимному соглашению, мы сделали вид, что с нами ничего особенного не произошло, что появление в Мыльниковом переулке экипажа со странным седоком не более чем галлюцинация, хотя ужасная тень покончившего с собой королевича незримо сопровождала нас до самого дома, где жил тогда мулат, недалеко от Музея изящных искусств на Волхонке, против храма Христа Спасителя, в громадном золотом куполе которого неистово горело все еще низкое утреннее солнце.

Мне показалось, что на пустынных ступенях храма я вижу две обнявшиеся тени — ее и его, — как бы выходцев из другого, навсегда разрушенного мира вечной любви. Она была синеглазка, он был — я.

Мулат простился с нами и вошел в подъезд, а потом по лестнице в свою, разгороженную фанерой квартиру.

...«Как образ входит в образ и как предмет сечет предмет»...

А отражение солнца било как прожектор из купола храма Христа Спасителя в немые, запущенные окна его квартиры, где его ждали жена и маленький сын.

На этом позвольте сегодняшнюю лекцию закончить. Благодарю за внимание. Как? Вы еще хотите что-нибудь узнать о Мыльниковом переулке? Вы его называете легендарным? Возможно. Пожалуй, я еще могу рассказать, как однажды я вез к себе в Мыльников переулочек два кожаных кресла, купленных мною на аукционе, помещавшемся в бывшей церкви в Пименовском переулке.

Упомянутые кресла коричневой, еще не вполне потертой кожи были установлены на площадке ломового извозчика. Мы с птицеловом комфортабельно развалились в креслах и поехали по бульварному кольцу в Мыльников переулочек, представляя довольно курьезное зрелище: два молодых человека, заложив ногу на ногу и покуривая папиросы, едут, сидя в кожаных креслах, посреди многолюдной столицы, едут мимо Цветного бульвара, мимо памятника Достоевскому, мимо Трубногo рынка, где всюду идет торговля птицами, кошками, рыбками; затем поднимаются вверх мимо Воскресенского монастыря, мимо его высокой стены, выходящей на Рождественский бульвар острым углом, похожим на нос броненосца.

И так далее и так далее вплоть до Чистых прудов, источающих медвяный аромат цветущих лип.

При этом мы все время громко, во весь голос, к удивлению прохожих, читаем друг другу стихи, и я узнаю многое из того, что написал птицелов за последнее время.

Именно во время этой поездки в креслах я впервые услышал «Думу про Опанаса» и «Стихи о соловье и поэте».

Забыл сказать, что у птицелова всю жизнь была страсть сначала к птицам, а потом к рыбкам. Его комната в Одессе была заставлена клетками с птицами, пух и шелуха птичьего корма летали по комнате, наполненной птичьими криками. В Москве же страсть к птицам перешла в страсть к рыбам. И в комнате птицелова появились аквариумы, в которых среди водорослей и пузырьков воздуха плавали тени тропических рыб, и птицелов сидел возле них на кровати, поджав ноги, в расстегнутой сорочке и кальсонах и читал своим ученикам свои и чужие стихи, временами кашляя и дыша дымом селитренного порошка.

Когда мы ехали в креслах, страсть к птицам еще не прошла, а страсть к рыбам уже началась, и он с воодушевлением смотрел, проезжая мимо Трубногo рынка, на птичьи клетки и банки с золотыми рыбками, полосатыми, как зебры, и вуалехвостками.

Вот что он мне тогда прочел:

«Весеннее солнце дробится в глазах, в канавы ныряет и зайчиком пляшет, на Трубную выйдешь — и громом в ушах огонь соловьиный тебя ошарашит... Любовь к соловьям — специальность моя, в различных коленах я толк понимаю: за лешевой дудкой вразброд стукотня, кукушкина песня и дробь рассыпная... Куда нам пойти? Наша воля горька! Где ты запоешь? Где я рифмой раскинусь? Наш рокот, наш посвист распродан с лотка... Как хочешь — распивочно или на вынос? Мы пойманы оба, мы оба — в сетях: твой свист подмосковный не грянет в кустах, не дрогнут от грома холмы и озера... Ты выслушан, взвешен, расценен в рублях... Гремь же в зеленых кусках коленкора. как я громыхаю в газетных листах!»

Это были традиционные для русского поэта порывы к свободе.

...В Мыльниковом же переулке ключик впервые читал свою новую книгу «Зависть». Ожидался главный редактор одного из лучших толстых журналов. Собралось несколько друзей. Ключик не скрывал

своего волнения. Он ужасно боялся провала и все время импровизировал разные варианты этого провала. Я никогда не видел его таким взволнованным. Даже вечное чувство юмора оставило его.

Как раз в это время совсем некстати разразилась гроза, один из тех июльских ливней, о которых потом вспоминают несколько лет.

Подземная речка Неглинка вышла из стоков и затопила Трубную площадь, Цветной бульвар, все низкие места Москвы превратила в озеро, а улицы в бурные реки. Движение в городе нарушилось. А ливень все продолжался и продолжался, и конца ему не предвиделось. Ключик смотрел в окно на сплошной водяной занавес ливня, на переулочек, похожий на реку, покрытую белыми пузырями, освещавшимися молниями, которые вставали вдруг и дрожали среди аспидных туч, как голые березы.

Гром обрушивал на крыши обвалы булыжника. Преждевременно наступила ночь. Надежды на прибытие редактора с каждым часом убывали, рушились, и ключик время от времени восклицал:

— Так и следовало ожидать! Я же вам говорил, что у меня сложные взаимоотношения с природой. Природа меня не любит. Видите, что она со мной сделала? Она мобилизовала все небесные силы для того, чтобы редактор не приехал. Она построила между моим романом и редактором журнала стену потопа!

Ключика вообще иногда охватывала мания преследования. Бывали случаи, когда он подозревал городской транспорт. Он уверял, что трамваи его не любят: нужный номер никогда не приходит.

Однажды мы стояли с ним на остановке, ожидая трамвая номер, скажем, 23.

— Ты напрасно решил ехать вместе со мной,— говорил ключик с раздражением.— Двадцать третий номер никогда не придет. Я это тебе предсказываю. Трамваи меня ненавидят.

В этот миг в отдалении появился вагон трамвая номер 23.

Я был в восторге.

— Groш цена твоим предсказаниям,— сказал я.

Он скептически посмотрел на приближающийся вагон и обреченно пробормотал:

— Посмотрим, посмотрим...

В это время, не доехав до нас десятка два шагов, трамвай остановился, немного постоял и поехал назад, попятился, как будто его притягивал сзади какой-то магнит, и наконец скрылся из глаз.

Это было совершенно невероятно, но я клянусь, что говорю чистую правду.

— Ну что я тебе говорил? — с грустной улыбкой сказал ключик.— Трамваи меня ненавидят. У меня сложные взаимоотношения с городским транспортом. Это печально. Но это так.

Не думайте, что я шучу. Это именно так и было: трамвай номер 23 уехал назад, куда-то в неизвестность. Каким образом это могло произойти, не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю. Но повторяю: даю честное слово, что говорю святую, истинную правду. Вероятно, произошел единственный случай за все время существования московского электрического трамвая. Экссесс, не поддающийся анализу.

Теперь же на город обрушился потоп, и ключик был уверен, что какие-то высшие силы природы сводят с ним счеты.

Он покорно стоял у окна и смотрел на текущую реку переулочка.

Уже почти совсем смеркалось. Ливень продолжался с прежней силой, и конца ему не предвиделось.

И вдруг из-за угла в переулок въехала открытая машина, которая, раскидывая по сторонам волны, как моторная лодка, не подъехала, а скорее подплыла к нашему дому. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор.

В этот вечер ключик был посрамлен как пророк-провидец, но зато родился как знаменитый писатель.

Преодолев страх, он раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу своей повести:

«Он поет по утрам в клозете».

Хорошенькое начало!

Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло уже как по маслу. Почуввав успех, ключик читал с подъемом, уверенно, в наиболее удачных местах пуская в ход свой патетический польский акцент с некоторой победоносной шепелявостью.

Никогда еще не был он так обаятелен.

Отбрасывая в сторону прочитанные листы жестом гения, он оглядывал слушателей и делал короткие паузы.

Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова до самого конца.

Правда, один из слушателей, попавший на чтение совершенно случайно и застрявший ввиду потопа, милый молодой человек, некий Стасик, не имевший решительно никакого отношения к искусству, примерно на середине повести заснул и даже все время слегка похрапывал, но это несколько не отразилось на успехе.

Главный редактор был в таком восторге, что вцепился в рукопись и ни за что не хотел ее отдать, хотя ключик и умолял оставить ее хотя бы на два дня, чтобы кое-где пошлифовать стиль. Редактор был неумолим и при свете утренней зари, так прозрачно и нежно разгоравшейся на расчистившемся небе, умчался на своей машине, прижимая к груди драгоценную рукопись.

Когда же повесть появилась в печати, то ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью.

В повести все вытесненные желания ключика превратились в галерею странно правдоподобных персонажей, хотя и как бы сказочных, но вполне современных, социальных, реальных и вместе с тем нереальных, как бывает только во сне.

Здесь ключик свел счеты со своим прошлым, здесь мимо него прошумела знаменитая ветка, полная цветов и листьев...

Извините. Я устал. Позвольте мне на этом закончить сегодняшнюю лекцию. Дайте мне воды, у меня пересохло в горле. Спасибо, синьора, как вы хороши в своем нарядном платье. Вы похожи на «Весну» Сандро Боттичелли. Извините, что я выражаюсь в стиле ключика. И вам так идет эти оранжерейные цветы, которые вы держите в руках. Как? Эти цветы мне? О, спасибо! Грацио! Право, я этого не заслуживаю. Отнесем мой успех на счет моего друга ключика. До скорой встречи. До свидания. Ариведерчи. Чао.

О, красное бархатное кресло с высокой спинкой, тоже бархатно-красной, одиноко стоящее на возвышении под аркадами площади Святого Марка в том уголке, куда не достигает бурливый плеск Кана-

ле Грандо, вызванный вечным движением речных трамваев, моторных лодок и гондол со своими высокими секирами на подвятых носках, но где все еще слышны звуки двух оркестров возле двух ресторанов, расставивших свои столики на площади под открытым небом напротив светло-розовой кирпичной кампанилы и столба со львом, положившим лапу на Евангелие, раскрытое на страницах святого Марка.

Красное кресло, как бы предназначенное для главного судьи, стояло одиноко, и не каждый мог догадаться о его назначении. Не для дожа ли венецианского оно было предназначено? Отнюдь! Оно было мне странно знакомо. Оно было выходцем из моего детства, когда я впервые вместе с покойным папой и покойным братцем вступил на площадь Святого Марка, окруженные стаей грифельно-серых голубей, хлопающих крыльями вокруг нас на высоте не более двух аршин над плитами знаменитой площади, над нашим папой в соломенной шляпе и люстриновом пиджаке, прижавшим к груди красный томик путеводителя «Бедекер».

Это было кресло, на которое мог сесть любой смертный, желающий почистить свои ботинки. Стоило только сесть на него, как тотчас откуда ни возмись появлялся синьор в жилетке поверх белой сорочки с рукавами, перехваченными резинкой, вынимал из потайного ящика под креслом пару щеток, бархатку, баночки с кремами. Он стучал щеткой о щетку, и этот стук напоминал пощелкиванье кастаньет и какой-то ранний рассказ мулата о Венеции — первые пробы в прозе.

Синьор садился на скамеечку у ваших ног и, напевая приятным голосом «О, солие мио», начинал чистить ваши ботинки, придавая им зеркальность, в которой криво отражались три византийских купола Сан-Марко.

В последний раз я взглянул на опасную пустоту вокруг бархатного кресла, и этого было достаточно для того, чтобы его величественное видение преследовало меня потом всю жизнь до того самого мига, когда вдруг под нами на глубине нескольких километров не открылись вершины Альп, над которыми пролетал из Милана в Париж наш самолет — как любят выражаться обозреватели-международники, воздушный лайнер.

Много раз я бывал в непосредственной близости от Альп, иногда даже в самих Альпах, но всегда они играли со мной в прятки. Мне никогда, например, не удавалось увидеть Монблан. Его можно было увидеть только на лакированной открытке на фоне литографически синего, неестественного неба. А в натуре его белый треугольник почему-то всегда покрывали облака, тучи, туманы, многослойно плывущие над горной цепью, вздымающиеся волнами, как сумрачный плащ Воланда (плод воображения синеглазого, заряженного двумя магическими Г), возникшего в районе Садовой Триумфальной между казино, цирком, варьете и Патриаршими прудами, где в лютые морозы, когда птицы падали на лету, мы встречались с синеглазкой возле катка у десятого дерева с краю и наши губы были припаяны друг к другу морозом.

Тогда еще там проходила трамвайная линия, и вагон, ведомый комсомолкой в красном платке на голове — вагоновожатой, — отрезал голову атеисту Берлиозу, поскользнувшемуся на рельсах, политых постным маслом из бутылки, разбитой раззявой Аннушкой по воле синеглазого, который тогда уже читал мне страницы из будущего романа.

Действие романа «Мастер и Маргарита» происходило в том районе Москвы, где жил синеглазый, и близость цирка, казино и ревю помогли ему смоделировать дьявольскую атмосферу его великого произведения.

«Прямо-таки гофманиада!..»

Но я отвлекся.

Судьба подарила нам безоблачно-яркий день, и мы летели над Альпами, над их снежными вершинами, ущельями, ледниками и озерами, глядя на них как бы в увеличительное стекло иллюминатора, настолько приблизившее их к нам, что казалось очень возможным сделать один только шаг для того, чтобы ступить ногой на Монблан — белый, плотный, как бы рельефно отлитый из гипса — и пойти по его крутой поверхности, дыша стерильно очищенным воздухом, острым на вкус, как глоток ледяного шампанского, налитого нам стюардессой из бутылки, завернутой в салфетку.

Все сулило нам приближение вечной весны, обещанной Брунсвиком, но увы — мы не встретили ее и в Париже.

Крупные почки конских каштанов, все еще как бы обмазанные столярным клеем, не собирались лопнуть. Деревья чернели голыми ветками, быть может даже более черными, чем зимой, а это все-таки вселяло надежду, что в конце концов почки лопнут: должна же когда-нибудь чернота сучьев разразиться зеленью!

Все-таки парижские чугунные фонари были более безжизненны, чем деревья, и это обнадеживало.

Мы бесцельно бродили по городу, и почему-то я все время вспоминал ключика, так здесь и не побывавшего.

А он так часто о нем мечтал. Впрочем, кто из нашего брата, начиная с Александра Сергеевича, не мечтал о Париже?

Ключик никак не мог поверить, что я собственными глазами видел Нотр-Дам. Тут уж он мне не скрываясь завидовал.

Он был не только любителем красивых фамилий, но также и большим фантазером. Кроме того, у него была какая-то тайная теория узнавать характер человека по ушам. Уши определяли его отношение к человеку. Дурака он сразу видел по ушам. Умного тоже. Честолюбца, лизоблюда, героя, подхалима, эгоиста, лгуна, правдолюбца, убийцу — всех он узнавал по ушам, как графолог узнает характер человека по почерку. Однажды я спросил его, что говорят ему мои уши. Он помрачнел и отмолчался. Я никогда не мог добиться от него правды. Вероятно, он угадывал во мне что-то ужасное и не хотел говорить. Иногда я ловил его мимолетный взгляд на мои уши.

Бунин говорил, что у меня уши волчьи.

Ключик ничего не говорил. Так я никогда и не узнаю, что ключику мои уши открыли какую-то самую мою сокровенную тайну, а именно то, что я не талантлив. Ключик не хотел нанести мне эту рану.

Он был мнителен и всегда подозревал в себе какую-нибудь скрытую, смертельно неизлечимую болезнь. Одно время он был уверен, что у него проказа. Он сжимал кулаки и протягивал их мне:

— Посмотри. Неужели тебе не ясно, что у меня начинается проказа?

— Где ты видишь проказу?

— Узлики! — кричал он.

— Что за узлики?

— Видишь эти маленькие белые узелочки между косточками моих пальцев?

— Ну, вижу. Так что же?

— Это узлики, — говорил он таинственно, — первый признак проказы. Узлики!

Слово «узлики» он произносил с особым зловещим значением. Не узелочки, а именно узлики.

Однажды под зловещим знаком узликов прошел целый месяц: ключик ждал проказы и был в отчаянии, что проказа не проявилась.

Еще одно слово в течение довольно долгого времени владело ключиком. Совершенно невинное слово «возчики». Но оно приобрело зловещий оттенок. И не без основания. Когда ключик женился и обзавелся собственной жилой площадью, понадобилось пианино. Его жена была музыкантшей. Взяли напрокат пианино и, конечно, никогда в срок не платили за него. Тогда прокатная контора присылала напоминание, что если в недельный срок долг не будет погашен, то за инструментом пришлют возчиков. Об этом забывалось, и через неделю действительно приезжали возчики. Тогда начиналась паника и крики:

— Приехали возчики!

Иногда беда разражалась внезапно. Входил бледный ключик и восклицал:

— Возчики приехали!

Начинались поиски денег. Неприятность улаживалась. Под пальцами ключиковой жены снова начинал звенеть турецкий марш Мוצарта. А через некоторое время безоблачной жизни вдруг, неожиданно, как молния, как смерть, раздавался тревожный крик:

— Возчики приехали!

Ключика можно было разбудить среди ночи, и он кричал:

— Что, возчики приехали?

Однажды в редакцию «Гудка» в разгар рабочего дня вошла подавленная жена ключика. На ней было нарядное черное бархатное платье. Он посмотрел на ее побледневшее лицо с янтарными глазами и сразу догадался:

— Что? Возчики приехали?

В конце концов возчики однажды таки увезли инструмент. Но ключик заплатил долг, и возчики привезли пианино обратно.

Помнится также крылатое выражение ключика: железные пальцы идиота.

Был такой сорт людей, говорунов и себялюбцев, которые, как бы силой заставляя себя слушать, тыкали в собеседника двумя твердыми вытянутыми пальцами в плечо, в грудь, в солнечное сплетение:

— Слушай, что я тебе говорю. Слушай! Слушай!

Это у ключика называлось железные пальцы идиота. По-моему, блестяще.

Во время первого шахматного турнира в Москве, в разгар шахматного безумия, когда у всех на устах были имена Капабланки, Ласкера, Боголюбова, Рети и прочих, а гостиницу «Метрополь», где происходили матчи на мировое первенство, осаждали обезумевшие любители, ключик сказал мне:

— Я думаю, что шахматы игра несовершенная. В ней не хватает еще одной фигуры.

— Какой?

— Дракона.

— Где же он должен стоять? На какой клетке?

— Он должен находиться вне шахматной доски. Понимаешь: вне!

— И как же он должен ходить?

— Он должен ходить без правил. Он может съесть любую фигуру. Игрок в любой момент может ввести его в дело и сразу же закончить партию матом.

— Позволь... — пролепетал я.

— Ты хочешь сказать, что это чушь. Согласен. Чушь. Но чушь гениальная. Кто успеет первый ввести в бой дракона и съесть короля противника, тот и выиграл. И не надо тратить столько времени и энергии на утомительную партию. Дракон — это революция в шахматах!

— Бред!

— Как угодно. Мое дело предложить.

В этом был весь ключик.

...но вдруг наискось, во всю длину Елисейских полей от каштановой роши до Триумфальной арки подул страшно сильный северный ветер, по-зимнему острый, насквозь пронизывающий. Небо потемнело, покрытое сумрачным плащом Волада, и даже, кажется, пронеслось несколько твердых снежинок. Нас всюду преследовала зима, от которой мы бежали. Ледяной дождь пополам со снегом бил в лицо, грудь, спину, грозя воспалением легких, так как мы были одеты очень легко, по-весеннему.

Ветер нес воспоминания о событиях моей жизни, казавшихся навсегда утраченными. Память продолжала разрушаться, как старые города, открывая среди развалин еще более древние постройки других эпох. Только города разрушались гораздо медленнее, чем человеческое сознание. Их разрушению часто предшествует изменение названий, одни слова заменяются другими, хотя сущность пока остается прежней.

Бульвар Орлеан, по которому некогда проезжал на велосипеде Ленин, теперь уже называется бульваром Леклерк, и многие забыли его прежнее название. Исчез навсегда Центральный рынок — чрево Парижа. Его уже не существует. Вместо него громадный котлован, над которым возвышаются гигантские желтые железные башни строительных кранов. Что здесь будет и как оно будет называться — никто не знает. Вместе с Центральным рынком ушла в никуда целая полоса парижской жизни.

Мне трудно примириться с исчезновением маленького провинциального Монпарнасского вокзала, такого привычного, такого милого, такого желтого, где так удобно было назначать свидания и без которого Монпарнас уже не вполне Монпарнас постимпрессионистов, сюрреалистов и гениального сумасшедшего Брунсвика.

На его месте выстроена многоэтажная башня, бросающая свою непомерно длинную тень на весь левый берег, как бы превратив его в солнечные часы. Это вторжение американизма в добрую старую Францию. Но я готов примириться с этой башней, как пришлось в конце прошлого века примириться с Эйфелевой башней, от которой бежал сумасшедший Мопассан на Лазурный берег и метался вдоль

его мысов на своей яхте «Бель ами». Воображаю, какую ярость вызвал бы в нем сверхиндустриальный центр, возникший в тихом Нейи: темные металлические небоскребы, точно перенесенные какой-то злой силой сюда, в прелестный район Булонского леса, из Чикаго.

Но и с этим я уже готов примириться, хотя из окна тридцать второго этажа суперотеля «Конкорд-Лафайет» Париж уже смотрится не как милый, старый, знакомый город, а как выкройка, разложенная на дымном, безликом, застроенном пространстве, по белым пунктирам которого бегают крошечные насекомые — автомобили.

Иногда разрушение города опережает разрушение его филологии. Целые районы Москвы уничтожаются с быстротой, за которой не в состоянии угнаться даже самая могучая память.

С течением лет архитектурные шедевры Москвы, ее русский ампир, ее древние многокупольные церквушки, ее дворянские и купеческие особняки минувших веков со львами и геральдическими гербами, давным-давно не отремонтированные, захламленные, застроенные всяческой дощатой дрянью — будками, сараями, заборами, ларьками, голубятнями, — вдруг выступили на свет божий во всей своей яркой прелести.

Рука сильной и доброй власти стала приводить город в порядок. Она даже переставила Триумфальную арку от Белорусского вокзала к Поклонной горе, где, собственно, ей быть и полагалось, недалеко от конного памятника Кутузову, заманившего нетерпеливого героя в ловушку горящей Москвы.

Я еду по Москве, и на моих глазах происходит чудо великого разрушения, соединенного с еще большим чудом созидания и обновления. В иных местах рушатся и сжигаются целые кварталы полу-сгнивших мещанских домишек, и очищающий огонь прочесывает раскаленным гребнем землю, где скоро из дыма и пламени возникнет новый прозрачный парк или стеклянное здание. В иных местах очищение огнем и бульдозерами уже совершилось, и я вижу древние — прежде незаметные — постройки неслыханной прелести и яркости красок, они переживают вторую молодость, извлекая из захлавленного мусором времени драгоценные воспоминания во всей их подлинности и свежести, как то летнее, бесконечно далекое утро, когда курьерский поезд, проскочив сквозь каменноугольный газ нескольких черных туннелей, внезапно вырвался на ослепительный простор и я увидел темно-зеленую севастопольскую бухту с заржавленным парходом посередине, а потом поезд остановился, и я вышел на горячий перрон под жгучее крымское солнце, в лучах которого горели привокзальные розы — белые, черные, алые, — рсточая свой сильный и вместе с тем нежный, особый крымский аромат, говорящий о любви, счастье, а также о розовом массандрском мускате и татарском шашлыке и чебуреках, надутых горячим перечным воздухом.

Несколько богатых пассажиров стояли на ступенях в ожидании автомобилей, среди них, но немного в стороне, я заметил молодого человека, отличавшегося от нэпманских парвеню, приехавших в Крым на бархатный сезон со своими самками, одетыми по последней, еще довоенной парижской моде, дошедшей до них только сейчас, с большим опозданием, в несколько искаженном стиле аргентинского танго; ну а о самцах я не говорю: они были в новеньких, непременно шевиотовых двубортных костюмах разных оттенков, но одинакового покроя.

Одиноким молодой человек, худощавый и стройный, обратил на себя мое внимание не только приличной скромностью своего костюма, но главным образом, своим багажом — небольшим сундучком, обшитым серым брезентом. Подобные походные сундучки были непременной принадлежностью всех офицеров во время первой мировой войны. К ним также полагалась складная походная кровать-сороконожка, легко складывающаяся, а все это вместе называлось «походный гюнтер».

Из этого я заключил, что молодой человек — бывший офицер, судя по возрасту подпоручик или поручик, если сделать поправку на прошедшие годы.

У меня тоже когда-то был подобный «гюнтер». Это как бы давало мне право на знакомство, и я улыбнулся молодому человеку. Однако он в ответ на мою дружескую улыбку поморщился и отвернулся, причем лицо его приняло несколько высокомерное выражение знаменитости, утомленной тем, что ее узнают на улице.

Тут я заметил, что на брезентовом покрытии «гюнтера» довольно крупными, очень заметными буквами — так называемой елизаветинской прописью — лиловым химическим карандашом были четко выведены имя и фамилия ленинградского писателя, автора маленьких сатирических рассказов до такой степени смешных, что имя автора не только прославилось на всю страну, но даже сделалось как бы нарицательным.

Так как я печатался в тех же юмористических журналах, где и он, то я посчитал себя вправе без лишних церемоний обратиться к нему не только как к товарищу по оружию, но также и как к своему коллеге по перу.

— Вы такой-то? — спросил я, подойдя к нему.

Он смерил меня высокомерным взглядом своих глаз, похожих на не очищенный от коричневой шкурки миндаль, на смугло-оливковом лице и несколько гвардейским голосом сказал, не скрывая раздражения:

— Да. А что вам угодно?

При этом мне показалось, что черная бородавка под его нижней губой нервно вздрогнула. Вероятно, он принял меня за надоевший ему тип навязчивого поклонника, может быть даже собирателя автографов.

Я назвал себя, и выражение его лица смягчилось, по губам скользнула доброжелательная улыбка, сразу же превратившая его из гвардейского офицера в своего брата — сотрудника юмористических журналов.

— Ах так! Значит, вы автор «Растратчиков»?

— Да. А вы автор «Аристократки»?

Дальнейшее не нуждается в уточнении.

Конечно, мы тут же решили поселиться в одном и том же пансионе в Ялте на Виноградной улице, хотя же бывший штабс-капитан намеревался остановиться в знаменитой гостинице «Ореанда», где, кажется, в былое время останавливались все известные русские писатели, наши предшественники и учителя.

(Не буду их называть. Это было бы нескромно.)

Пока мы ехали в высоком, открытом, старомодном автомобиле в облаках душной белой крымской пыли от Севастополя до Ялты, мы сочлись нашим военным прошлым. Оказалось, что мы воевали на одном и том же участке западного фронта, под Сморгонью, рядом с деревней Крево: он в гвардейской пехотной дивизии, я — в артиллерийской бригаде. Мы оба были в одно и то же время отравлены

газами, пущенными немцами летом 1916 года, и оба с той поры покашливали. Он дослужился до штабс-капитана, я до подпоручика, хотя и не успел нацепить на погоны вторую звездочку ввиду Октябрьской революции и демобилизации: так и остался прапорщиком.

Хотя разница в чинах уже не имела значения, все же я чувствовал себя младшим как по возрасту, так и по степени литературной известности.

...Туман, ползущий с вершины Ай-Петри, куда мы впоследствии вскарабкались, напоминал нам газовую атаку...

Тысячу раз описанные Байдарские ворота открыли нам внезапно красивую бездну какого-то иного, совсем не русского мира с высоким морским горизонтом, с почти черными веретенами кипарисов, с отвесными скалистыми стенами Крымских гор того бледно-сиреневого, чуть известкового, мергельного, местами розоватого, местами голубоватого оттенка, упирающихся в такое же бледно-сиреневое, единственное в мире курортное небо с несколькими ангельски белыми облачками, обещающее вечное тепло и вечную радость.

Исполинская темно-зеленая туманная мышь Аю-Дага, припав маленькой головкой к прибою, пила морскую воду сине-зеленого бутылочного стекла, а среди нагромождения скал, поросших искривленными соснами, белел водопад Учан-Су, повисший среди камней, как фата невесты, бросившейся в пропасть перед самой свадьбой.

В мире блаженного безделья мы сблизились со штабс-капитаном, оказавшимся вовсе не таким замкнутым, каким впоследствии изображали его различные мемуаристы, подчеркивая, что он, великий юморист, сам никогда не улыбался и был сух и мрачноват.

Все это неправда.

Богом, соединившим наши души, был юмор, не оставлявший нас ни на минуту. Я, по своему обыкновению, хохотал громко — как однажды заметил ключик, «ржал», — в то время как смех штабс-капитана скорее можно было бы назвать сдержанным ядовитым смешком, я бы даже сказал — ироническим хехеканьем, в котором добродушный юмор смешивался с сарказмом, и во всем этом принимала какое-то непонятное участие черная бородавка под его извивающимися губами.

Выяснилось, что наши предки происходили из мелкопоместных полтавских дворян и в отдаленном прошлом, быть может, даже вышли из Запорожской Сечи.

Такие географические названия, как Миргород, Диканька, Сорочинцы, Ганькивка, звучали для нас ничуть не экзотично или, не дай бог, литературно, а вполне естественно; фамилию Гоголь-Яновский мы приносили с той простотой, с которой приносили бы фамилию близкого соседа.

...Бачей, Зоценки, Ганьки, Гоголи, Быковы, Сковорода, Яновские...

Это был мир наших не столь отдаленных предков, родственников и добрых знакомых.

Но вот что замечательно:

впервые я услышал о штабс-капитане от ключика еще в самом начале двадцатых годов, когда Ленинград назывался еще Петроградом.

Ключик поехал в Петроград из Москвы по каким-то газетным делам. Вернувшись, он принес вести о петроградских писателях, так называемых «Серапионовых братьях», о которых мы слышали, но мало

их знали. Ключик побывал на их литературном вечере. Особого впечатления они на него не произвели, кроме одного — бывшего штабс-капитана, автора совсем небольших рассказов, настолько оригинально и мастерски написанных особым мецанским «сказом», что даже в передаче ключика они не теряли своей совершенно особой прелести и вызывали взрывы смеха.

Вскоре слава писателя-юмориста — бывшего штабс-капитана — как пожар охватила всю нашу молодую республику.

Это лишний раз доказывает безупречное чутье ключика, его высокий, требовательный литературный вкус, открывший москвичам новый петроградский талант — звезду первой величины.

Штабс-капитан, несмотря на свою, смею сказать, всемирную известность, продолжал оставаться весьма сдержанным и по-питерски вежливым, деликатным человеком, впрочем, не позволявшим по отношению к себе никакого амикопнства, если дело касалось «посторонних», то есть людей, не принадлежащих к самому близкому для него кружку, то есть «всех нас».

У него были весьма скромные привычки. Приезжая изредка в Москву, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь недалеко от вокзала и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в номере и своим четким елизаветинским почерком без помарок писал один за другим несколько крошечных рассказиков, которые потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его прибытии в Москву узнавали друзья.

Приходя в гости в семейный дом, он имел обыкновение делать хозяйке какой-нибудь маленький прелестный подарок — чаще всего серебряную с чернью старинную табакерку, купленную в комиссионном магазине. В гостях он был изысканно вежлив и несколько кокетлив: за стол садился так, чтобы видеть себя в зеркале, и время от времени посматривал на свое отражение, делая различные выражения лица, которое ему, по-видимому, очень нравилось.

Он деликатно и умело ухаживал за женщинами, тщательно скрывал свои победы и никогда не компрометировал свою возлюбленную, многозначительно называя ее по-пушкински N. N., причем бархатная бородавочка под его губой вздрагивала как бы от скрытого смешка, а миндальные глаза делались еще миндальнее.

Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков, где должен был состояться его литературный вечер, к вагону подкатили красную ковровую дорожку и поклонники повели его, как коронованную особу, к выходу, поддерживая под руки.

Распространился слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство, поселиться в столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он навсегда остался верен своему Петербургу-Петрограду-Ленинграду.

Случалось, что мы, его московские друзья, внезапно ненадолго разбогатев, совершали на «Красной стреле» набег на бывшую столицу Российской империи. Боже мой, какой переполох поднимали мы со своими московскими замашками времен нэпа!

По молодости и глупости мы не понимали, что ведем себя по-купечески, чего терпеть не мог корректный, благовоспитанный Ленинград.

Мы останавливались в «Европейской» или «Астории», занимая лучшие номера, иной раз даже люкс. Появлялись шампанское, знакомые, полужнакомые и совсем незнакомые красавицы. Известный еще

со времен Санкт-Петербурга лихач, бывший жокей, дежуривший возле «Европейской» со своим бракованным рысаком по имени Травка, мчал нас по бесшумным торцам Невского проспекта, а в полночь мы пиروвали в том знаменитом ресторанном зале, где Блок некогда послал недоступной красавице «черную розу в бокале золотого, как небо, ай... а монисто бренчадо, цыганка плясала и визжала заре о любви»...

...а потом сумрачным утром бродили еще не вполне отрезвевшие по Достоевским закоулкам, вдоль мертвых каналов, мимо круглых подворотен, откуда на нас подозрительно смотрели своими небольшими окошками многоэтажные жилые корпуса, бывшие некогда пристанищем униженных и оскорбленных, мимо решеток, напоминавших о том роковом ливне, среди стальных прутьев которого вдруг блеснула молния в руке Свидригайлова, приложившего револьвер к своему щегольскому двубортному жилету, после чего высокий цилиндр свалился с головы и покатился по лужам.

Со страхом на цыпочках входили в дом, на мрачную лестницу, откуда в пролет бросился сумасшедший Гаршин, в черных глазах которого навсегда застыл «остекленелый мор».

Всюду преследовали нас тени гоголевских персонажей среди решеток, фонарей, палевых фасадов, арок Гостиного двора.

...Поездки в наемных автомобилях по окрестностям, в Детское Село, где среди черных деревьев царскосельского парка сидел на чугунной решетчатой скамейке ампир чугунный лицеист, выставив вперед ногу, курчавый, потусторонний, еще почти мальчик, в вольно расстегнутом мундире,— Пушкин.

«...здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни»...

А где-то неподалеку от этого священного места некто скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке, приобретенном за гроши у какой-нибудь бывшей дворцовой кастелянши или швеи, и так далее...

Когда же наша московская братия, душой которой был ключик, прокучивала все деньги, наставал час разлуки. Штабс-капитан, выбитый из своей равномерной, привычной рабочей колеи, утомленный нашей безалаберной гостиничной жизнью, с облегчением вздыхал, нежно нас на прощание целуя и называя уменьшительными именами, и «Красная стрела» уносила нас в полночь обратно в Москву, где нам предстояло еще долго заштопывать дыры в бюджете.

О, эти полночные отъезды из Ленинграда, чаще всего в разгар белых ночей, когда вечерняя заря еще светилась за вокзалом и на ее щемяще-печальном зареве рисовались черные силуэты дореволюционных старопитерских фабричных корпусов, заводских труб и безрадостных, закопченных паровозных депо, помнивших царское время и народные мятежи в героические дни свержения самодержавия, брандмауэры с рекламами давно не существующих фирм, железный хлам, оставшийся от времен разрухи и гражданской войны.

Город таял далеко позади, а полночная заря все еще светилась за мелколесьем, отражаясь в болотах, и долго-долго не наступала ночь, и, качаясь на рессорах международного вагона, нам с ключиком каза-

лось, что мы слишком преждевременно покидаем странное, полумертвое царство, где, быть может, нас ожидало, да так и не дождалось некое несбыточное счастье новой жизни и вечной любви.

С Ленинградом связана моя последняя встреча со штабс-капитаном совсем незадолго до его исчезновения.

Город, переживший девятисотдневную блокаду, все еще хранил следы немецких артиллерийских снарядов, авиационных бомб, но уже почти полностью залечил свои раны.

На этот раз я приехал сюда один и сейчас же позвонил штабс-капитану. Через сорок минут он уже входил в мой номер — все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторой потертости костюма и обуви — свидетельства наступившей бедности. Впрочем, знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки натерты щеткою до блеска.

Он был в несправедливой опале.

Мы поцеловались и тут же по традиции совершили прогулку на машине, которую я вызвал через портье.

Я чувствовал себя молодцом, не предвидя, что в самом ближайшем времени окажусь примерно в таком же положении.

Так или иначе, но я еще не чувствовал над собой тучи, и мы со штабс-капитаном промчались в большом черном автомобиле — только что выпущенной новинке отечественного автомобилестроения, на днях появившейся на улицах Ленинграда.

Мы объехали весь город, круто взлетая на горбатые мостики его единственной в мире набережной, мимо уникальной решетки Летнего сада, любуясь широко раскинувшейся панорамой с неправдоподобно высоким шпилем Петропавловской крепости, разводными мостами, ростральными колоннами биржи, черными якорями желтого Адмиралтейства, Медным всадником, «смуглым золотом» постепенно уходящего в землю Исаакиевского собора.

Мы промчались мимо Таврического дворца, Смольного, Суворовского музея с двумя наружными мозаичными картинами. Одна из них — переход Суворова через Альпы — была работы отца штабс-капитана, известного в свое время художника-передвижника, и штабс-капитан поведал мне, что когда его отец выкладывал эту мозаичную картину, а штабс-капитан был тогда еще маленьким мальчиком, то отец позволил ему выложить сбоку картины из кубиков смальты маленькую елочку, так что он как бы являлся соавтором этой громадной мозаичной картины, что для меня было новостью.

...Он, как всегда, был сдержан, но заметно грустноват, как будто бы уже заглянул по ту сторону бытия, туда, откуда нет возврата, нет возврата!.. что, впрочем, не мешало ему временами посмеиваться своим мелким смешком над моими прежними московскими замашками, от которых я все никак не мог избавиться.

Наша поездка была как бы прощанием штабс-капитана со своим городом, со своим старым другом, со своей жизнью.

Я предложил ему по старой памяти заехать на Невский проспект в известную кондитерскую «Норд», ввиду своего космополитического названия переименованную в исконно русское название «Север», и выпить там кофе с весьма знаменитым, еще не переименованным тортом «Норд».

Он встревожился.

— Понимаешь, — сказал он, по обыкновению нежно называя меня уменьшительным именем, — в последнее время я стараюсь не показываться на людях. Меня окружают, рассматривают, сочувствуют. Тяжело быть ошельмованной знаменитостью, — не без горькой иронии закончил он, хотя в его словах слышались и некоторые честолюбивые нотки.

Он, как и все мы, грешные, любил славу!

Я успокоил его, сказав, что в этот час вряд ли в кондитерской «Север» особенно многолюдно. Хотя и неохотно, но он согласился с моими доводами.

Оставив машину дожидаться нас у входа, мы проворно прошмыгнули в «Север», где, как мне показалось, к некоторому своему неудовольствию, имевшему оттенок удовольствия, штабс-капитан обнаружил довольно много посетителей, которые, впрочем, не обратили на нас внимания. Мы уселись за столик во второй комнате в темноватом углу и с удовольствием выпили по стакану кофе со сливками и съели по два куска торта «Норд».

Мой друг все время подозрительно посматривал по сторонам, каждый миг ожидая проявления повышенного интереса окружающих к его личности. Однако никто его не узнал, и это, по-моему, немного его огорчило, хотя он держался молодцом.

— Слава богу, на этот раз не узнали, — сказал он, когда мы выходили из кондитерской на Невский и сразу же попали в толпу, стоявшую возле нашей машины и, видимо, ожидавшую выхода опального писателя.

— Ну я же тебе говорил, — с горькой иронией, хотя и не без внутреннего ликования шепнул мне штабс-капитан, окруженный толпой зевак. — Просто невозможно появиться на улице! Какая-то гофманияда, — вспомнил он нашу старую поговорку и засмеялся своим негромким дробным смешком.

Я провел его через толпу и впихнул в машину. Толпа не расходилась. Мне даже, признаться, стало завидно, вспомнился Крым, наша молодость и споры: кто из нас Ай-Петри, а кто Чатыр-Даг. Конечно, в литературе. Пришли к соглашению, что он Ай-Петри, а я Чатыр-Даг. Обе знаменитые горы, но Ай-Петри больше знаменита и чаще упоминается, а Чатыр-Даг реже.

На долю ключика досталась Роман-Кош!

— Товарищи, — обратился я к толпе, не дававшей возможности нашей машине тронуться. — Ну чего вы не видели?

— Да нам интересно посмотреть на новую модель автомобиля. У нас в Ленинграде она в новинку. Вот и любимся. Хорошая машина! И ведь, главное дело, своя, советская, отечественная!

Шофер дал гудок. Толпа разошлась, и машина двинулась, увозя меня и штабс-капитана, на лице которого появилось удовлетворенно-смущенное выражение и бородавка на подбородке вздрогнула не то от подавленного смеха, не то от огорчения.

Мы переглянулись и стали смеяться. Я громко, а он на свой манер — тихонько.

Прав был великий петроградец Александр Сергеевич:

«Что слава? Яркая заплата» — и т. д.

А вокруг нас все разворачивались и разворачивались каналы и перспективы неповторимого города, прежняя душа которого улетела

подобно пчелиному рою, покинувшему свой прекрасный улей, а новая душа, новый пчелиный рой, еще не вполне обжила свой город.

Новое вино, влитое в старые мехи.

Над бело-желтым Смольным суровый ветер с Финского залива нес тучи, трепал флаг победившей революции, а в бывшем Зимнем дворце, в Эрмитаже, под охраной гранитных атлантов, в Темноватом зале испанской живописи, плохо освещенная и совсем незаметная, дождалась нас Мадонна Моралеса, которую ключик считал лучшей картиной мира, и мы со штабс-капитаном снова — в который раз! — прошли по обветшавшему, скрипящему дворцовому паркету мимо этой маленькой темной картины в старинной золоченой раме, как бы прощаясь навсегда с нашей молодостью, с нашей жизнью, с нашей Мадонной.

Вот каким обыкновенным и незабываемым возник передо мной образ штабс-капитана среди выгорающей дребедени гнилых мещанских домиков, охваченных дымным пламенем, над которым возвышалась, отражаясь в старом подмосковном пруде, непомерно высокая бетонная многочленистая Останкинская телевизионная башня — первый выходец из таинственного Грядущего.

...возле бывшего Брянского вокзала на месте скопления лачуг раскинулся новый прекрасный парк, проезжая мимо которого, с поразительной отчетливостью вижу я мулата в нескольких его ипостасях, в той нелогичной последовательности, которая свойственна свободному человеческому мышлению, живущему не по выдуманному закону так называемого времени, хронологии, а по единственному естественным, пока еще не изученным законам ассоциативных связей.

...вижу мулата последнего периода — постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины переделкинского пруда, в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в острой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие, как лезвия, листья старых серебристых ветел.

Он издали напоминал стручок черного перца — как-то ужасно не совпадающий с опрокинутым отражением деревни на той стороне самаринского пруда.

...весь одиночество, весь ожидание.

В тот день он был гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона.

Все было в традициях доброй старой русской литературы: застекленная дачная терраса, всклокоченные волосы уже седеющего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших рослых черноликих подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, в золотых нимбах лепестков, как святые, написанные альфреско на стене подмосковного пейзажа с сельским кладбищем и золотыми луковками патриаршей церкви времен Ивана Грозного.

Святые подсолнечники тоже пришли послушать прозу мулата.

А вот он на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи, ночью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротником сорочки, озаренный зловещим заревом пылающего где-то недалеко Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами, на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой.

Муллат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо, и каждую минуту он был готов засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как елочный фейерверк.

Мы с ним были дежурными противовоздушной обороны. Потом он описал эту ночь в своей книге «На ранних поездах».

«Запомнится его обстрел. Сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век. Исчезнут очевидцы...»

Не знаю, настал ли в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и мулат — великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в мулате вдруг вспыхнула искра юмора. И он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком:

«Наверху зенитка, а под ней Зинаидка».

Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль немедленно и, как мне казалось, автоматически превращались в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи.

Однажды наша шумная компания ввалилась в громадный черный автомобиль с горбатым багажником. Меня с мулатом втиснули в самую его глубину, в самый его горбатый зад. Автомобиль тронулся, и мулат, блеснув белками, смеясь, предварительно промывчав нечто непонятное, прокричал мне в ухо:

— Мы с вами сидим в самом его мозжечке!

Он был странно одет. Совсем не в своем обычном европейском стиле: брюки, засунутые в голенища солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая шляпа с нелепо загнутыми полями, как у чеховского Епиходова в исполнении Москвина.

Мы все были навеселе, и мулат тоже.

Вы хотите еще что-нибудь узнать о мулате? Я устал. Да и время лекции исчерпано. Впрочем, если угодно, несколько слов.

Я думаю, основная его черта была чувственность: от первых стихов до последних.

Из ранних, мулата-студента:

«...что даже антресоль при виде плеч твоих трясло»... «Ты вырывалась, и чуб касался чудной челки и губ-фиалок»...

Из последних:

«...под раkitой, обвитой плющом, от ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вокруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Ну — так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим»...

В эту пору он уже был старик. Но какая любовная энергия!

Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широкой кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, которой вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, эlegantный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о Льве Толстом.

Муллат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках кажется рязненным. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине.

Он смотрит вдаль и о чем-то думает среди несвойственного ему картофельного поля. Кто может проникнуть в тайны чужих мыслей? Но мне представляется, что, глядя на подмосковный пейзаж, он думает о Париже, о Французской революции. Не исключено, что именно в этот миг он вспоминает свою некогда начатую, но брошенную пьесу о Французской революции.

Не продолжить ли ее? Как бишь она начиналась?

«В Париже. На квартире Леба. В комнате окна стоят настежь. Летний день. В отдалении гром. Время действия между 10 и 20 мессидора (29 июня—8 июля) 1794 года. Сен-Жюст:— Таков Париж. Но не всегда таков. Он был и будет. Этот день, что светит кустам и зданьям на пути к моей душе, как освещают путь в подвалы, не вечно будет бурным фонарем, бросающим все вещи в жар порядка, но век пройдет, и этот теплый луч, как уголь, почернеет, и в архивах пылливость поднесет свечу к тому, что нынче нас слепит, живет и греет, и то, что нынче ясность мудреца, потомству станет бредом сумасшедших».

Октябрьская революция была первой во всей мировой истории, совершенно не похожей на все остальные революции мира. У нее не было предшественниц, если не считать Парижской коммуны.

Не имея литературных традиций для ее изображения, многие из нас обратились не к Парижской коммуне, а к Великой французской революции, имевшей уже большое количество художественных моделей. Может быть, только один Александр Блок избежал шаблона, написав «Двенадцать» и «Скифов», где русская революция была изображена первично.

Попытки почти всех остальных поэтов — кроме Командора — были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость Октября и попытался облечь его в одежды Французской революции, превратив Петроград и Москву семнадцатого и восемнадцатого годов в Париж Сен-Жюста, Робеспьера, Марата.

Кто из нас не писал тогда с восторгом о зеленой ветке Демулена, в те дни, когда гимназист Канегиссер стрелял в Урицкого, а Каплан отравленной пулей — в Ленина, и не санколоты в красных фригийских колпаках носили на пиках головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулевыми лентами, становились на охрану Смольного.

Быть может, неповторимость, непохожесть нашей революции, темный ноябрьский фон ее пролетарских толп, серость ее солдатских шинелей, чернота матросских бушлатов, георгиевских лент черноморцев, питерские и московские предместья, так не похожие на литературную яркость Парижа 1794 года, и были причиной многих наших разочарований.

Столкновение легенды с действительностью, «Марсельезы» с «Интернационалом».

Париж Консьержери и Пале-Рояля был для нас притягательной силой. Мы стремились в Париж.

Не избежал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков — конармеец, тем более что он действительно в качестве одного из первых советских военных корреспондентов проделал польскую кампанию вместе с Первой конной Буденного.

Он сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. «Леф» напечатал его рассказ «Соль», и сам Командор на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть, вроде Нобелевской премии.

Конармеец стал невероятно знаменит. На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в буденновском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки.

Он, так же как и многие из нас, приехал с юга, с той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. Он прославился еще до революции, во время первой мировой войны, так как был напечатан в горьковском журнале «Летопись». Кажется, даже одновременно с поэмой Командора «Война и мир». Алексей Максимович Души не чаял в будущем конармейце, пророча ему блестящую будущность, что отчасти оправдалось.

В Москве он появился уже признанной знаменитостью.

Но мы знали его по Югосте, где вместе с нами он работал по агитации и пропаганде, а также в губиздате, где заведовал отделом художественной литературы и принадлежал к партийной элите нашего города, хотя сам был беспартийным. Его обожали все вожди нашего города как первого писателя.

Подобно всем нам он ходил в холщовой толстовке, в деревянных босоножках, которые гремели по тротуарам со звуком итальянских кастаньет.

У него была крупная голова вроде несколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечная ироническая улыбка, упомянутые уже крутые очки, за стеклами которых виднелись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым любопытством, и ~~широкий~~, как бы слегка помятый лоб с несколькими мор-

щинами, мудрыми не по возрасту, — лоб философа, книжника, фари́сея.

...И вместе с тем — нечто хитрое, даже лисье...

Он был немного старше нас, даже птицелова, и чувствовал свое превосходство как мастер. Он был склонен к нравоучениям, хотя и делал их с чувством юмора, причем его губы принимали форму ижицы или, если угодно, римской пятерки.

У меня сложилось такое впечатление, что ни ключика, ни меня он как писателей не признавал. Признавал он из нас одного птицелова. Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном южно-новороссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым.

Манера его письма в чем-то сближалась с манерой штабс-капитана, и это позволило честолюбивым ленинградцам считать, что наш конармеец всего лишь подражатель штабс-капитана.

Ходила такая эпиграмма:

«Под пушек гром, под звоны сабель от Зоценко родился Бабель».

Конармеец вел загадочную жизнь. Где он кочует, где живет, с кем водится, что пишет — никто не знал. Скрытность была основной чертой его характера. Возможно, это был особый способ вызывать к себе дополнительный интерес. От него многого ждали. Им интересовались. О нем охотно писали газеты. Горький посылал ему из Сорренто письма. Лучшие журналы охотились за ним. Он был неуловим. Иногда ненадолго он показывался у Командора на Водопьяном, и каждое его появление становилось литературным событием.

В Мыльниковом он совсем не бывал, как бы стесняясь своей принадлежности к «южнорусским».

У него была масса поклонников в разных слоях московского общества. Однако большинство из этих поклонников не имело отношения к литературной среде. Наоборот. Все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные.

Первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. Наши встречи были случайны и коротки. Но он никогда не упускал случая, чтобы преподать мне литературный урок:

— Литература — это вечное сражение. Сегодня я всю ночь сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного-единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях: диалог должен быть краток, работать на характер персонажа и как бы источать терпкий запах... Только что я прочитал вашу повесть. Она недурна. Но, вероятно, вы воображаете, что превзошли своего учителя Бунина. Не обольщайтесь. До Бунина вам как до Полярной звезды. Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о N.N.? Он написал, что у него вкрадчивая, бесшумная походка вора. Вот это художник! Не вам и не мне чета. Перед ним нужно стоять на коленях.

Литературным божеством для конармейца был Флобер. Все советы, которые давал автор «Мадам Бовари» автору «Милого друга», являлись для конармейца законом. Иногда мне даже казалось, что он «играет во Флобера», придавая чрезмерное значение красоте формы со всеми ее стеснительными условностями и предвзвешенными рассудками, как я теперь понимаю, совершенно не обязательными для свободного самовыражения.

Некогда и я страдал этой детской болезнью флюберизма: страхом повторить на одной странице два раза одно и то же слово, ужасом перед недостаточно искусно поставленным прилагательным или даже знаком препинания, нарушением хронологического течения повествования — словом, перед всем тем, что считалось да и до сих пор считается мастерством, большим стилем. А по-моему, только добросовестным ремесленничеством, что, конечно, не является недостатком, но уж во всяком случае и не признаком большого стиля.

Конармеец верил в законы жанра, он умел различить повесть от рассказа, а рассказ от романа. Некогда и я придерживался этих взглядов, казавшихся мне вечными истинами.

Теперь же я, слава богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного. А что может быть прекраснее художественной свободы?

...Это просто новая форма, пришедшая на смену старой. Замена связи хронологической связью ассоциативной. Замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность ни казалась плохой. По-французски «мовэ» — то есть плохо. Одним словом, опять же — мовизм.

Тогда я, конечно, так не думал.

Как я теперь понимаю, конармеец чувствовал себя инородным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флюберовски отточенной (я бы даже сказал, вылизанной) прозе революционного, народного фольклора, в некотором роде лесковщины, его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу, в Париж. Он был прирожденным бульвардье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке прямо на тротуаре, возле какого-нибудь кафе на Больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холщовым тентом, за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде «Человеческой комедии».

Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, быть может даже одним из сорока бессмертных, прикрывшим свою лысину шелковой шапочкой академика, вроде Анатоля Франса.

Под высоким куполом Института на берегу Сены он чувствовал бы себя как дома.

В те времена заграничные поездки делались все труднее и труднее. В конце концов он стал оседлым москвичом, женился, поселился в хорошей квартире в особнячке в районе Воронцова поля и даже стал принимать у себя гостей. В это время мы с ним очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного мастерства. Общение с конармейцем было весьма похоже на общение мое с щелкунчи-

ком. Возможно, это и нескромно, но мне кажется — оно было взаимным обогащением.

Конармеец оказался в конце концов прекрасным семьянином и любезным хозяином. У него всегда можно было выпить стакан на редкость душистого, хорошо заваренного чая или чашку настоящего итальянского черного кофе эспрессо: он собственноручно готовил его, пользуясь особой заграничной кофеваркой.

— Скажите, каким образом у вас получается такой на редкость вкусный чай? Откройте ваш секрет.

— Нет никакого секрета. Просто не надо быть скупердям и не экономить на заварке. Заваривайте много чая, и ваши гости всегда будут в восторге.

Однажды он вдруг показался у нас в дверях, а рядом с ним стоял некий предмет домашнего обихода красного дерева, нечто вроде комнатного бара с затейливым устройством, довольно неуклюжее произведение столярного искусства, которое он, пытаясь собственноручно втащить на пятый этаж, так как лифт не работал. Оказалось, что это был его подарок нам на новоселье. Надо было распахнуть верхние крышки, и из недр сооружения поднимался целый набор посуды для коктейлей. Этот бар занимал много места, и мы не знали, куда его приткнуть. Я думаю, конармеец сам не знал, куда его девать, а так как я однажды похвалил бар, то конармеец и решил таким элегантным образом избавиться от сей громоздкой вещи. Чисто восточная любезность. Впрочем, я понимаю, что он это сделал от души. Вещь была все же дорогая. Он не поскупился.

...Ему очень нравилась моя маленькая двухлетняя дочка, и он любил с нею весьма серьезно разговаривать, как со взрослой, сидя перед ней на корточках и несколько пугая ее своими большими очками.

Мы часто сживали перед огромным окном, за которым виднелся классический московский пейзаж, словно бы вышедший из царства «Тысячи и одной ночи», но только несколько древнерусской.

Конармеец смотрел на этот пейзаж, но, мне кажется, видел нечто совсем другое: старые деревья, косо наклонившиеся над Сеной с нижнего ее парапета, а на верхнем парапете ящики букинистов, на ночь запиравшиеся большими висячими замками; белую конную статую Генриха Четвертого, сообразившего, что Париж стоит обедни; круглые островерхие башни Консьержери, где до сих пор в каменных недрах, за тюремными решетками, прикрепленный навечно к каменной стене, сумрачно чернел совсем не страшный на вид косою нож гильотины, тот самый, который некогда на площади Согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться и из-под него на Гревской площади покатались в черный мешок одна за другой головы Дантона, Сен-Жюста, Демулена, множество других голов, каждая из которых вмещала в себя вселенную, и наконец голова самого Робеспьера с разбитой челюстью и маленьким, почти детским, упрямым и гордым подбородочком первого ученика.

...Ну и, конечно, чашечка мокко на одноногом столике в тени тента с красными фестонами.

Он пил кофе маленькими глотками, растягивая наслаждение, оттягивая миг возвращения, и его детские глазки видели тень Азраила, несущего меч над графитными плитками парижских крыш...

...А может быть, это и был тот самый косо режущий ледяной ветер во всю длину Елисейских полей, ветер возмездия и смерти...

В расчете на вечную весну мы были одеты совсем легко, а ветер, свистя, как нож гильотины, нес мимо нас уже заметные крупинки снега, и для того, чтобы не схватить пневмонию, нам пришлось укрыться в набитой людьми американской дроб-стори, где с трудом отыскался свободный столик под неизмеримо громадным, длинным, низким потолком, униженным параллельными рядами светящихся шариков, умноженных до бесконечности зеркалами во всю стену, что угнетало нас какой-то безвыходностью.

Мы уже были уверены, что весна никогда не наступит и мы навсегда останемся здесь как в аду, среди беготни обезумевших официанток, знакомых музыкальных звуков бьющихся тарелок, восклицаний, разноязыкого галдежа, мелодий проигрываемых пластинок, где противоестественно смешивались все музыкальные стили, начиная с древнегалльской музыки и кончая все еще не вышедшим из моды поп-артом.

Мы были в отчаянии.

Но в один прекрасный день, когда наше отчаяние дошло до высшей точки, весна наступила внезапно, как взрыв всеобщего цветения под лучами жгучего солнца в безоблачном и безветренном небе, при температуре воздуха более двадцати девяти градусов в тени, когда вдруг как по мановению черной палочки, перевитой розами, изо всех настежь открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые, раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который мы привыкли видеть элегантно-серым, а теперь он превратился в нечто карнавальное, яркое, почти итальянское, где рядом с каменными стенами средневековых церквей горели кусты персидской сирени со всеми ее оттенками, начиная с самого нежного и кончая самым яростным.

Я почувствовал, что в мире произошло нечто имеющее отношение лично ко мне. И в этот же миг из ледяных пещер памяти, совсем живой, снова появился Брунsvик.

Он стоял передо мною, как всегда чем-то разгневанный, маленький, с бровями, колючими как креветки, в короне вздыбленных седых волос вокруг морщинистой лысины, как у короля Лира, в своем синем вылинявшем рабочем халате с засученными рукавами, с мускулистыми руками — в одной руке молоток, в другой резец, — весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой пудрой и еще чем-то непонятным, как в тот день, когда я впервые — через год после гибели Командора — вошел в его студию.

— Наконец я нашел подходящий материал. Нет! Не материал, а вещество! Подходящее вещество для ваших друзей, о которых вы мне столько рассказывали! — закричал он с порога. — Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. Из этого вещества построена Вселенная. Это лучшее из того, что можно было достать на мировом рынке. Вещество из глубины галактики. Горопитесь же!

Он кричал, он брызгал слюной, он топал ногами.

Я понял его с полуслова.

— Теперь пора, — сказал я, и мы с женой побежали в парк Монсо.

— Но прежде мне пришлось прочитать весь гениальный вздор, который написали вы и все ваши друзья. Может быть, у меня дур-

ной вкус, но ваша чепуха мне понравилась, иначе я не взялся бы за эту работу! — крикнул он нам вдогонку и тотчас исчез, на этот раз навсегда.

За свежевыкрашенными черными пиками железной ограды с ярко позолоченными остриями, за траурными, еще более высокими решетчатыми воротами, за их золочеными вензелями и балдахином, сияющим на солнце, перед нами предстали головокружительно высокие купы цветущих каштанов, белых и розовых, как совершенное воплощение вечной весны.

Мы вошли в парк.

Одно лишь название улицы, со стороны которой мы появились — Бульвар Мальзерб, — как бы погрузило нас в обманчивую тишину девятнадцатого века после франко-прусской войны и Парижской коммуны.

Это был мир Мопассана.

Широкоплечий бюст этого бравого красавца француза с нормандскими усами, которые умели так хорошо щекотать женские шейки и затылки с пушком каштановых волос, что в конце концов и привело его к ужасному преждевременному уничтожению, был установлен на колонне, у подножия которой была изваяна фигура полулежащей дамы в широкой юбке, с узкой талией, в кофточке — рукава буфами; она держала перед собой раскрытый томик, самозабвенно замечтавшись над строками Мопассана, и мне почему-то кажется, что эта книга была «Иветта».

В жарком сумраке неистово цветущего каштанового дерева эта хрестоматийная композиция уже заметно потемнела от времени, каждая складка широкой юбки со шлейфом и пятипалая тень какого-то отдельного каштанового листа, лежащая на прямом лбу писателя, — все это было хорошо знакомо и, в окружении цветущих сирени, боярышника, пионов, японской вишни, пронизанное неистовыми лучами солнца, отдаленное от шумящего города высокой решеткой тишины и безветрия, как бы перенесло нас в страну, куда мы наконец после стольких разочарований попали.

Однако на этот раз что-то вокруг изменилось.

Сначала я не мог понять, что именно изменилось. Но наконец понял: недалеко от изваяния замечтавшейся дамы под бюстом Мопассана стояла еще одно изваяние, которого раньше здесь не было.

Фигура конармейца в предпоследний период его земного существования.

Он сидел за маленьким одноногим столиком, перед чашечкой, под сенью каштана, как бы под тентом кафе, взирая вокруг сквозь очки изумленно-детскими глазами обреченного.

Он был сделан в натуральную величину с реалистической точностью и вместе с тем как-то условно, сказочно, без пьедестала.

Я употребил слово «сделан», потому что не могу найти ничего более точного. Изваян — не годится. Вылеплен — не годится. Иссечен — не годится. Может быть, отлит, но и это тоже не годится, потому что материал не был металлом, он был именно веществом. Лучше всего было бы сказать — создан. Но это слишком возвышенно. Нет, не создан. Именно сделан. Вещество, из которого он был сделан, не поддавалось определению. Человеческий глаз лишь замечает некоторые его особенности: поразительную, как бы светящуюся не-

земную белизну, по сравнению с которой лучший каррарский мрамор показался бы сероватым; необъяснимую непрозрачную прозрачность. Скульптура не отбрасывала от себя тени, хотя все предметы вокруг отбрасывали резкие утренние тени: кусты, скамейки, стволы деревьев, из которых одному — сикомору — было сто двадцать лет и оно, кажется, помнило еще автора «Милого друга», детские коляски, фигурки бегающих детей и их нянек, бабушек, матерей с открытыми книгами на коленях. Красно-синие мячики прыгали по уже пыльным дорожкам, отбрасывая прыгающие тени.

Даже маленькие маргаритки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени.

Я потрогал плечо конармейца, оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом. И судя по тому, что почва под изваянием сильно осела, можно было заключить, что материал, из которого был сделан конармеец, в несколько десятков, а может быть, и сотен тысяч раз тяжелее любого известного на земном шаре вещества. Вместе с тем, как это ни странно, материал, сияющий несказанной белизной, казался невесомым.

Мы пошли по парку и заметили, что, кроме знакомых серых статуй, ослепительно белеет несколько новых, сделанных из того же материала, что и статуя конармейца, — ярко-белых и не отбрасывающих теней.

Никто из посетителей парка их не замечал, кроме нас, это были наши сновидения. Они были расставлены прямо на земле и на газонах — без пьедесталов — в каком-то продуманном беспорядке.

На одном из газонов под розовым кустом лежала фигура ключика. Он был сделан как бы спящим на траве — маленький, с поджатыми ногами, юноша-гимназист, — положив руки под голову, причесанную а-ля Титус, с твердым подбородком, и видел неземные сны, а вокруг него, как некогда он сам написал:

«...летали насекомые. Вдрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город»...

Парк Монсо, где лежал ключик, глубоко уйдя в травяной покров, был действительно городом вечной весны, славы и тишины, еще более подчеркнутой возгласами играющих детей.

В романтических зарослях цветущих кустов боярышника, рядом со старым памятником Гуно, возле пробирающегося по камешкам ручейка, дружески обнявшись с Мефистофелем, белела фигура синеглазого — в шляпе с пером, с маленькой маңдוליной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г — Гуно, но не забывающего и двух первых: Гоголя, Гофмана...

Я сразу узнал его по ядовитой улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника сидящего на Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже с третьей своей женой.

Он сказал по своему обыкновению:

— Я стар и тяжело болен.

На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как врач хорошо это знал.

У него было измученное землистое лицо.

У меня сжалось сердце.

— К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого,— сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды.

Мы чокнулись и отпили по глотку.

Он с достоинством нес свою бедность.

— Я скоро умру,— сказал он бесстрастно.

Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях,— убеждать, что он мнителен, что он ошибается.

— Я даже вам могу сказать, как это будет,— прервал он меня, не дослушав.— Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже.

Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова...

Его похоронили.

Теперь он бессмертен.

Раскинувши руки в виде распятия, но с ног до головы перекрученное на манер бургундского тирбушона-штопора, как бы перевитое лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна, недалеко от которого под столетним сикомором сидел на камне босой будетлянин, председатель земного шара, с котомкой за плечами, с дорожным посохом, прислоненным к дереву,— нищий с заурядно-уездным лицом русского гения, обращенным к небу, словно бы говоря:

«...Пусть девы поют у оконца меж песен о древнем походе о верноподданном солнца самосвободном народе».

Он сам был верноподданным солнца, сыном самозабвенного народа.

На повороте аллеи, не замечаемый играющими детишками — белокожими и чернокожими,— в цилиндре и шелковой накидке, с тростью, протянутой вперед, как рапира, с ужасом, написанным на его почти девичьем лице, стоял, расставив ноги, королевич, как бы видя перед собой собственное черное отражение в незримом разбитом зеркале. Он был сделан все из того же межзвездного материала, но только как-то особенно нежно и грустно светился изнутри.

Птицелов со свернутой охотничьей сетью на плече неподвижно шагал по парку, ведя за руку маленького сына, тоже поэта, чем-то напоминая Вильгельма Телля на фоне каменного декоративного грота, заросшего плющом.

На двух белых железных стульях, повернувшись друг к другу, в почти одинаковых кепках, в позе дружелюбных спорщиков сидели звездно-белые фигуры брата и друга, а остальные десять садовых стульев были заняты живыми посетителями парка в разных местах центральной его аллеи.

Вдалеке парк соприкасался с чьими-то недоступными простым смертным владениями, скрытыми за колючими изгородами, решетками и зарослями дикого винограда, шиповника, терний, тех самых терний, чьи острые чугунно-синие шипы впивались в восковое чело человекобога, оставляя на нем ягоды крови.

Там, на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине перделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулат, по-прежнему похожий издали на стручок черного перца, но чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделан из самого лучше-

го галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва.

Парк оказался наполненным творениями сумасшедшего ваятеля.

Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока наконец не остановились возле фигуры, которую я узнал еще издали.

Перед нами сиял неземной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадежно повисшей руке.

...«Без шапки и шубы. Обмотки и френч. То сложит руки, будто молится. То машет, будто на митинге речь... Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойденно желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь... Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить... До чего ж на меня похож!..»

Да, это он: Командор в юности. И так — навсегда: мальчик-самоубийца. До чего ж на него похож.

А вокруг горел жгучий полдень вечной памяти и вечной славы. Внезапно остановившийся взрыв.

В его неподвижном горении, сиянии, в ярких прозрачных красках повсюду вокруг нас белели изваяния, сделанные все из того же неиссякаемого космического вещества белее белого, тяжелее тяжелого, невесомей невесомого.

Неземное на земном.

Мы уже шли к выходу, когда в заросничной стране парка Монсо увидели фигуру щелкунчика.

Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тупле золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливало воздушным стеклом пасхального полудня.

Он был без шапки.

Его маленькая верблюжья головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах слова-психеи.

Может быть, таким образом рождались стихи:

«...Есть иволги в лесах и гласных долгота в тонических стихах единственная мера, но только раз в году бывает разлита такая длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурой зияет летний день... Уже с утра покой и трудные длинноты, волю на пастбищах и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты»...

Он боялся извлечь из своего тростника богатство целой ноты. Он часто ограничивался обертоном слова-психеи, неполным его звучанием, неясностью созревавшей мысли.

Однако именно эта незрелость покоряла, заставляла додумывать, догадываться...

«...Россия. Лета. Лорелея»...

Что это такое? Догадайтесь сами!

Недалеке от щелкунчика стоял во весь рост, но как-то корчась, другой акмеист — колченогий, с перебитым коленом и культипкой отрубленной кисти, высывающейся из рукава: худощавый,

безусый, как бы качающийся, с католически голым, прекрасным, преступным лицом падшего ангела, выражающим ни с чем не сравненную муку раскаяния, чему совсем не соответствовала твердая соломенная шляпа-канотье, немного набок сидевшая на его наголо обритой голове с шишкой.

Шляпа Мориса Шевалье.

Издалека волнами долетали мощные, густые, ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и Сакре Кёр, гипсовые колпаки которой светились где-то за парком Монсо, на высоком холме Монмартра, царя над празднично-безлюдным Парижем.

Виднелись еще повсюду среди зелени и цветов изваяния, говорящие моему гаснущему сознанию о поэзии, молодости, минувшей жизни.

Маленький сын водопроводчика, соратник, наследник, штабс-капитан и все, все другие.

Читателям будет нетрудно представить их в виде статуй без пьедесталов.

Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец.

Потом звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу, с настойчивой медлительностью останавливая кровообращение и не позволяя мне сделать ни шагу, для того чтобы выйти из-за черных копий с золотыми остриями заколдованного парка, постепенно превращавшегося в переделкинский лес, и — о боже мой! — делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазией Ваятеля.

1975—1977 гг.

Переделкино - Нижняя Ореанда.



АЛИМ КЕШОКОВ



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С кабаргинского

АКАЦИЯ

Она не верит первым тем лучам.
Чуть выпустит сперва листки несмелые,
Проверит, холодно ли по ночам,
И лишь потом цветы распустит белые.

Приплось ей видеть не одну зарю,
Которые весенним звались именем
И все же вопреки календарю
Морозили ее побеги инеем.

И невпопад обильный падал снег,
Гнул ветви, разрушал ее величие
И, скрывшись за горами, как абрек,
Прочь исчезал, не поживясь добычею.

Тогда скрипело дерево во мгле,
Скорбело над потерянною кроною,
Еще вчера живую и зеленою,
Сегодня распростертой на земле.

Акация, я знаю, что у нас
С тобою, как ни странно, сходство тайное:
И мне приносит горе всякий раз
Тепло неверное, тепло случайное.

Я робость перенять твою хочу,
Да не умею и по свойству странному
Я доверяю каждому лучу,
Порой мгновенному, порой обманному.

* * *

Не по чужим словам да пересудам
Я знал войну, постиг ее закон.
Я ранен был, и взрывом погребен,
И после **был спасен** каким-то чудом.

Повсюду смерть подстерегала нас,
Нас, с жизнью связанных лишь нитью тонкой,
Я помню, как меня товарищ спас,
И мать в селенье и на этот раз
Не плакала над смятой похоронкой.

Снаряды рвались, все кругом круша,
Собой заглушая стон и слово,
Я шел под лед в затоне Сиваша
И все же поднят был со дна морского.

До сей поры понять я не могу,
Как в некие счастливые минуты
Снаряды рвались рядом на снегу
И все ж меня щадили почему-то.

По полю брани смерть с косою идет,
И для нее война что косовица.
Тогда я вряд ли мог бы поручиться,
Что эта добросовестная жница
Меня к своим рукам не приберет.

Я не был всех могучей, всех везучей,
Но может и на сжатой полосе
Остаться знак не худший и не лучший.
Быть может, то судьба, быть может, случай,
Но спасся я от смерти неминучей,
Хоть был таким же, как другие все.

..*

На свете вечный спор ведет природа:
С вечернею зарею спорит мрак,
С июньскою жарою спорит знак,
Здесь спор идет в любое время года,
Но спорщик спорщику не смертный враг.

Жизнь по извечным следует законам,
За осенью вослед зима идет,
Речную воду превращает в лед,
Поверх зеленой бурки горных склонов
На время бурку белую кладет.

Со светом дня ночная спорит мгла,
С морскими берегами спорит море,
Но кто ни победил бы в этом споре,
Ничья победа не сулит нам зла.

Куда страшнее спор людских племен,
В людской вражде в клубах огня и дыма
Ни свет, ни тьма — ничто неразлично,
И слышен только грохот, лязг и стон.

Огонь вражды дышать нам не дает,
Он небеса и землю застит тьмою,
Свисает, точно петля над скамьею,
Что кто-то должен вышибать вот-вот.

Земля от совершенства далека,
Здесь племена охвачены враждою,
И даль горит, и льется кровь рекою,
Когда не только с берегом река,
Трава со снегом и весна с зимою,
Не только утра свет с ночною мглою,
Но люди спор ведут между собою
Сегодня так же, как во все века.

Аддис-Абеба, 1977.

НЕЗВАННАЯ ГОСТЬЯ

Я знал, что ты, согбенна и бела,
В дом постучишь мой поздно или рано.
Ну что ж, располагайся, коль пришла,
Не все равно ли, звана иль незвана.

Не то чтоб век я протранжирил свой,
И век мой не был чрезмерно длинным,
Но то, что видел я, троим с лихвой
Хватило бы, чтоб их согнулись спины.

Ну что же, постоялица моя,
Я облегчаю сам твою задачу:
Своих годов от мира не тая,
Не крашу я волос, морщин не прячу.

Еще спасибо, что на некий срок
Остаток сил моих ты сохранила
И что, переступивши мой порог,
Ты суковатый посох мне вручила,
Чтоб по земле ходить покуда мог.

И хоть пришла ты гостею немилый,
Располагайся, будем жить вдвоем
И делать то, что нам еще по силам,
Покуда не покинем этот дом.

Перевел Н. ГРЕБНЕВ.



ВАДИМ РАБИНОВИЧ

★

СТАРЫЙ КЕДР

Ивы плакучей штамп проходной
Перегораживал мне дорогу.
Ветви раздвинув, шел понемногу
К вам теневою, лесной стороной.
Навязчиво-звонкий шелеста плач
Новых листочков продолговатых
Ушей доставал. И правильный грач
Скульптурно сидел на рейках дощатых
Вашей ограды. Вы жили здесь.
Вы были ботаник. В Никитском служили.
Вас слушались травы. Вам ведомы были
Дуба соната и ясеня песнь.
А ивы плач вас вовсе не трогал,
А ивы слезы были не в счет.
Потому что знали вы: там, за дорогой,
Дерево кедр живет.
Стожильный живет. Неохватный. Могучий.
Гималайский, по-видимому... В стороне от дорог.
И все же — в защитных целях — плакучий,
Как обозначил его ваш ботанический каталог.
Это было темное место Никитского сада.
Еле внятным был волн разорванный метр.
Я сказал: а может, товарищ ботаник, не надо
Подслушивать да подглядывать, как плачет этот железный кедр?
— Во-первых, это не видно. Да и не слышно вроде.
Это только может почувствовать и то достаточно чуткий субъект.
Во-вторых, когда плачет ива или кто-нибудь в этом роде,
Это, замечу в скобках, вовсе тривиальный сюжет.
— А может, не надо?
— Нет надо! Это поучает.
Это внушает черствой душе:
Всякое с сильным полом бывает
И обязательно всякое еще будет, если не было всяческого уже.—
И мы подкрались. И действительно плакал.
Эдельвейсы венчики призакрыли. Свесили усики четырехкрылые жуки.

Молча плакал, бесслезно плакал,
Как плачут брошенные старики.
И в этой тишайшей области плача,
Сухого плача, мужской беды,
Я стоял как врытый перед стариковской незадачей
В глухой расщелине Крымской гряды.
И в этот микромир, вероятно, лучший
Из всех микромиров, имя которому —
В Собственную Жилетку Великий Плач,

Явился вдруг и на всякий случай
 Взлетел на кедр, и без того плакучий,
 С вашего дощатого забора и с вашего высокого позволения —
 Угольно-фиолетовый грач.



Реял над поверхностями вод
 Некий дух. Он формовал стихию.
 Огонь окаменел. А вот, а вот
 Распростер крыла свои сухие
 Птеродактиль среди горячих скал,
 Выросший из мрака пресноводья.
 Формообразующих начал,
 Первый формалист во всей природе
 Был тот мастер. Гул на голоса,
 Туф на плиты и слова на строфы
 Перекладывай! Вздыхай леса
 На обломках первой катастрофы!
 Продолжай замысленное им!
 Уголья подбрасывай в треножник!
 Формы жрец, выдумщик и художник,
 Рей над бездной, хмур и нелюдим!
 Заливай опоку чугуном!
 Впрочем, что чугуном — нужна опока.
 Формообразующее око
 В мир аморфный под прямым углом
 Наводи... Но ты лежишь нежна,
 Только что проснувшееся чудо,
 Десять лет любимая жена,
 Ангел, взявшийся невесть откуда.
 Не тебя ли сызнова творить?!
 Не тебя ль воссоздавать сызнова?!
 Над тобою ль сумрачно парить,
 Говорить таинственное слово?!
 Пусть как есть. Пусть локон достает
 До локтя, колечком вокруг запястья...
 Ведь не зря же некий первомастер
 Реял над поверхностями вод!



За оградой сада сад.
 А за садом вновь ограда.
 Нынче шаг замедлить надо.
 Заглянуть вот в этот сад.

Двадцать пять веков подряд
 Все хожу, чтоб сквозь решетку
 Высмотреть мою красотку
 И в душе устроить лад.

Платье белое твое
 С белой вишнею сольется,
 Белой яблони коснется,
 Зренья ~~высветлит~~ ~~море~~.

Когда вишня как в снегу,
Вижу мир простым и целым.
Различить тебя на белом,
Как ни силюсь, не могу.

Потому что весела,
Светлой тучкою случайной,
Млечной яблоней венчальной,
Белой вишнею была.

Сад в июне отцветет.
Цвет исчезнет чудотворный.
Только ты одна бесспорна.
Остальное все не в счет.

Гуси-лебеди летят.
Листопад. Коричнев сад.
Песни все давно пропеты...
Но невидимые светы
По ту сторону стоят.



ВИЛЬ ЛИПАТОВ

★

ПОВЕСТЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ, СЮЖЕТА И КОНЦА...*

7

Накануне Дня Советской Армии заседание комиссии по жилищным вопросам не состоялось по двум причинам: одной — вполне существенной, второй — смешной. Уже 20 февраля выяснилось, что новый дом просто-напросто не закончен, а взволновавшая весь поселок ванна не вошла в проем; вторая причина отсрочки заседания Нине Александровне казалась смешной, а вот поселок гудел, как электрические провода в бурю. Пронесся слух о том, что вот-вот состоится правительственное решение о переименовании поселка Таежное в город. Новость оказалась такой волнующей, что в школе кривая успеваемости круто пошла вниз, дисциплина на три-четыре дня дала зияющую трещину, но самое забавное было в том, что и Сергей Вадимович к сенсации отнесся не только без юмора, а со всей непривычной для Нины Александровны серьезностью. «Это будет иметь далекоидущие последствия! — сказал он чуть ли не с пафосом. — Это папахивает дотациями, а значит, притоком рабочей силы.. Рад! Не скрою: рад!»... Одним словом, шумиха вокруг грядущего преобразования Таежного — сплетни все, сплетни! — поднялась такая, что никто не заметил, как пришел первый мартовский день — день по календарю весенний.

Между тем никаких признаков весны на 1 марта на улицах поселка и окрест его не наблюдалось, скорее наоборот: по сравнению с последними числами февраля день был и холоден, и мрачен, и сердит. Облака плыли низкие и черные, дул сиверко, и все птицы сидели, повернувшись клювами в сторону Северного полюса; электрические провода на самом деле гудели и стонали, дым из печных труб не успевал выползть, слизываемый ветром. Одним словом, 1 марта выдалось таким, когда хорошо сидеть дома, завернувшись в оренбургскую шаль, и, прислонившись спиной к теплomu боку печки, читать «Похождения бравого солдата Швейка». Нина Александровна так и сделала: пригревшись, начала читать книгу, которую любила и знала почти наизусть, но через страницу-другую обнаружила, что на внимательное и сладкое чтение Гашека не способна.

Посмеиваясь про себя и поглядывая искоса на мужа, занятого дотошным изучением областной газеты, она мысленно загибала пальцы. Ну, во-первых, решение вопроса о новом доме отложено, во-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

вторых, рядовой врач Савицкий сделался главным врачом Замааревым, в-третьих, у Сергея Вадимовича обострилась язва, в-четвертых, существовал дневник Лили Булгаковой — это последнее, четвертое обстоятельство было самым тревожащим и назойливым. Короче, в студенческие годы Нина Александровна тоже вела дневник... Она резким движением положила «Швейка» на колени вытянутых ног, повернувшись к Сергею Вадимовичу, заметила, что он читает уже последнюю страницу газеты.

— А я в институте вела дневник, — насмешливо сказала Нина Александровна. — Если хочешь, погляди, какой я была напыщенной и велеречивой дурой, коли уже добил свою обожаемую газету... Повеселишься!

— Так ставите вопрос? — живо заинтересовался Сергей Вадимович, охотно свертывая областную газету. — На подшипниковом заводе, можешь себе представить, начальник цеха не знает разницы между завершенным и незавершенным производством... Однако новость номер один — фокус Олеженьки Прончатова. Съездил в Норвегию, посмотрел, как там рубают и сплавляют лесок, и теперь написал статью, в которой о сплаве — два слова, а все остальное посвящено лесозаготовителям. Зато он их так учит уму-разуму, что пальчики оближешь... А теперь позвольте поинтересоваться, гражданочка, почему вам последние полтора часа не читается, не сидится, не стоит, не гуляется?... Хе-хе! Если я занят конспектированием в уме областной руководящей газеты, это не значит, что я не вижу, какие сложные процессы происходят в голове моей спутницы жизни. Я такой! Я наблюдательный! Я о-о-о-очень умный и талантливый, но и о-о-о-очень скромный!

Говоря все это, он незаметно подобрался к Нине Александровне, поцеловав ее в пуховое плечо, заглянул в глаза:

— Драсьте, Нинусь Александровна, давно не встречались! А ну-ка гоните ваш дневник! Гоните, гоните — нечего делать устрашающие глаза. Я о-о-очень сильный и о-о-о-очень храбрый!

Как всегда, он все-все понимал, этот ерничающий Ларин, но Нина Александровна, не ответив на поцелуй, погладила лохматую голову мужа и суховато сказала:

— Ты можешь смеяться во все горло, честное слово, Сергей. Просто умирай от хохота, если захочется, ладно?

— Умру! — истово поклялся Сергей Вадимович, и она мысленно поблагодарила его за то, что муж не только все понял, но и был готов к тому, чтобы читать дневник как самое незначительное, легкое и необязательное чтиво вроде журнала «Крокодил».

— Держи, дорогой маэстро Ларин. Познавай жену!

Дневник был написан в студенческие годы, когда Нина Александровна после десятилетки, которую она окончила в деревне, поступила с ходу в столичный институт. Вся школа гордилась этим, так как Нинка Савицкая была первой в списке московских студентов из их деревни. Дневник она, впрочем, начала писать еще в десятом классе и была тогда всего месяцев на шесть старше нынешней Лили Булгаковой... Через два года после окончания института, выйдя замуж и родив Борьку, она перестала вести дневниковые записи и, когда произошел инцидент с Лилей Булгаковой, даже не могла припомнить, как ее дневник выглядел внешне. После мучительного разговора с девушкой Нина Александровна с большим трудом нашла свой дневник и пораженно охнула: у нее в руках источали пыль две коричневые обложки тетради в дерматиновых обложках — копии Лилиных тетрадей. Надменно усмехаясь и пожимая плечами, она в полном одиночестве от корки до корки перечитала обе тетради и целых

полчаса сидела неподвижно за своим крохотным рабочим столом, насвистывая «Полонез» Огинского и ничего не делая.

— Тэ-эк! Почитаем! — с плотоядным видом забирая тетради, пригрозил Сергей Владимович. — Будем, будем поглядеть, что думает о себе моя умная и эмансипированная женоушка. Ага, попалась, которая кусалась.

«17 февраля. Что я должна сделать за пять лет в Москве.

1. В совершенстве изучить театр, историю отдельных театров (Большого, Малого, оперетты, имени Станиславского и Немировича-Данченко, Ермоловой и т. д.), изучить биографии знаменитостей прошлого и настоящего, посмотреть заглавные вещи из репертуара этих театров и т. д.

2. В совершенстве узнать музыку: композиторов всех веков и народов, их главные музыкальные произведения; историю музыки, ее исполнителей, прошлых и в особенности настоящих.

3. Научиться играть на пианино.

4. В совершенстве изучить Третьяковскую галерею. Вообще научиться «читать» картины, понимать живопись и скульптуру.

5. В совершенстве изучить литературу, зарубежную и классическую.

6. Научиться шить, вязать, вышивать.

Это программа на пять лет.

1 декабря. Сегодня почувствовала очень остро, какова цель жизни каждого человека. С уверенностью и убежденностью могу ответить: труд. Труд настоящий, дающий полное удовлетворение, творческий, нужный людям. Труд — основа моральных качеств человека. Развивать себя — тоже труд. Я сама чувствую, что, когда не работаю как следует, становлюсь намного хуже... Я хочу все знать, но желания мало, надо работать.

7 декабря. Говорят: не родись красивой, а родись счастливой. Нет, я хотела бы родиться и красивой. Не думаю, чтобы это меня испортило. Я была бы намного счастливее. Природа ошиблась, вложив в мое тело такую душу. Нет, нет, это не хвастовство и не преувеличение. Наблюдая людей, я редко вижу таких же, как я. И это не зазнайство, я впервые пишу об этом, много перед этим передумала... Как я хочу уметь играть! Я вложила бы в музыку всю душу. Часто думаю о том, как прикоснусь к клавишам... Еще одна задача: в совершенстве овладеть английским. Я легко читаю и перевожу сложные тексты, но этого мало. Итак, язык — в совершенстве!

3 курс.

17 сентября. Странная штука — жизнь. Разве я когда-нибудь думала, что буду сидеть в Москве в захолустной квартирке в Армянском переулке и ждать своего педагога по музыке?..

4 ноября. Интересно, так будет всю жизнь? Спокойно, уверенно, равнодушно, ни переживаний, ни волнений, ни радости, ни ненависти — все равно. Неужели кончилось то счастливое время, когда каждый день была какая-нибудь радость?.. Очень жаль, что я не смогла попасть из-за музыки на целину. Уверена, что этого не было бы. Я уже отвыкла от простой, смешливой публики, привыкла к другой — строгой, правильной, ни в чем не ущемляющей ни других, ни себя. И сама стала такая: холодная, равнодушная ко всему и ко всем, внутри пустая. Одни живут для других, другие — для себя. Я живу, как вторые, но мысленно на стороне первых. Почему у меня нет своей, ясной, твердой, удовлетворяющей меня теории жизни? Мне нравится и то и другое, но все это не мое, чужое. Если я живу весело, я завидую тем, кто может систематически работать, много знает.

Если я живу занятиями, я завидую тем, кто смеется, у кого есть хорошая компания... Все неопределенно.

16 декабря. Как прекрасно жить! Быть веселой и энергичной — не в веселье, а именно в занятиях, то есть лихорадочно, как можно смелее и ярче познавать, сбросить лень, усталость, кислоту, быть жизнерадостной! Все можно успеть, если жить именно в темпе.

7 марта. Вот вывод: на людей полагаться нельзя, надо во всем полагаться на себя, а главное, не смотреть, кто как делает, а делать так, как сама считаешь нужным, пускай это будет даже хуже, чем у других.

А потом, не надо стараться понравиться, а для этого унижаться, говорить неправду. Со мной это редко, но бывает. Нужно быть естественной.

20 апреля. Неожиданно поняла, почему у меня такое отвратительное настроение. Вся моя сложная, занятая до предела музыкой, английским языком, институтом, шитьем, книгами жизнь мне надоела до невероятности, я не хочу, не могу больше жить одним умом. Я хочу еще жить и сердцем.

4 августа. Самое главное, что я все время ищу какой-то смысл в жизни, я не могу быть спокойной, когда у меня бессмысленно проходит хотя бы час. Если жить так, что лишь бы прожить, лучше вообще не жить... Сегодня два часа разговаривала в институте с английским туристом на его родном языке. Он понимал все и — вот выдержка! — ни разу не улыбнулся в ответ на мои ошибки в грамматике и произношении. Истинно аглицкий характер!

8 августа. Мне надо постоянно находиться на людях, тогда я меньше думаю о себе, о своих переживаниях. Мне нужна жизнь деятельная.

17 августа. Проблема самообразования давно стоит передо мной, но я неправильно подходила к ее разрешению. Я начертила себе большой план, но упустила в нем очень важное — наслаждение. Потому и выполняла его нерегулярно и неохотно. Итак, начнем с главного в моей жизни — с математики. Что меня в ней увлекает? Теория бесконечно малых величин. Поэтому я должна узнать в этой области побольше. Музыка. Продолжать заниматься усердно и старательно. Самой заниматься 2 часа в сутки специальностью и 1 час теорией. Продолжать изучать творчество композиторов. В театр и на симфонические концерты ходить каждую неделю. По воскресеньям — музеи. Литература. Начала читать западную литературу (Стендаля), продолжу. Спорт. Хочу научиться плавать. Ходить осенью и весной в походы. Зимой — коньки и лыжи. В области человеческих отношений прогнозировать ничего нельзя, поэтому тут предоставим все его величеству случаю. Моя цель — стать умным, развитым, интересным человеком, знать иностранный язык — английский как самый распространенный...

31 августа. Последний день отдыха у матери и отчима. Завтра лечу в Москву. Где буду жить, не знаю, но как буду жить, знаю. Представляю сейчас сама себя человеком, выходящим свободно и независимо ни от кого на дорогу жизни, с уважением к окружающим, но и с полным чувством собственного достоинства.

4 курс

25 сентября. Хочу описать один мой день. Встаю в 7, выхожу в 8 к остановке 82-го автобуса, в 9 я уже за городом. Сажу у Екатерины Васильевны, моего нового педагога. Обстановка такая: старый, заброшенный сад, покосившийся двухэтажный дом, веранда и разбитый рояль, сама старушка очень древняя, училась в консерватории в 1905 году, видела Римского-Корсакова и постановку «Кашея» сила-

ми учеников консерватории — в общем, все то, что я перед этим прочла в книге воспоминаний Гнесина о Римском-Корсакове. Она, к счастью, знает английский, и мы с ней разговариваем только на нем. Я написала «к счастью», но это не так, ибо я сама искала и нашла преподавательницу музыки с английским языком. Без английского я бы могла найти музыкантшу и рядом с институтом... Ну вот так. Позанимавшись два часа с ней, еду домой, обедаю и бегу в институт на лекции. Затем занятия до 9 часов вечера, затем иду в главный корпус, там есть инструмент, и играю до 10 или 10.30. Приезжаю в 11.30 домой, ужинаю и закрываю дверь в постель. По дороге читаю книжки. Больше времени нет. Зато настроение бодрое и веселое.

15 декабря. Были тяжелые времена. Я жила на квартире у черствых и злых людей. За инструмент каждую субботу мыла полы во всей квартире, терла с мылом цементный пол в кухне, а иногда приходилось все перебивать из-за их прихоти. Денег было мало, существовала впроголодь. Вывела: человек никогда не должен хныкать, не должен терять достоинство, обязан сохранять выдержку и презрение к неудачам.

17 декабря. Хочу записать для себя ряд правил.

1. Быть всегда добросовестной по отношению к тому делу, за которое взялась, то есть всегда все делать хорошо и доводить до конца.

2. Быть естественной, такой, какая есть в данную минуту, не строить из себя умного человека — это признак глупости.

3. Быть снисходительной к людям, не обращать внимания на их недостатки, не возмущаться ими и не делать замечаний — от этого они лучше не будут, недостатки исправляются не так.

4. Больше жить в себе, это дает большую собранность, независимость, самостоятельность, устойчивость.

5. Каждый факт своей жизни рассматривать с точки зрения удовольствия, удовлетворения, человечности. Вообще смотреть на вещи шире, с перспективой.

6. Каждым предметом заниматься систематически и начинать с азоров.

7. Уметь выделять главное на сегодняшний день и выполнять это главное, а второстепенное — в оставшееся время.

1 января. На первой чистой странице дневника буду ставить черточки, обозначающие балластные дни.

13 января. Настроение у меня чудное. По-моему, это надо приписать моему внутреннему перерождению. Я стала относиться ко многому иначе, стала часто делать по «хочу», а не по «нужно». Даже по улице я не бегу, как раньше, наклонив голову, смотря вниз и хмуря брови, а иду спокойно, медленно, наслаждаясь погодой, какой бы она ни была, потому что в любой погоде есть своя прелесть. На все мелочи смотрю сквозь пальцы.

5 марта. Живу в общечитии уже полмесяца. Много нравится. Что именно? Свобода, полнейшая независимость. К девочке из нашей комнаты приезжал мальчик по имени Юра. Мы так часто находили темы для разговоров, что я поражалась. Впервые встретила человека, с которым у нас так много одинакового: принципов, взглядов, суждений. Отношу его к разряду людей, для меня замечательных. А музыка? Мы одновременно бросались к приемнику, когда слышали что-то порядочное. А математика, техника?.. Все-таки жизнь свела меня с тем, кого я так искала. Но девочка, к которой он приезжал... Я не отнимаю у подруг их возлюбленных!

27 марта. Я с малых лет была больна честолюбием, желала, чтобы меня любили и уважали, и в то же время хотела стать человеком с независимым характером. Как это осуществить, я не знала. Много

читала, слушала — это в какой-то мере выделило меня из числа заурядных людей. В желании нравиться я пошла сначала по пути властвования. Но это удавалось только в детском возрасте. Когда же мы подросли, меня невзлюбили за эту черту. Тогда я стала угождать всем подряд, но и здесь потерпела фиаско. У меня были такие несовместимые скачки: или я думала, что выше всех людей, или, наоборот, что ниже. Помню очень хорошо то мучительное чувство, которое овладевало мной, если ко мне проявляли невнимание.

Приехав в Москву в институт, я увлеклась новой жизнью, занялась бурной общественной деятельностью, меня полюбили. Но потом все изменилось. Я стала подражать Тане, а мне никогда не удавалось то, что шло вразрез с моим внутренним миром. Я снова стала фальшивой. Не считаясь с собственным мнением, дорожила только мнением окружающих и много делала против себя. Так продолжалось долго.

Теперь вот что я такое. Я вежлива. Поступаю по велению совести, в мелочах уступаю, в принципиальных вопросах нет. Об угождении не может быть и речи. Не лезу ни к кому со своими хорошими мыслями и знаниями, не спорю по дурацким вопросам. Смеюсь, когда весело. Рассказываю, когда спросят. Никому не отказываю, если в моих силах что-то сделать. Если у кого-то большое горе, стремлюсь помочь. Люди, окружающие меня, не всегда соответствуют моим идеалам. Но я живу среди них, следовательно, нужно с ними считаться.

24 августа. Главное — развитие ума, вкуса, языка. Ум. Для развития требуется: жизненные наблюдения за характерами окружающих людей, чтение книг, размышления. Вкус. Чтобы развить его, надо много сравнивать, а много сравнивать можно только тогда, когда много видишь, слышишь, ощущаешь. Вкус воспитывается с познанием искусства во всех его формах: литература, живопись, музыка, архитектура. Язык. Здесь нужна постоянная тренировка, следить за речью, завести словарь... По-английски я уже осмеливаюсь разговаривать с заведующей кафедрой иностранных языков. Смелая, самостоятельная, изящная женщина. Мне бы ее достоинства.

5 курс.

16 июня. Я стою на пороге самостоятельной жизни. Больше всего боюсь устроить себе тепленькую, серенькую жизнь со всеми материальными достоинствами и лишнюю смысла. Больше всего боюсь опуститься до мещанства, когда будет удовлетворять работа «абы день прошел», семья с едой и тряпками и содержательные сплетни о знакомых.

13 июля. Практика в школе под Москвой. Что главное? Я полюбила свою профессию.

Окончен институт!

2 августа. С момента осознания себя личностью я снедаема жаждой познания. Эта страсть увеличивается с возрастом в геометрической прогрессии. Хочется задержать жизненное время, сделать значительное, увидеть необыкновенное.

18 декабря. Кто счастлив? Тот, кто идет к цели и добивается ее. Тот, кто живет интенсивной внутренней жизнью, кто творит. Можно недоедать, недосыпать, жить в бедности и быть счастливым. Так вот, надо добиваться именно этого счастья — счастья творчества, достигнутой цели. Я нашла смысл жизни и знаю, как за него бороться.

30 декабря. «Человек тогда интересен как личность, когда он выше обстоятельств».

Год назад.

Сегодня проснулась с мыслью: «Как жить дальше? Что проис-

ходит со мной, если я становлюсь одинокой, а от этого злой и диковатой, как лосиха, лишенная самца? Ой люшеньки!» Мой старший друг, моя наставница и обожаемая мною Серафима Иосифовна Садовская — человек, счастливый даже в несчастье, — успокаивает меня примерно так: «Вам необходим муж штучного производства. Серийный сожитель у вас уже был. Я не думаю, что в Таежном сегодня-завтра появится мужчина нужного вам масштаба, Нина Александровна, но наберитесь терпения, голубушка, — принц в конце концов явится. Теперь такое время, что личностей с каждым днем становится все больше и больше...» Подождем! Хорошо! Терпения и выдержки мне не занимать стать...»¹.

...Сергей Вадимович, читая дневник, лежал на животе, а Нина Александровна, с ног до головы каменная, не видела даже строчек в «Похождениях бравого солдата Швейка» и машинально гладила беспородного щенка Мухтара, досыпающего двадцать пятый час в сутки. «Что бы я делала без этой псины? — подумала Нина Александровна, когда Сергей Вадимович добрался до последней дневниковой записи. — Я бы взорвалась! Вот что я сделала бы без Мухтара!»

— Так ставите вопрос? — негромко сказал Сергей Вадимович и осторожно закрыл последнюю клеенчатую тетрадь. — Так его ставите?

За окнами буйствовал сиверко, в печной трубе по-январски подвывало, Борька в своей комнате что-то пел: видимо, чинил новые цветные карандаши. Было тепло, тихо, на столе лежало письмо от матери Нины Александровны, в котором она интересовалась, куда дочь думает поехать на лето: дескать, не объединиться ли? Одним словом, все хорошо, спокойно и благоустроено было в доме Лариных-Савицких и, пожалуй, желать большего не хотелось.

— Жесткая штучка! Вериги! — прежним негромким голосом сказал Сергей Вадимович. — Дозволь внести одну-разъединственную поправочку?

— Валяй!

— Ты, Нинусь, красивая!

— Ах оставь!

Отличная оренбургская шаль была накинута на дорогой нейлоновый халат, который Нина Александровна купила во время туристической поездки по ГДР, и она очень хорошо чувствовала себя в нем — длинноногой, чуть-чуть широкоплечей, но... Она-то знала, что не любит смотреть в зеркало, делает это только в случае крайней необходимости — не чаще! За последний год, пожалуй, не случилось такого, чтобы Нина Александровна беспричинно взглянула в зеркало, хотя в студенческие годы просиживала и простаивала перед ним часами, испытывая миллион различных чувств, но всегда недовольная увиденным.

— Перестань блажить, Нинка, — обеспокоенно и сердито сказал Сергей Вадимович. — Ты красивая баба, поэтому приказываю немедленно поцеловать меня!

Она поцеловала.

— Очень приятно! — сообщил он важным голосом. — Можно ишо разочек повторить?

— Хватит, Сергей! — сказала она. — Давай-ка сюда мои вериги и навсегда забудь, пожалуйста, об этом метельном вечере! Ты слышишь? меня?

¹ Использован дневник студентки Н. из архива писательницы Ольги Кучкиной.

— Я таких дур еще не видывал! — окончательно обозлился Сергей Вадимович, но через мгновение сделался точно таким серьезным, каким был в тот час, когда сообщал ей о превращении поселка Таежное в город Таежный.

— Ты знаешь английский? — странным голосом, как бы осторожно спросил он.

— Свободно читаю и разговариваю. Во всех турпоездках я обхожусь без переводчика...

Он досадливо закусил нижнюю губу.

— Но почему я об этом узнаю только из дневника?

— Здрате! — искренне удивилась Нина Александровна. — Может быть, подскажешь, с кем можно разговаривать на английском в Таежном? Ты его не знаешь, а с дурой Зиминой общаться по-англицки не собираюсь... Она была на практике в Лондоне, и мне не хочется, чтобы она тайно посмеивалась над моим академическим произношением... Боже! Этого еще не хватало — стать посмешищем для idiotки Зиминой!.. А теперь давай сюда мои дневники!

Нина Александровна решительно забрала у Сергея Вадимовича дневники, строгим голосом велела ему отвернуться к стенке и, бесшумно передвигаясь по комнате, спрятала дневник в неожиданном месте — за панелью лампового радиоприемника. После этого она вернулась на место, прижалась спиной к теплым кирпичам и взяла в руки «Швейка». Прочитав самым внимательнейшим образом целый абзац, Нина Александровна как бы между прочим спросила:

— Слушай, муженек! А ты не находишь, что по этим записям можно смоделировать образ жесткой, самовлюбленной и расчетливой девчонки? Это раз! А во-вторых, считаешь ли ты, что Ларин — это тот принц, которого я искусно поймала в ловко расставленные сети?

— Женщина сошла с ума! — трагическим шепотом, вращая глазами и с ужасом втягивая голову в плечи, произнес Сергей Вадимович. — Я бы уже звонил в дурдом, если бы не одно обстоятельство.

— Какое?

— Я люблю эту сумасшедшую женщину... Стоп, гражданочка, куда вы это собрались? — заорал он, увидев, что жена, небрежно уронив на диван книгу и полуснимая нейлоновый халат, решительно направляется к платяному шкафу. — Я вас никуда не пущу в такой ветрище, мадама. Не пущу!

— Я обещала забежать к Садовской...

— Ну, если обещала... Только долго не сиди. Ладно?

Глава третья

1

В середине марта опять распространились упорные слухи о том, что поселок Таежное собираются все-таки переименовывать в город; однако же через три дня взбудораженные жители услышали печальную новость: для этого не хватало двух тысяч человек. Таежники приуныли, но еще через день узнали, что поселок может стать городом, если засчитают левобережную деревню Шпалозавод... Много, много волнений свалилось на голову аборигенов Таежного, а на Нину Александровну обрушился удар: домработница Вероника заявила, что окончательно и бесповоротно уходит к Зиминой.

— Я не каторжная, чтобы за пятьдесят рублей трудиться ночь-полночь... Кормить вашего я согласна, тут я сломилась, но ведь не в два же часа ночи!

— Вероника, но вы сами изъявили желание кормить Сергея Вадимовича, когда он возвращается с плотбищ или с поздних собраний,— удивилась Нина Александровна.

— Мало что изъявила... Я, может, не в себе была! У меня вон эта сучка длинноногая денежного жениха уводит! — Вероника протяжно завздыхала.— На морду она красивая, никто ничего не говорит, но ведь она фигурой-то — мужик... Ой, Нина Александровна, ухожу я от вас! Какого жениха потеряла: он обязательно в руководство выйдет.

Это был уже второй случай, когда в эмансипированной домработнице Веронике пробилось все насквозь деревенское: от мам, пап, дедушек и бабушек. Ну ничего не осталось от Вероникиной цивилизованности — на табуретке сидела обыкновенная толстая деревенская девка и, собираясь плакать, уже моргала рыжеватыми ресницами, с которых текла дорогая французская краска.

— Хороша любовь! — сказала Нина Александровна.— Уведят жениха, который выйдет в руководство... Ну и ну!

— А чего мне делать-то?! — не пожалев французскую краску, запричитала Вероника.— Я ведь тоже не баба, я — домработница. Вон тетка Лукерья дома мне говорила: «Теперь баб нету, теперь — бригадиры!»... Нет, нет, перехожу я от вас к Зиминым. Там на десятку больше и ужином кормить не надо. Значит, я больше образования получу... Вот фигурки вам, чтобы я образование не получила! — Вероника мотыльком вспорхнула с табуретки, по-опереточному сверкая глазами, начала носиться по кухне, собирала пожитки.— Финита ля комедия, как говорится в «Княжне Мэри» у Лермонтова! — выкрикивала она.— Мое пребывание у вас исчерпало себя! Финита, финита... Фиг вам с маслом! Ухожу!

И действительно — после обеда ушла к Зиминым, шагая по главной улице с двумя чемоданами в руках и важно поглядывая по сторонам; в недорогой, но славной шубке, в теплых замшевых сапогах, с яркой косынкой на голове — вся такая заметная и соблазнительная, что мужчины останавливались, провожали Веронику взглядами, да и сама Нина Александровна, наблюдая дезертирство домработницы через окно, залюбовалась: «Экая пава!» Однако когда Вероника скрылась в переулке, Нина Александровна в полной мере осознала значение того, что произошло. Это была катастрофа, да еще какая, ибо ровно через пять минут после неожиданного убега домработницы явился Борька с лозунгом: «Хочу горячего молока!» — а в холодильнике не оказалось ни мяса, ни рыбы, ни консервов, не говоря уж о молоке, которое хозяйственная и скупая Вероника покупала понемногу, чтобы не прокисало. Еще через три минуты на глазах у загрустившего сына Нина Александровна дошла до того, что едва удержалась, чтобы не запричитать Вероникиным голосом: «Ой люшеньки, до чего я такая несчастная уродилась...» Однако юмор юмором, юмор, несомненно, вещь спасительная, но... только через три часа Нина Александровна освободилась от домашней работы, проклиная все на свете, торопливо и, конечно, небрежно оделась и полуголодная побежала в школу, где все давно знали о том, что Вероника перешла к Зиминым. К счастью, англичанки в учительской не оказалось, чему Нина Александровна так обрадовалась, что на короткое время пришла в хорошее настроение, и за три-четыре минуты до начала урока успела собраться с духом и даже аккуратно причесалась перед пожелтевшим зеркалом. В класс она вошла в обычной форме — спокойная, стройная, элегантная, умная, и сразу же, еще не поздоровавшись со всем классом, нашла взглядом парту, на которой обычно сидел Марк Семенов,— его не было, и это значило, что

приходила весна все-таки настоящая. У Марка именно весной начались головные боли и наступало депрессивное состояние. Подобные болезни Нина Александровна, начитанная в вопросах психологии и психиатрии, относила к одному из признаков гениальности будущего академика.

Урок прошел обычно, если не считать того, что Лиля Булгакова за все сорок пять минут ни разу не подняла глаз на преподавательницу математики — смотрела в парту, и густой кок на ее голове походил на фигу. Что касается отпрыска помощника киномеханика Шубина, то он не отрывал от Нины Александровны обожающих, по-бараньи глупых глаз. Дитё старшины катера Евгения Валентиновича Симкина — еще одного члена комиссии по жилищным вопросам — до половины урока валяло дурака: мастерило бумажных птичек и петушков, перемигивалось с хорошенькой Симой Терентьевой и не слушало урок. Поэтому на двадцатой минуте Нина Александровна прервала объяснение и очень тихо попросила:

— Симкин, встаньте-ка, пожалуйста! Спасибо, любезный!.. Покажите-ка тетрадь, из которой вы выдираете страницы для серийного изготовления голубей... Что? Из чистой! Позвольте-ка вам не поверить... Милый мой, не опуститесь же вы до того, чтобы я проверила все ваши тетради... Из какой же вы добываете строительный материал? Ну?!

— Из тетрадки по истории...

— Очень мило! Как раз по истории вы имеете тройку, приближающуюся к двойке... Может быть, вы хотите, чтобы я сообщила о сем факте преподавательнице истории — директору школы Белобородовой?

Симкин-младший перепугался до синюшности на щеках.

— Не надо, Нина Александровна! — жалобно вскрикнул он. — Я, чес-слово, больше не буду!

— Садитесь, Симкин... Пора повзрослеть!

Больше ничего интересного на уроке не произошло, новый материал был простейший, Марк Семенов болел, и Нина Александровна дала один из тех уроков, который про себя считала достаточно приличным, но отнюдь не блестящим. Два-три раза за весь урок она вспоминала об уходе домработницы Вероники, на мгновение мрачнела, но тут же, ведя математическое доказательство, забывала о коварной дезертирше. Однако как только прозвенел звонок с урока и наступила пора идти в учительскую, где могла оказаться англичанка Зимица, Нина Александровна так стиснула зубы, что почувствовала собственные скулы — монгольские, крепкие.

Школьный день между тем прошел нормально, так как Зимица в учительскую так и не заглянула, все другие преподаватели дипломатично помалкивали, но беда, как водится, одна не ходит, и часа через три, когда Нина Александровна вернулась домой, повстречавшийся на дворе Борька сообщил, что Сергей Вадимович пришел давно с работы и лежит на диване.

— Расхворался! — язвительно сказал Борька и посмотрел на небо. — Весна, мам, а он — на тебе! — расхворался!

Потом Борька скороговоркой сообщил, что может ходить за хлебом:

— Ты только давай мне за это на кино, мам, как Ваське, когда он бегаёт за керосином для керосинки... А Таежное, мам, все равно будет городом! Говорят, что Шпалозавод присчитают!

Сергей Вадимович лежал на старом диванчике, читал журнал, лоб у него был наморщен, губы сжаты, как у человека, сдерживаю-

щего боль, но как только Нина Александровна вошла в комнату, он обрадованно взревел:

— Тебя мне бог послал!.. Умираю от скуки, читаю прошлогодний журнал «Работницу», Борька дразнится слабаком... Утешь и развлеки. Хлеба и зрелищ! — Он живенько повернулся на бок, беззвучно хохоча, заявил: — А у тебя, слышать, тоже беда: ушла эта... ну, Вероника... В конторе от этого столпотворенья — подхалимы приходили выражать мне соболезнование, а плановик Зимин от страха передо мной заперся в туалете....

— Перестань паясничать, Сергей. Что у тебя с желудком?

— С желудком у меня предельно плохо, — ответил он насмешливо. — Налицо полный язвенный набор: опоясывающие боли, изжога, отрыжка и, кажется... кровь. Если она не следы викалина, который я жру пудами.

Нина Александровна присела на краешек дивана, пощипывая замерзшими пальцами ниточку на мохеровой кофточке, надолго задумалась... Муж снова лежал на животе, разглядывая прошлогодние моды... Цвет лица у него был обычный, глаза веселые, вид несерьезный, но уже было заметно, что он чуточку похудел. Ах ты мать честная!

— Надо лечиться, Сергей! — по-прежнему сердито сказала Нина Александровна. — Вот и Цукасов грозитя тебя упечь в больницу... Надо немедленно ложиться!

Сказав это, она опустила глаза в пол и вздохнула точно так, как иногда вздыхала домработница Вероника, — тяжело, по-бабьи, и мысли приходили печальные, встревоженные, расхристанные, словно Нина Александровна явилась в класс в халате. Почему все-таки у Сергея Вадимовича обострилась язвенная болезнь? Отчего он, работающий так хорошо и увлеченно, лежит на диване с опоясывающими болями? И почему, наконец, у него обострилась язва как раз в тот момент, когда их любовь была такой полной (простите за пышное и банальное выражение!)? Что бы это все значило? Почему у Сергея Вадимовича язва сама не зарубцовывалась, как это произошло с ним в студенческие годы? Возраст ли в этом виноват или что-нибудь другое? А?!

— Надо немедленно ложиться в больницу, Сергей! — резким тоном повторила Нина Александровна и почувствовала боль в сердце: укололо остренько и вкрадчиво.

— А балансовая комиссия! А открытие навигации! А новый дом! — закричал Сергей Вадимович. — Ты не блажи-ка, Нинка! Не могу я ложиться в больницу... А вот ты мне скажи, какой расфуфырой надо быть, чтобы носить вот такое платье? В трамвай не влезешь, в автомобиль не сядешь... В этой «Работнице» сотруднички умом тронулись!

Нина Александровна не слушала Сергея Вадимовича. Согрешаясь, затишившаяся, грустная, она медленно-медленно думала о том, что язва — это так плохо, что ни Сергей Вадимович, ни она сама еще не могут представить размеры бедствия. Обострение язвы, рассуждала Нина Александровна, это то самое, чего она боялась, чего, признаться, ждала и из-за чего полусумасшедшая ходила недавно к Серафиме Иосифовне на исповедь. Язва — это, если хотите, может быть началом конца...

— Надо немедленно ложиться в больницу, Сергей! — кукушкой повторила Нина Александровна. — Надо ложиться!

Сергей Вадимович точно ничего не слышал:

— И манекенщицы, скажу я тебе, пренекрасивые. Знаешь, как их называют мышинные жеребчики? Вешалками!..

Она чувствовала теперь постоянную тупую боль под сердцем, точно кто-то сдавил его шершавыми пальцами, хотя сердце у Нины Александровны было вполне здоровым: десять километров она пробегала легко за сорок восемь минут, бывая в городе, на пятый этаж безлифтного дома взлетала пушинкой; легкие в ее широкой груди были сильны, как кузнечные мехи, мускулы на руках и ногах — каменные, а вот сейчас сердце болело тупо и безнадежно.

— Нинка, не молчи! — взмолился Сергей Вадимович. — Используй речевой аппарат — это главное отличие человека от мира животных. Пардон! Я, кажется, мелю чепуху...

А она уже думала о другом: почему все-таки Сергей Вадимович за последние месяцы сделался неприлично красивым? Неужели она ошиблась, когда считала, что муж похорошел и помолодел от любви к ней? Но почему тогда язва у Сергея Вадимовича не зарубцовывалась, а, наоборот, обострялась? Ой люшеньки, Нинка Савицкая!

— Что подельывает Булгаков? — громко спросила Нина Александровна, чтобы действительно не молчать. — Я тебя спрашиваю, Сергей, что подельывает мистер Булгаков?

— О, с мистером Булгаковым что-то произошло! — торжественно объявил Сергей Вадимович. — Правда, он опять наколол меня на левой ошибулке, но с ним явно что-то происходит... Мне, видишь ли, пришлось произвѣсти перестановку в катерных командах, и я, мягко говоря, снял с катера старшину Немцова — хулигана, но булгаковского пажа. Немцов, естественно, на меня жалобу в профсоюз, а я, понимаешь ли, профсоюз легонько зажал... И, можешь себе представить, Немцов на этом успокаивается, а мне хорошие люди докладывают, что это Булгаков остановил Немцова... Слушай, а ты не знаешь, что случилось с мистером Булгаковым?

— Представления не имею.

Сергей Вадимович потешно заморгал, дрыгая ногами, докторским голосом произнес:

— Дорогие коллеги, я считаю своим долгом довести до сведения высокочтимого консилиума мое скромное мнение о том, что глубокоуважаемый пациент мистер Булгаков переживает климатерический период, видимо сыгравший некоторую роль в эволюции его психического стереотипа в направлении улучшения характера. Мою точку зрения подтверждают, глубокоуважаемые коллеги, такие факты. Первое: наш пациент уже более двух недель не посещал любовницу, второе...

Глаза Сергея Вадимовича, как у домработницы Вероники, сверкали по-опереточному, кожа на лице лоснилась и розовела, подбородок сделался нежным и молодым.

— Мистер Булгаков молодец! — ликовал больной, но красивый муж. — Такой молодец, что я его уже люблю и почитаю... Наверное, потому, что он испугался Ларина...

Нина Александровна сидела на уголке дивана в прежней позе: опустив глаза, пригорюнившись, вздыхая, думая о том, что произойдет, если им удастся получить новый дом. Нина Александровна уже, кажется, понимала, вернее предчувствовала опасность, тащущуюся в новом доме, хотя... Ну что может произойти? Что?

— Слушай, Нинка! — опять восторженно завопил Сергей Вадимович. — А ведь похоже на то, что Таежное переименуют в город У, как это важно для меня, черт побери! Слушай, а ты-то как относишься к этому вопросу?

Нина Александровна разговоры о переименовании Таежного в город считала бредом, но вспомнила, что городской перспективой

была чрезвычайно взволнована — вот уж неожиданность! — ее подруга Люция Стефановна Спыхальская, пришедшая три дня назад к Нине Александровне «на минуточку, дорогая Ни, всего на одну минуточку!». Однако уже по тому, как Люция Стефановна обивала снег с сапожек в сенях, как она то краснела пятнами, то бледнела, можно было заключить, что ее любовь к Мышице приближается к развязке. И все-таки, едва ступив на порог, Люция Стефановна состроила умиленное лицо, что портило ее.

— Есть радостная новость, Ни! — оживленно сказала она. — Та-ежное все-таки переименовывают в город! Значит, мы превращаемся в городских жителей... Ну, каково!

Интеллектуалке и эрудитке Люции Стефановне разговорчики на эту тему были так же противопоказаны, как умиленное выражение лица, но все это было ей нужно для того, чтобы скрыть состояние блаженства. Внешне Люция Стефановна переменилась разительно; где подростковая угловатость, где сутулость, где настороженный птичий взгляд? И куда, наконец, запропастилась знаменитая привычка расстегивать, крутить и застегивать пуговицу? Ничего из всего этого неджентльменского набора ныне не существовало, а ко второй сверху пуговице Люция Стефановна Спыхальская больше и пальцем не прикасалась по той простой причине, что под строгий, английского покроя жилет надела синтетическую нежную водолазку, которая туго-натуго обтягивала очень красивую грудь Спыхальской, придавая Лю отменно сексуальный вид, так что директриса Белобородова теперь только молча скрежетала зубами. Что она могла сказать против наимоднейшей одежды — водолазки?

— Я всего на минуточку, Ни! — повторила Люция Стефановна и покраснела пятнами. — Мне надо с тобой посоветоваться... У тебя же сегодня день начинается с третьего урока. Так, Ниночка?

— Проходи, Люция, в кухню, садись и не обращай на меня внимания: я сварю кофе.

Люция Стефановна осторожно присела на табуретку и тихонько свистнула:

— Тю, Ни, а у тебя отличная посуда!

— Посуда ничего. Хочешь курить?

— Пожужу.

Круглое и курносое лицо Спыхальской пылало от скрываемой бурной радости, глаза между тем запали, щеки посерели, и это шло ей, очень шло, когда Лю удавалось справляться с умиленной монашеской улыбкой. Она, естественно, была полна желания говорить о своем счастье, но к счастью не была приучена, даже, может быть, никогда раньше не испытывала его, и от этого походила на рыбу, которую поймали, поддержали на воздухе, а потом снова бросили в воду.

— Ох, Нинка,— задыхаясь, сказала она,— беспокоит меня твой Марк Семенов. В математике он, может быть, и гений, но безграмотен. Пишет умнейшие эрудированные сочинения, но оши-и-и-ибок... Тьма тьмущая, Ни!

Глядя на круглолицую, высокогрудую, плечистую и коренастую Люцию Спыхальскую, не верилось, что эта обская баба была самым начитанным, эрудированным и умным человеком в школе. Но сегодня, но сегодня... О каком там Кафке могла идти речь, когда сама Спыхальская сейчас была проще пятки, и Нина Александровна внешне почувствовала острую зависть. «Лю будет счастливой,— уверенно подумала она.— Стирать носки, снимать с Мышицы сапоги, укутывать его одеялом, баюкать, пичкать пельменями, говорить и думать только о муже — это Лю сумеет!»

— Я прямо не знаю, что делать с Марком! — продолжала блаженствовать подруга. — Может быть, ты посоветуешь ему позаниматься со мной дополнительно?.. Марк ведь никого из учителей, кроме тебя, не признает.

— Хорошо, я поговорю с Марком.

Голос у Нины Александровны, по-видимому, был таким холодным и суровым, что Люция Стефановна съежилась, несколько раз по-девчоночьи шмыгнув носом, замолкла, а Нина Александровна, перестав завидовать подруге, весело подумала о том, что это истинная правда: от счастья человек глупеет.

— Я рада за тебя, Лю, — спокойно и ласково сказала Нина Александровна. — Вы прекрасно уживетесь.

Люция Стефановна долго молчала, потом сказала тихо:

— Да, я до неприличия счастлива, Ни, прости! А вот с тобой что-то происходит... Что случилось, Нина?

— Ничего! — ответила Нина Александровна, так как не могла же сказать о том, что завидует Спыхальской, что тоже хочет испытывать счастье от стирки мужских носков, но вот не получается у нее это простое, как мычание, полное бабье счастье.

— У меня дела о'кей! — принужденно смеясь, сказала Нина Александровна. — Скоро мы с Сергеем получим новый дом.

...Вот какой разговор произошел у Нины Александровны с самым близким ей человеком несколько дней назад, и всего через три дня оказалось, что дела гражданочки Савицкой отнюдь не о'кей, а просто-напросто никуда не годятся. Надо бы хуже, да некуда! Лежал на диване больной муж, сын Борька понемножку да полегонечку собирался выбивать из матери деньги за выполнение обыкновенных обязанностей, Марк Семенов не вылезал из двоек по литературе, а в последнем письме матери была чудовищная фраза: «Я горжусь тем, что дочь пошла дальше меня. Сведущие люди в Ромске утверждают, что С. В. Ларин — первый кандидат на пост директора сплавной конторы. Я горжусь тобой, дочь!..» — почти по Лиле Булгаковой, не правда ли, товарищи!

— Нинка! — зарычал Сергей Вадимович. — Мне чи-риз-вы-чайно скучно. Прикоснись ко мне своим мощным интеллектом. Бога для прошу!

2

Быстрым шагом выйдя из дома, Нина Александровна удивилась той разительной перемене, которая произошла в мире за полтора-два часа. Видимо, был прав Борька, утверждая, что «на улице весна, а он болеет!». Уже на крыльце Нине Александровне в ноздри ударил хлебный и волнующий запах согревшегося на солнце снега, точно такой бывал в детстве, когда она ожидала от каждой весны счастья. Воробьи усыпали дорогу, словно маковые зернышки, на прясле соседнего дома сидели две непривычно смирные сороки — грелись на солнце; шла по дороге одинокая, одурманенная духом оттаивающей земли корова и так весело помахивала головой, как молодая лошадь в оглоблях легких дрожек. Да, здорово уже пахло весной! Впрочем, в Таежном это вовсе не означало, что так будет продолжаться и дальше. В прошлом году, например, на Первомай повалил снег, а в конце февраля того же прошлого года шел дождь.

В школе Нину Александровну ждала небольшая, но все-таки радость: директриса Белобородова, как выяснилось, в пух и прах разнесла англичанку Зимину за то, что та опоздала на урок на три с половиной минуты по часам директрисы; сколько Зимина ни клялась, что

ее собственные часы известной швейцарской фирмы поставлены по сигналам радио, доказать ничего не могла, а наоборот, довела директрису до иступления.

— Я вас вышвырну вон! — Белобородова размахивала перед носом англичанки коротким толстым пальцем. — Я давно к вам приглядываюсь, голубушка! Мне ваше низкопоклонство перед Западом давно претит, милая моя... Да, мы за мирное существование, но я не потерплю преподавательницу, которая не выписывает ни одной советской газеты, а все разные там «Саттердеи»! Так что запомните навек: эта-а школа работает по моим часам... И какого лешего вам опаздывать, если вы переманили у двух действительно занятых людей домработницу? Ведь у вас муженек — повар, посудомойка и поломойка. Зачем вам нужна домработница? Для престижа — вот для чего! Чтобы все было как в лучших домах Парижа и Лондона!.. Я до вас еще доберусь при случае — попробуйте-ка еще раз опоздать!

Немногие знали о том, что тайной мечтой директрисы была домработница. Однако семья Белобородовых-Карповых себе такой роскоши не могла позволить — недоставало денег, которые уходили на учебу сына в Москве и дочери в Ромске.

— Я вас приветствую, Анна Ниловна! — сказала Нина Александровна, когда директриса после звонка появилась в учительской. — А на улице-то веснища!.. Мне нужно с вами поговорить.

— Буду рада. Пожалуйста, в кабинет, Нина Александровна.

В кабинете директриса Белобородова сразу села на кончик стола — добрый признак, — оглядевшись и помигав, воровато закурила.

— Ну как дела, Нинка? Слышала, как я разделала на все падежи эту дуру стилиягу?

— Про стилиягу слышала, а вот дела мои вовсе не хороши.

— Что так? — несказанно удивилась директриса и даже забыла о папиресе. — У тебя, у Нинки Савицкой, плохо идут дела?! Расскажите об этом моей прабабушке.

— И все-таки...

В директрисиним кабинете во всю ивановскую светило теплое солнце, четыре желтых квадрата лежали на желтом полу, и в них кружились желтые пылинки; в кабинете пахло, как всегда, так сложно, что хотелось чихать, а огромный глобус на шкафу, казалось, медленно вращался, показывая меридианы и широты.

— Твой — молодец! — видимо, поняв причину визита Нины Александровны, энергично произнесла Белобородова. — Такого главного механика сплавной конторы, как твой, Таежное еще не знало. Ты мне на слово поверь: я в поселке абориген. Он истинный молодец, твой-то! И пьянчужек прибрал к рукам...

Теперь от директрисы Белобородовой надо было ждать маленькой или большой гадости, чего-нибудь такого, что должно было подпортить человеку настроение, но Нина Александровна не стала вооружаться, а только вздохнула.

— У Сергея Вадимовича появилась кровь и опоясывающие боли, — сказала она. — Он не хочет ложиться в больницу. Может быть, ты мне поможешь, Анна Ниловна, сволочь его к хорошему рентгенологу?.. — Она на секунду замялась. — Понимаешь, мне нет ходу в рай-больницу...

Директриса слезла со стола, аккуратно уместившись во вращающемся кресле, прежним энергичным голосом посоветовала:

— Ты вот что сделай, Нинуха. Ты наплой на всех врачей, а лечика своего капустным соком... Лучший капустный сок в поселке делает мать Серафимы Иосифовны, будь она неладна со своей вечной кормежкой! Вот ты и научись у нее делать сок да пои своего каж-

дый день вместо воды... Он у тебя за месячишко на ноги встанет!.. Ты почему молчишь?

— Да потому что Сергей Вадимович не хочет пить капустный сок.

— Как это не хочет?

— А вот не хочет, и все... Говорит, что ему смешна бабушкина медицина и язвѹ вообще не надо лечить...

Она прикусила язык, так как не могла, оказывается, объяснить директорисе Белобородовой способ лечения язвы, изобретенный самим Сергеем Вадимовичем. Ведь если бы она сказала, что муж намерен, как он шутил, лечить язву самоотверженной работой на благо любимой родине, Белобородова приняла бы это за неуместную шутку.

— Значит, не хочет пить капустный сок? — сердито спросила Белобородова. — И ты его не можешь заставить?

— Не могу и не хочу... Я вообще боюсь оказывать любое давление на Сергея Вадимовича...

Белобородова сосредоточенно курила, пускала в потолок сизые бесформенные клубы дыма и отчего-то казалась отсутствующей. Так она молчала минуты три, затем, глубоко вздохнув, потушила папиросу о плечо Нефертити — такая пепельница стояла на рабочем столе Белобородовой.

— Я понимаю тебя, — незнакомым голосом сказала Белобородова. — Какое давление ты еще можешь оказывать на мужа, если, и не желая этого, давишь на него одним своим присутствием... Мне это ок как знакомо, Нинка! Ты же ведь не думаешь, что я нарочно своего Карпова превратила в Белобородова. Бог мой! Что с тобой, Нинка?

— Ничего. — Нина Александровна усмехнулась. — Уж очень похоже мы с тобой мыслим, Анна Ниловна...

— Я об этом знаю давно... Ты еще подле своего на свадьбе сидела, а я уже думала: «Ох трудно будет Нинке!»

Миллиарды пылинки хороводились в солнечных квадратах, шелкивали старинные часы с кукушкой, глобус по-прежнему, казалось, вращался да вращался, а потом из-под шкафа взял да и вылез школьный кот сибирских кровей, с голубыми фарфоровыми глазами. Кота звали Васькой, он как огня боялся звонков и перед каждым из них, абсолютно точно чувствуя время, прятался в затишек; сейчас кот направлялся к дерматиновому дивану, под которым можно было пересидеть электрический звон.

— Кис-кис-кис, — машинально позвала Нина Александровна. — Вот он какой важный, этот кот Васька!

Когда кот, не вняв призывам Нины Александровны, спрятался под диван, Белобородова, торжественно распрямившись, сказала:

— Говори мне спасибо, Нин Александровна!.. Я своего уговорила собрать жилищную комиссию двадцать шестого марта. Вот будет тебе славный подарочек ко дню рождения!

Ожидая взрыва радости, директориса наклонилась вперед, чтобы понять, в каком масштабе благодарна ей Нина Александровна за содеянное добро, но Нина Александровна сидела неподвижно — все глядела и глядела под диван, куда забрался кот Васька, словно хотела спрятаться туда же. Тогда Белобородова тихо и серьезно сказала:

— Завтра же утащим твоего на рентген... Я буду не я, если Ларин не предстанет перед Каспарадзе!

3

Нейлоновая кофточка в темноте светилась голубым электрическим светом, от нее и от самой Нины Александровны летели искры. Вообще рентгенологический кабинет и мир были переполнены электричеством: утром в пальцах Нины Александровны слиплись листы

бумаги, за полчаса до этого Нина Александровна, прикоснувшись к плечу Борьки, почувствовала легкий укол, защелкал полиэтиленовый мешочек, в котором хранилась гречневая крупа, а вот сейчас, в районной больнице, электрические искры снопами летели от белого халата рентгенолога Каспарадзе — приятеля, собутыльника и поклонника первого мужа Савицкой... Замедленный, важный, ко всему безучастный, он курортным шагом прогуливался по кабинету, не замечая Ларина и Савицкую, вполголоса разговаривал сам с собой. При этом Каспарадзе время от времени делал отстраняющий жест обеими руками, словно на него надвигался тяжелый грузовик.

— Повышенной кислотности у Сергея Вадимовича нэт, пониженной тоже нэт, нулевая кислотность не проклевывается... Таким образом, я считаю язву, Нына, только и только нэрвического происхождения. Такие язвы довольно часто встречаются в наш нэрвический взк. Очень часто! Я бы даже сказал, слишком часто! А подумав, добавил бы: даже очень слишком часто!

Расхаживая, Каспарадзе шуршал халатом, в рентгеновском кабинете было темно, но Нина Александровна адаптировалась и видела, как халат Каспарадзе обрамляется голубыми искрами. Да, да! Весь белый свет был переполнен голубым потрескивающим электричеством, и только один человек был лишен электрического заряда — Сергей Вадимович Ларин, который полуодетый сидел на холодной белой кушетке, задумчиво почесывая умеренно волосатую грудь, вполуха слушал Каспарадзе. Электрического заряда в нем не было оттого, что, просидев в конторе день деньской, к вечеру он был весь разряжен, как старый аккумулятор. А Каспарадзе продолжал мыслить вслух и фланировать по кабинету:

— Я склонен присоединиться к мнэнию больного, утверждающего, что его труд не является источником нэрвического раздражения, а скорее всего способствует повышению тонуса.— Он отстранил ладонями невидимую опасность.— Конкретно говоря, я склоняюсь к тому, что нэрвический раздражитель находится вне сферы производственной деятельности больного, тем паче что он соблюдает диету даже в командировках... Я правильно вас понял, больной?

— Точненько! На плотбищах я ем только молочную пищу.

На Сергее Вадимовиче были забавно огромные и длинные сатиновые трусы, шелковая майка на спине продралась, волосы торчали в разные стороны; разглагольствования Каспарадзе он почти не слушал, ответив на его прямой вопрос, принялся с инженерным видом разглядывать рентгеновскую установку. Потом заявил:

— А установочка-то вполне современная. Я думал, что меня будут просвечивать на допотопной, а тут, понимаете ли, передовая техника из приятной мне соцстраны! Вот тебе и деревянный город Пашево!.. Так чего вы от меня добиваетесь, товарищ Каспарадзе?

— Я от вас добиваюсь согласия лечь в больницу, а от вашей жены трэбуется единственное: установить источник постоянного раздражения...

— Хорошо,— за себя и за Сергея Вадимовича сказала Нина Александровна и поднялась.— Спасибо. До свидания.

Когда Нина Александровна и Сергей Вадимович вышли из районной больницы, на дворе стояла уже настоящая весна и шофер дядя Коля похаживал вокруг «Волги» в одной клетчатой ковбойке, но в зимней шапке. Они сели в машину, дядя Коля взял с места большую скорость, чтобы не буксовать на раскисшей дороге, и вскоре приехали в Таежное, где Сергей Вадимович категорически объявил:

— Я пошел руководить одной из лучших в области сплавных контор. А ты?

— У меня сегодня отгул,— ответила Нина Александровна и попросила: — Возвращайся пораньше, Сергей.

— Бу сделано!

И, к удивлению Нины Александровны, сдержал слово: вернулся домой сразу после шести, но в каком виде! Простоволосый, мокрый, пахнущий талым снегом, в распахнутой на груди куртке. Еще в коридоре, снимая сапоги и вытирая полотенцем голову, он закричал, что новый дом готов к сдаче, что мистер Булгаков собственноручно провел осмотр и недоделок в работе строителей не нашел и что на дворе весна, настоящая весна.

— Если так будет продолжаться дальше,— буйствовал в коридоре муж,— то меня можно запросто считать уволенным. Понимаете, гражданочка, коли навигация начнется на десять дней раньше срока, то — пардон! — я к ней не подготовлен... Переквалифицируюсь в управдомы!

Последние слова Сергей Вадимович произнес, находясь уже в их общей комнате, от него валил пар, пахло бензином и соляжкой, по брови растекалось масляное пятно, руки были черные.

— Да, переквалифицируюсь в управдомы! Управдом, голубушка моя, это не баран начихал, не кот наплакал и не таракан... Я не знаю, чего он там такого не наделал...

— Не накакал! — закричал из своей комнаты Борька.

— Правильно, Борька! Молодца! Пятерка по литературе, двойка за поведение... Здравствуйте, товарищ жена!

Сергей Вадимович бросился в кресло, похохатывая, стал следить за тем, как Нина Александровна размышляет, что делать с Борькой — осадить или промолчать?

— Ты ему откуси ухо! — заговорщицки посоветовал он. — Очень помогает выращивать безматершинных детей.

Мазут на брови оттаивал, разжижался; бровь чернела и увеличивалась в размерах. Нина Александровна вынула из кармана нейлонового халата носовой платок, подойдя к мужу, осторожно вытерла бровь.

— Где это ты?

Сергей Вадимович привлек ее к себе, зашептал:

— Полумрак каюты, полненькая разнорабочая в замасленной спецовке, робкий голос, нежный поцелуй — и вот вам... мазутное пятно! А чего у тебя такие глаза, словно я попросил у тебя взаймы?

Нина Александровна зажгла торшер, смахнув пыль с журнального столика, села во второе кресло, прислушалась — за окном бушевал теплый южный ветер, который вторые сутки старательно осаживал сугробы снега, раскачивал деревья в палисаднике, разносил по поселку тревогу и радость весны. Сейчас ветер просительно царапался в оконные стекла, прохаживаясь по крыше, поскрипывал расшатавшимися от старости досками.

— Я хочу серьезно поговорить с тобой, Сергей! — сказала Нина Александровна. — Только, ради бога, не ерничай, а хоть десять — пятнадцать минут будь серьезен... Ну представь, что ты принимаешь из ремонта катер.

— Так ставите вопрос?

— Сергей, с тобой невозможно разговаривать! Ты хуже Борьки...

— Я, мам, хороший! — закричал за стенкой Борька.

— Ты еще не ушел в кино?

— Я, мам, уже одетый, вот только ремень застегиваю...

Когда сын, демонстративно громко прикрыв за собой уличные

двери, ушел, Нина Александровна опять прислушалась: тверденькие шаги Борьки простучали по крыльцу, зачилипали по раскисшему снегу, потом заскрипела калитка.

— Шопенгауэр где-то,— сказала Нина Александровна,— написал примерно следующее: тот человек не может быть счастливым, который дорожит мнением окружающих!

— Ты это к чему? — поразился Сергей Вадимович.— Ни по какой ассоциации до Шопенгауэра добраться не могу.

— Это я о себе,— без улыбки ответила Нина Александровна.— Оказывается, я так дорожу мнением окружающих, что мне до счастья так же далеко, как до Марса...

Борькины хлюпающие шаги давно стихли, ветер налетал на окна пробующими порывами, скрипел колодезный журавель, лаяла молодая нервная собака, доски на крыше постанывали да постанывали. Потом издалека — работал транзисторный приемник — донесся торжественный перезвон курантов: было всего семь часов вечера. «И чего это я так рано начала серьезный разговор?» — удивленно подумала Нина Александровна.

— Сережа,— осторожно спросила она,— а вот сейчас ты счастлив?

Сергей Вадимович бросил на Нину Александровну пораженный взгляд; она со страхом ждала, что он вот-вот скажет: «Так ставите вопрос?» — но Сергей Вадимович ответил серьезно:

— Да, Нина! Да, я счастлив!

Торчали на голове потешные вихры, ноги он подобрал под себя и сидел на стуле покорно — безулыбчивый сейчас, с мудро наморщенным лбом, подобранными губами, но все равно несерьезный: смеялись глаза и сами по себе двигались брови. Нина Александровна вздохнула.

— Если ты счастлив, Сергей,— настойчиво продолжала она,— если ты счастлив, почему же у тебя обостряется язва? Счастьем язву, естественно, не залечишь, но у счастливого человека по крайней мере она не должна обостряться...

Нина Александровна понимала, что говорит не то и не так, но остановиться уже не могла и медленно продолжала:

— Я виновата в твоей язве, Сергей! Думаю, что ты любишь меня, но вижу: ты всегда впадаешь в напряжение, как только появляюсь я... Не пытайся отпираться, Сергей, я же знаю, что если ты паясничаешь, то значит — напряжен до предела...— Она усмехнулась.— Одним словом, я тот постоянный раздражитель, о котором говорил рентгенолог Каспарадзе...

Нина Александровна остановилась, так как ей пришла в голову простая мысль: «А ведь у меня уже был несчастный муж!» Дальше этой мысли она пойти уже не могла и сидела с таким лицом, какое, наверное, бывает у путника, когда он стоит перед развилкой двух дорог: «Направо пойдешь — смерть найдешь, налево пойдешь — живой не придешь!»

— Будь добр, Сергей, ответить искренне, почему ты всегда говоришь: «Так ставите вопрос?» — когда я по субботам и воскресеньям утром подаю тебе кофе?

У Сергея Вадимовича задралась на лоб левая бровь, что он делал, как знала Нина Александровна, только на работе во время очень серьезных происшествий, и по Таежному уж разнеслись слова Симкина: «Если у Сереженьки Вадимыча лезет наверх левая бровь, тикай поскорее: разбушуется!» С главным механиком Таежнинской конторы такое случалось редко, но тем опаснее был Ларин с задранной на лоб левой бровью, и Нина Александровна, знающая гневное состоя-

ние мужа только понаслышке, невольно подтянулась, выпрямившись, почувствовала радостную надежду на что-то новое, очень нужное, такое же необходимое, как воздух. «Закричи на меня!» — попросила она Сергея Вадимовича повлажневшими глазами. И был момент, когда казалось, что это произойдет, но левая бровь у Сергея Вадимовича медленно опустилась.

— Ты бы увидела себя со стороны, когда несешь кофе,— сказал он.— Ты вся кричишь: «А я вот тебе кофе несу! Смотри, сама несу, не побоялась унижения, сама несу для тебя кофе!»

По улице проехал тяжелый и, судя по гулу мотора, новый грузовик, заворачивая в переулок, шофер резко перегазовал, и вместе с порывом алтайского ветра в комнату через открытую форточку проник запах бензинной гари.

— Это для меня открытие,— медленно сказала Нина Александровна.— Я-то думала, что моя физиономия тает от любви, когда я несу тебе кофе...

Она вовремя остановилась, так как произошло то, чего надо было ждать от Сергея Вадимовича: широко открывая рот и показывая тридцать два отменно здоровых зуба, он беззвучно хохотал. Прохохотавшись, Сергей Вадимович подошел к дивану-кровати, забрался на него с ногами и стал глядеть на Нину Александровну исподлобья, не мигая. В молчании прошло, наверно, полминуты, потом Сергей Вадимович сказал:

— Я люблю тебя, Нинка!.. Я здорово люблю тебя, баушка!

Баушкой муж называл Нину Александровну в лучшие минуты семейной жизни, но сейчас он поступил глупо и нетактично, сказав ей о любви и назвав баушкой. Ему надо было молчать, молчать и молчать.

— Я тебя тоже люблю,— сказала Нина Александровна.— Я тебя тоже люблю, Сергей, но ведь так жить нельзя... Я не ревную, Сергей, но твоя студенческая язва зарубцевалась, когда ты полюбил Ирину, а вот теперь...— Она поднялась.— Прости, я хочу побродить по улице... Мне надо побыть одной.

На дворе было уже совсем темно, потеплевшие тучи пенились над головой, на телеграфном столбе по-осеннему раскачивалась электрическая лампочка, и свет от нее то падал на лицо Нины Александровны, то уходил за ее спину. «Слабого мужчину я полюбить не могла, а сильные меня обходили!» — вспомнились ей слова знаменитой учительницы Садовской, и сразу же захотелось пойти к ней, и Нина Александровна, заранее обрадовавшись предстоящей встрече, пошла к дому Серафимы Иосифовны энергичным и ходким шагом, но скоро начала замедляться, подумав: «А не поймет ли Серафима Иосифовна, что я несчастна?» От этой мысли она совсем остановилась, отвернувшись от ветра, поняла, что ей действительно надо побыть одной, окончательно разобраться во всем, что навалилось на ее широкие и прямые плечи; она будет бродить в темноте, зайдет в самые отдаленные и узкие переулки Таежного и наконец выйдет на берег реки и сядет на широкий пень.

Пень на обском берегу был хорошо знаком Нине Александровне: она просиживала на нем часами, когда было трудно, когда не знала, что делать, как поступить; и вот теперь Нина Александровна опять сядет на одинокий пень, посидев полчаса в бездумности и покое, будет вынуждена принять решение, исключаящее все переходные ступени между да и нет. Уж такой это был пень, что на нем можно было принимать только кардинальные решения, и Нина Александровна сообразила, что сидение на широком пне заставит ее думать только об одном: жить с Сергеем Вадимовичем или уходить от него? Она

резко остановилась, точно налетела на преграду, немного постояв на месте, улыбнулась. «Разве я уйду от Сергея Вадимовича? — насмешливо спросила себя Нина Александровна. — Да нет, нет, я еще не уйду от него!»

— Заиграли, загудели провода... — чуть слышно пропела она.

Было темно совсем по-ночному. Очнулся и заговорил уверенным баском радиодинамик на парикмахерской, на поселковом Совете зажглась лампочка, освещающая вывеску и красный флаг; шли уже по тротуарам прогуливающейся походкой молодые люди в расклеванных брюках и девчонки в макси-пальто — почти все в польских лакированных сапожках, которые как-то в большом количестве завез отдел рабочего снабжения сплавной конторы. И все раскачивался, раскачивался фонарь на столбе возле поселкового клуба.

Валентина Сосина! Вот к кому надо идти Нине Александровне! Вот кто ей нужен сейчас! Прийти в щелястый, кособокий, тридцатых годов постройки барак, не раздеваясь сесть на грязную тяжелую табуретку, посмотреть на Валентину ласково и просто пожаловаться: «Плохи мои дела, Валька!»

Нина Александровна пошла быстро.

Валентина Сосина сидела на единственной грязной табуретке, курила махорку и — вот хорошо-то! — пришивала пуговицу к синей спецовке. Нину Александровну она вопреки ожиданиям попросила раздеться и сесть на кровать; улыбалась лихо, говорила простуженным басом, вообще была мила.

— А может, хочешь чаю? — спросила Валентина, опять берясь за иголку с ниткой и сгибаясь над спецовкой. — Так у меня чайник согретый...

Месяца два они не встречались, и за это время в комнате Валентины ничего не переменилось — стоял тот же комод довоенной пузатости, та же хлипкая этажерка, висел на стенке тот же довоенный черный и круглый репродуктор, а на Валентине была все та же юбка в складку.

— Как живешь, Нинка? — спросила она, не отрываясь от работы. — Говорят, двадцать шестого будет заседание комиссии... — Валентина ухмыльнулась. — Как ты жила вчера, я не знаю, а сегодня ты такая, словно хлопнула стопаря... Может, повторим?

— Спасибо, Валентина, но пить мне, кажется, не хочется.

Огромные мужские Валькины руки, черные от мороза и бензина, с иголкой обращались неумело и неловко, но пуговица все-таки была пришита, и только тогда Нина Александровна неторопливо заговорила:

— Черт знает как не хочется начинать об этом, Валентина, но мне пересказали твои слова. — Она поморщилась. — Сплетни, но... Правда ли, что ты сказала: «Савицкая подавится новым домом!»?

Откусив нитку, Валентина Сосина выпрямилась, потерев рукой уставшую поясницу, посмотрела на Нину Александровну полупрезрительно-полунасмешливо.

— Хреново, что ты отказываешься от водки, Нинка! — сказала она.

— Давай водку! — ответила Нина Александровна.

Валентина поднялась, повесив на гвоздь спецовку, вернулась к столу и широким движением руки сдвинула на край всю грязную посуду и остатки обеда; затем она вынула из больничной тумбочки едва начатую бутылку водки, два граненых стаканчика и кусок круто посоленного свиного сала со шкуркой; потом, поразмыслив, Валентина прибавила ко всему этому два больших стакана холодной воды.

— Я запиваю водку,— с прежней полупрезрительной-полунасмешливой усмешкой сказала она.— На фронте мы пили спирт, а его надо было запивать... А ты как, Нинка?

— Мне все равно.

В барачной комнате Валентины широкое окно было одинарным, и через стекла так отчетливо слышались уличные звуки, словно никакого окна вовсе и не было... По-прежнему шли по тротуарам модные люди, радиодинамик на парикмахерской пел что-то «трошинское», а лампочка на столбе, что стоял возле клуба, по-прежнему раскачивалась.

— Трахнем! — сказала Валька.— Где наша не пропадала!

Одним движением руки Валька выплеснула водку в широко открытый рот, после чего, по-мужицки крякнув, запила водой и укоризненно посмотрела на гостью: ну чего ты медлишь, Нинка? А Нина Александровна не торопилась оттого, что пьянела трудно и медленно, сам процесс опьянения ей был неприятен, так как водка не возбуждала, а, наоборот, затормаживала Нину Александровну, что было труднопереносимо — она не терпела в себе замедленных реакций. Опьянение ей напоминало дурной сон, когда хочешь дотянуть-ся рукой до чего-нибудь и не можешь.

— Шубка у тебя что надо! — сказала Валька.— Мне из твоего барахла ничего, кроме этой шубки, не нравится.

Шубу Нине Александровне подарил Сергей Вадимович к Новому году, когда получил большие премиальные и сам, без Нины Александровны в ромской комиссионке купил дорогой подарок, да еще и по моде: каракулевая шуба была длинной, как шинель. Может быть, поэтому она и нравилась Вальке Сосиной.

— Шуба ничего,— сказала Нина Александровна, наблюдая за подружкой.— Но я не привыкла к длинному: путается в ногах...— И вдруг предложила: — Давай выпьем еще!

— Ого!

Они выпили по второй граненой стопке, посидели немного молча, потом закурили — Валька Сосина папиросу «Беломорканал», а Нина Александровна достала из шубы сигареты. Она все-таки немножко опьянела. Звуки она теперь слышала так ясно и отчетливо, словно улица въехала в комнату Валентины, движения сделались длинными и протяжными, как в замедленной киносъемке, но голова оставалась ясной.

— Ты ешь сало, Нинка! — сказала Валентина.— Ты сейчас такая бледная, что, неровен час, брякнешься в обморок... Закуси.

Нина Александровна отрицательно покачала головой:

— Не хочу.

Въехавшая в комнату улица приобретала веселый бодряческий голос: переключались пижонскими баритонами молодые люди, смеялись девчонки, шло по дороге одновременно несколько машин, парикмахерский репродуктор передавал джаз, словно мокрый флаг, хлюпал в кустах палисадника весенний ветер — все вообще было такое, что поселок Таежное надо было на самом деле переименовывать в город, и Нине Александровне вдруг стало хорошо. Водка — кто мог ожидать этого! — внезапно, рывком притупила чувство боли в сердце, в котором саднило что-то и что-то сжималось, а вот теперь стало легко дышать.

— А, забрало! — засмеялась Валька Сосина и потерла руку об руку.— А я уж думала, что ты вовсе не пьянеешь, а только уходишь в бледность.

— Я пьянею, Валя,— длинными, протяжными словами ответила

Нина Александровна.— Я быстро сегодня пьянею и прошу тебя ответить на мой вопрос... Мне это очень надо, Валька!

Теперь было слышно, как на сплавконтторском рейде тоненько и зудно поет циркулярная пила. Это продолжали пилить кругляк для ремонта катеров, и визг пилы был связан с Сергеем Вадимовичем тем, что именно он решил установить собственную примитивную пилораму, чтобы иметь свой пиловочник, а не зависеть от лесозавода, на котором работал несимпатичный мужу директор Морозов, а сам завод находился в Тагаре.

— Мне это очень, очень надо! — повторила Нина Александровна.

Валентина поднялась, подойдя к окну, села бочком на широкий подоконник, на котором стояла герань в выщербленном горшке. Подумав, она поставила одну ногу на подоконник, на ногу взгромоздила локоть той руки, которая держала папиросу, и стала глядеть в окно. В молчании прошло минуты три-четыре, потом Валька, продолжая глядеть в окно, негромко сказала:

— Значит, насчет дома.— Она усмехнулась.— Ты им подавишься! Так что сплетня правильная...

Теперь с Ниной Александровной от выпитой водки произошло что-то такое, отчего она почти оглохла, но зато мысли сделались четкими и яркими, как утренняя трава. Ей вспомнилось что-то далекое, цветное, смутное, но очень важное для нее сейчас. Что это было, Нина Александровна сразу понять не могла, но на всякий случай запомнила видение и громко, сама себя слушая со стороны, спросила:

— Почему же, а, Валентина?

И не услышала ответа: такой была глухой от двух стопок водки и того, что произошло между нею и Сергеем Вадимовичем... Наверное, через минуту Нина Александровна поймала себя на том, что за руку прощается с Валентиной Сосиной, говорит ей какие-то добрые благодарственные слова, а потом, замедленная как черепаха, выходит из низкого барака, думая о том, что не надо было пить водку. Она говорила, видимо, следующее:

— Спасибо, Валя, за водку, благодарю за прямой ответ, но мне надо идти... Я опаздываю, Валентина. Я к тебе забежала только на минутку. Только на минутку...

На дворе Нину Александровну схватил в охапку сырой ветер, свет раскачивающегося уличного фонаря возле клуба опять то освещал, то затемнял ее лицо, и от этого было такое чувство, словно кто-то следил за Ниной Александровной: зажигал карманный фонарик в те мгновения, когда терял ее из виду, и тушил, как только находил. «Что же это такое цветное и яркое я видела?» — подумала Нина Александровна, продолжая шагать к дому, но вспомнить опять не смогла и дошла бы до дома безостановочно, если бы не услышала удивленный протяжный голос:

— Ни-и-и-на Алекса-а-а-ндровна, это вы? А я думаю, кто это такой знакомый...

Когда из темноты на Нину Александровну как бы навалилась громадная и медленная от вечерней важности домработница Вероника, Нина Александровна внезапно все вспомнила: цветное — это был рисунок в одном из тех журналов, которые Вероника украла у англичанки Зиминой и притащила в сумке вместе со щенком.

— Нина Алекса-а-а-ндровна, а я в школу пошла!

— Идите, идите, Вероника...

Не раздеваясь Нина Александровна вошла в кухню собственного дома, быстренько разобрав журналы, достала необходимый... Нет,

это был не рисунок! Увы, это был не рисунок, а цветная фотография, на которой изображались два голых человека, обращенных к объективу спиной. Взявшись за руки, они шли к воде, и было неизвестно, кто из них мужчина, а кто женщина, хотя на английском значилось: «Влюбленные»; кто-то из них был женщиной, кто-то мужчиной, но фигуры были одинаковыми — широкоплечими, узкобедрыми, длинными, плоскозадыми... В квартире было так тихо, что дом казался вымершим, и Нина Александровна отчего-то на цыпочках подошла к коридорному шкафу, сняла шубу, включив электричество, повернулась к зеркалу... В длинном холодном стекле отразилась высокая фигура, прямые плечи, узкие бедра и сильные руки с крупными пальцами. Далее имелись:

большой, мужской чеканки нос,
волевой подбородок с небольшой ямочкой,
мужская морщина между бровями,
квадратный решительный рот,
высокий лоб

и строгие глаза мужского цвета — карие.

Лицо у Нины Александровны, как она считала, было уродливым, но сейчас она настойчиво удерживала себя возле зеркала, разглядывала себя беспощадно и думала о том, что могла бы объяснить Валентине Сосиной, как Нина Александровна Савицкая «стала мужиком»... А московское студенческое одиночество, а характер матери, а боязнь навсегда остаться в крохотной обской деревне, а директриса Белобородова, а семь лет безмужней жизни, а математика, а школа, в которой работали всего четыре преподавателя-мужчины!

— Вот это новость! — прошептала Нина Александровна, так как обнаружила, что в комнате на кушетке под пестрым пледом спал Сергей Вадимович. Лежал он на спине, рот у него был беспомощно открыт, руки сложены на груди, и весь Сергей Вадимович был такой, что его хотелось гладить по головке и за что-то хвалить, как Борьку. Она осторожно подошла к Сергею Вадимовичу, присела на краешек дивана и начала внимательно и отстраненно разглядывать его хорошее, доброе, а главное — серьезное во сне лицо.

Нина Александровна расстелила многоспальный диван-кровать, переменяла пододеяльник, простыню и наволочки, потом осторожно притронулась к плечу мужа:

— Надо перелечь, Сергей.

Он проснулся сразу, как очень здоровый человек, открыв левый глаз, бодро сказал:

— Держись, Ларин: ваша жена пришла тяпнувши!

Она засмеялась:

— Ну и нюх!

— Профессиональный, начальничий! — похвастался Сергей Вадимович. — Тяпнувшего человека за сто метров чую, по коей причине мои мужички пить опасаются... Значит, есть команда передислоцироваться?

— Раздевайся и ложись...

В комнате горел двухрожковый торшер с зеленым и розовым абажурами, было тепло и тихо. Заколов волосы в пучок, Нина Александровна подошла к мужу, наклонилась и поцеловала.

— Взъерошенный! — медленно произнесла она, ложась рядом.

Согревая Сергея Вадимовича своим длинным телом и осторожно целуя его в висок, Нина Александровна думала о том, что у нее есть все, чтобы быть счастливой, но вот, обнимая и согревая мужа, она чувствовала, что ей хочется или заплакать, или оттолкнуть от себя Сергея Вадимовича, и понимала, что он догадывается об этом.

— Чего опять стряслось, Нинка? — на ухо спросил Сергей Вадимович. — Отчего ты такая твердая?

— От неудачной прически, — ответила она. — Ты полежи-ка неподвижно... Не двигайся, даже не дыши...

Где-то в глубине этого сильного мужского тела открылась крохотная язвочка — она обнимала человека, который пришел к ней здоровым, а вот сделался больным.

От Сергея Вадимовича пахло бензином и одеколоном «Шипр», шея у него была шершавая, живот был тугой, напряженный, к нему было боязно прижиматься.

Она поцеловала мужа нежно, медленно, так, что у самой от этого кружилась голова, а он все глубже зарывался лицом в ее длинную и горячую шею.

— Я люблю тебя, Сергей!

— И я люблю тебя!

Сквозь занавески на окнах пробивался уличный свет, прошли один за другим два автомобиля, свет от фар скользнул по полу, сломался на стене; потом, когда автомобили прошли, в комнате сделалось намного темнее, чем было раньше.

— Давай-ка спать, муженек, — сказала Нина Александровна. — Утро вечера мудренее...

И они сделали так, как она просила, — взяли да и уснули, а утром, когда Нина Александровна открыла глаза, у стенки, где спал муж, было пусто и холодно: Сергей Вадимович ушел на работу. А в кухне за столом сидел Борька, пил холодное молоко и читал Джани Родари.

— Доброе утро, Борис, — отнимая книгу, сказала Нина Александровна. — За едой читать нельзя. Я тебе об этом сто раз говорила.

Сын был уже совсем одет, волосы аккуратно расчесаны, костюмчик сидел на нем хорошо, и весь он был такой солидный, самостоятельный и воспитанный, что его захотелось погладить по голове. Однако Нина Александровна еще раз внимательно оглядела Борьку и строго спросила:

— Куда ты в такую рань собрался?

— Как куда!.. Я за хлебом.

Действительно, на спинке стула висела авоська, на краю стола лежал металлический рубль, а на ногах у Борьки были валенки, которые он надевал только по утрам, когда было холодно и никто из приятелей его в валенках встретить не мог.

— Молодец, Борька! — сказала Нина Александровна. — Ты только смотри, чтобы хлеб был свежим.

— Будь спок, ма! Меня на мякине не проведешь... Чего-чего, а хлеб-то покупать наловчился.

Он допил молоко, вытерев молочные усы с розовых губ, поднялся и неторопливо пошел к дверям — ловкий такой, коренастенький, крайне независимый.

Сын уверенными хозяйскими ногами протопал по коридору и сенцам, двери — те и другие — прикрыл осторожно, солидно, а потом его шаги замерли на крыльце: это Борька сквозь кухонное окно смотрел на мать, стоящую посередине кухни, и это был уж второй случай, когда сын незаметно наблюдал за матерью, и Нина Александровна знала, чем это объясняется, — Борька видел и чувствовал, что с нею происходит неладное.

...В опустевшем доме было тихо, как в ночном театре. Часов в кухне не было, наручные Нина Александровна оставила на тумбочке, и вот она услышала тишину раннего утра в Таежном. Это была глухая, тяжелая, вязкая тишина; она тихонечко обволакивала голые ноги, переползала на поясницу, затем поднималась к ушам, которые

медленно глохла. Казалось, что в тишине можно плыть, как в черном и густом мазуте. «Почему я не приласкала Борьку? — спросила себя Нина Александровна. — Мне ведь хотелось погладить его по голове!» Ей было зябко от черного кухонного окна, хотя Борька давно ушел за хлебом — его осторожные воровские шаги летуче проскрипели по крыльцу, калитка за сыном закрылась бесшумно.

4

26 марта погода снова начала поворачивать на зиму: небо сделалось по-южному высоким, просторным, сияло холодно. Воздух был неподвижен и сух, на реке голубели торосы, освобожденные от снега во время оттепели, голые деревья в палисадниках стояли прямо и неподвижно, промерзлые до стеклянного звона; сороки летали над поселком медленно, обманутые ранней весной. Термометр на внешней раме окна показывал минус двадцать три.

Комиссия по жилищным вопросам должна была собраться в одиннадцать утра, вопрос о новом доме шел в повестке дня последним, уроки у Нины Александровны в этот день начинались во второй половине дня, и она неторопливо перебирала свой гардероб, раздумывая, что надеть.

Из окна виделось высокое крыльцо поселкового Совета, и, таким образом, Нина Александровна могла следить за происходящим, продолжая раздумывать о наряде... Первым, конечно, важно прошагал на заседание киномеханик Василий Васильевич Шубин. Этот к поселковому крыльцу подошел с царским видом, папиросу у порога не бросил, а, наоборот, прежде чем войти в высокие двери, пустил густой клуб дыма. На нем был короткий приталенный полушубок, ярко начищенные сапоги и шапка-боярка. Второй торопливо пробежала Валентина Сосина — эта у крыльца задержалась, чтобы затушить папиросу. Валентина на ходу казалась тонкой, легкой, энергичной — это ее веселил морозец. За Валентиной Сосиной солидным рабочим шагом проследовал слесарь Альберт Янович — этот не курил и не останавливался, на высокое крыльцо поднимался точно в таком же темпе, в каком шел по дороге, — со стороны казалось, что Альберт Янович высокого крыльца не заметил.

После прихода Альберта Яновича события приостановились: никто больше не поднимался на поссоветское крыльцо. Таким образом, не хватало старшины катера Симкина, врача Боярышниковой, «железного парторга» Вишнякова и теперешней домохозяйки Петровой Пелагеи Петровны — три «п». Однако ровно в одиннадцать часов, вернее без нескольких секунд до одиннадцати, на крыльцо Таежнинского поселкового Совета начал подниматься «железный парторг» Вишняков. Одет он был, как всегда, в аккуратно залатанную шинель, кирзовые сапоги блестели, фигура была прямой, стройной, казалось, что идет очень молодой человек. Поднявшись на крыльцо, бывший парторг Тагарской сплавной конторы Вишняков ребром ладони провтерил положение на голове сине-зеленой армейской ушанки, решительно распахнув двери, с одного шага исчез в них. Теперь не хватало только врача, домохозяйки — три «п» — и старшины катера Симкина. «Плохо!» — подумала Нина Александровна, затем подняла телефонную трубку и попросила соединить ее с парикмахерской.

— Здравствуйте, Михаил Никитич! Не сможете ли причесать меня за полчаса?.. Вот спасибо!

Сделав окончательный выбор, Нина Александровна надела клетчатый джерсовый костюм, под него белую с вышивкой блузку, на ноги после некоторых раздумий натянула не очень новые и довольно низ-

кие сапоги. На это ушло минут восемь, а на девятой Нина Александровна уже шла в парикмахерскую.

— Еще раз здравствуйте, Михаил Никитич!

Седоволосый, высокий, стройный, выхоленный парикмахер учтиво наклонил голову, шурша жестко накрахмаленным халатом, отступил назад, словно посол могущественной державы... В Таежном парикмахер Михаил Никитич Сарычев работал лет сорок, вся жизнь его прошла в поселке, но он до сих пор, то есть до семидесяти восьми лет, сохранил московский выговор, был аристократичен и интеллигентен — этаким осколочек старой швейцарской Москвы с галунами и позументами.

— Милости просим!

Парикмахер любил разговаривать с Ниной Александровной о Москве, понимал, что она по-своему любила столицу, да и вообще преподавательница математики нравилась мастеру. Он уважал ее, ценил, и каждый приход Нины Александровны — она это видела — был для него радостью.

— Вы правы,— тонко улыбнувшись, сказал Михаил Никитич.— Перед таким мероприятием, как жилищная комиссия, надо причесаться по-деловому, но чуточку с вызовом... Не хотите ли опустить на лоб энергичную прядь?

Все это Михаил Никитич сказал еще прежде того, как Нина Александровна успела раздеться и сесть в кресло. Поэтому она благодарно улыбнулась Михаилу Никитичу, но с вызывающей прядкой не согласилась:

— Нет, нет, Михаил Никитич! Скромно и подчеркнуто аккуратно.

Парикмахерскую жизнь Михаил Никитич начинал в московских артистических уборных, потом случилось что-то такое, после чего ему пришлось переехать в Таежное и остаться здесь навсегда. Однажды Михаил Никитич рассказывал, что в молодости ему довелось стричь и брить Александра Федоровича Керенского, клиент был беспокойный — все вертелся в кресле и расспрашивал, не женат ли Михаил Никитич, хотя мастер уже раза три отвечал: «Не женат-с!» Одним словом, Александр Федорович Керенский Михаилу Никитичу не понравился, но зато мастер хорошо отзывался о миллионере Рябушинском: «Сам его не брил, не пришлось, Нина Александровна, а вот мой учитель стриг и брил неоднократно... Роскошный был мужчина, и волосы были толстые, как щетина! Зверюга!»

Сейчас Михаил Никитич осторожно и вкрадчиво похаживал вокруг Нины Александровны, отступая назад, прищуривался:

— Вы, пожалуй, Нина Александровна, злоупотребляете шампунем. Яичный шампунь хорош, но в умеренных дозировках... И вообще, Нина Александровна, позволю себе заметить, что волосы у вас... Ломаются волосы-то, Нина Александровна! — Он поджал губы, не решаясь на дальнейшее, через зеркало посмотрел в глаза клиентки и только тогда продолжил: — Позволю себе выступить в роли цыганки, Нина Александровна... В вашей жизни много хлопот в последние дни. Волосы меня обмануть не могут!

Нина Александровна уже знала, что по состоянию волос парикмахер Михаил Никитич мог определять не только душевное состояние клиента, но и состояние его здоровья. В Таежном помнили случай, когда Михаил Никитич диагностировал сахарный диабет у молодого инженера сплавной конторы задолго до того, как такой же диагноз установила районная больница.

— А сейчас вы довольно спокойны, Нина Александровна,— сказал Михаил Никитич, опять глядя на нее через зеркало.— По опыту восьмидесятилетнего знаю, Нина Александровна, что в бременной на-

шей жизни ничего не может быть по-настоящему важного. Все трын-трава, Нина Александровна, все трын-трава...

Тихонечно разговаривая, Михаил Никитич между тем делал Нине Александровне скромную, но красивую прическу. Он убрал волосы за уши, слегка подкоротил челку, после длительных раздумий начал собирать волосы на затылке в небольшой, но продолговатый пучок, а так как волосы у Нины Александровны были великолепные — длинные, густые и тяжелые, — парикмахеру легко удалось спрятать все то, что казалось нескромным, выглядело вызовом или наплевательским отношением к тем женщинам, чьих судьба не порадовала большим количеством волос.

— Если бы я не был парикмахером, я был бы, наверное, врачом, — осторожно продолжал Михаил Никитич. — Думаю, что в вашей жизни наступил переломный момент... Это я определяю, Нина Александровна, по состоянию волос. Трудно объяснить, где здесь зарыта собака, но пальцы чувствуют назревание важных событий... Дай вам бог всего наилучшего!

Голос Михаила Никитича действовал успокаивающе, как голос гипнотизера, руки прикасались к голове почти неслышно, не по возрасту молодежливое лицо с аристократическими брылами было переполнено уважением к Нине Александровне, выцветшие глаза любовались ею, и все это позволяло Нине Александровне слушать парикмахера рассеянно, к его словам относиться спокойно, думать о них медленно. Назревают в ее жизни события — пусть назревают! Посмотрим, посмотрим, какие это события и к чему они приведут. Главное — не торопиться, спокойно сидеть в кресле, слушать Михаила Никитича и наблюдать за тем, как ее лицо преобразуется, а все остальное действительно суета сует и всяческая суета...

— Я, пожалуй, должен согласиться с вами, Нина Александровна, — отступая назад, говорил Михаил Никитич. — Вы были правы, когда утверждали, что не надо пускать на лоб прядь с вызовом... У вас сейчас такое спокойное и волевое лицо, что прядка была бы чересчур... Весьма чересчур!.. Еще минуточку, Нина Александровна... Ну, кажется, все!

Михаил Никитич в последний раз отступил назад, приподнявшись на цыпочки, рассматривал прическу Нины Александровны через зеркало; склоняя голову то на одно плечо, то на другое и наконец взмахнул накрахмаленной салфеткой:

— Кажется, то, что надо, Нина Александровна!

Она на самом деле чувствовала, что готова к любым испытаниям и передрягам. Ее можно было бросать в горячую или холодную воду, оскорблять и целовать, увольнять из школы и назначать колхозным сторожем — ничто бы не вывело ее из теперешнего состояния холодного равновесия. Она стояла перед большим зеркалом и думала о том, что самое трудное позади.

— Все-таки хорошо быть женщиной! — насмешливо сказала Нина Александровна. — Стоит сделать удачную прическу — и кажется, что море по колено. Спасибо, Михаил Никитич!

— Рад всегда служить вам, Нина Александровна!

Выйдя на улицу и посмотрев на сияющее небо, Нина Александровна подумала, что погода сегодня тоже создана специально для нее — и это холодное высокое небо, и эти распятые на голубоватом фоне, звенящие от промерзлости деревья, и эта сквозная ясность горизонта, и этот хрупкий ледок под ногами. Все в мире было таким же холодноватым и подобранным, как сама Нина Александровна, все было таким же высоким, как она. И когда Нина Александровна здоровалась со

знакомыми прохожими, ей казалось, что она смотрит на них с высоты второго этажа.

- Здравствуйте!
- Приветствую вас, Николай Егорович!
- Здравствуйте, здравствуйте, Семен Павлович!
- Я приветствую вас, товарищ Холопов!

На часах было пятьдесят пять минут двенадцатого — это значило, что оставалось всего пять минут до приезда Сергея Вадимовича, и действительно ровно через те пять минут, которые понадобились Нине Александровне, чтобы добраться до поселкового Совета, на улице показался зеленый «газик». Машина шла на большой скорости, затормозив возле поссоветского крыльца, проехала несколько метров юзом, но не успела остановиться, как на землю прыгнул Сергей Вадимович, поддернув брюки, пошел к Нине Александровне, ругаясь на ходу:

- Черт бы побрал эту комиссию! У меня ни минуты свободного времени, а тут — комиссия!.. Здорово, жена! Не ругайся!.. Ого-го, какие мы серьезные и спокойные. Ты, часом, не обронзовела, Нинка?
- Перестань, Сергей, идем!

Войдя в парадные двери поселкового Совета, они попали в темноту и тишину, не сразу пригляделись к ней, а как только адаптировались, то Нина Александровна еле слышно свистнула — вдоль обеих стен коридора на стульях и скамейках сидели женщины, женщины и женщины. Ни одного мужчины не было в коридоре, не меньше десяти женщин, волнуясь и старея, чего-то ждали, ждали и ждали. Позабыв поздороваться, Нина Александровна торопливо оглядела присутствующих: все они были хорошо знакомы Нине Александровне, у большинства женщин она бывала дома, многим помогала достать сено или дрова, дети большинства сидящих в коридоре учатся или учились в разные годы у Нины Александровны. «Где же мужчины?» — снова подумала она и услышала, как за ее спиной Сергей Вадимович бодро проговорил:

- Здравствуйте, товарищи!

Нина Александровна тоже кивнула, но молча, и женщины сразу ожили, засуетились:

- Здравствуйте, Нина Александровна!
- Ой, здравствуйте, Нина Александровна!
- Нина Александровна, да вы садитесь, садитесь!

Молодые женщины поднялись, чтобы уступить место Нине Александровне, но директриса Белобородова была человеком дела и если уж давала обещание, то непременно выполняла его. Поэтому ровно в двенадцать часов — Нина Александровна даже не успела присесть на стул — открылась дверь комнаты для заседаний и тонкий голос секретарши прокричал:

- Товарищ Ларин, проходите, пожалуйста!

Комната для заседаний могла вместить человек двадцать — тридцать, не больше, от широкого и высокого окна она была светлой, розовые учрежденческие занавески были раздвинуты, и поэтому лица членов комиссии по жилищным вопросам исполкома поссовета были хорошо освещены. Все они еще не успели устать от заседания, были свежими, энергичными, и только домохозяйка Пелагея Петровна Петрова — три «п» — подремывала в своем укромном уголке. Она сидела в старенькой телогрейке, голова была так плотно укутана пуховым платком, точно в зале для заседаний стоял лютый мороз, а здесь было даже жарко: на лбу Валентины Сосиной поблескивал пот.

- Садитесь, товарищи!

Председательствовал на комиссии сам председатель поселкового Совета Белобородов-Карпов. Он был наряжен в новый темно-коричневый костюм с просторными брюками, галстук у него неожиданно оказался модным, так как Карпов донашивал широкие галстуки сороковых годов, которые теперь опять входили в моду. Лицо председателя было непривычно суровым, и Нина Александровна подумала, что, пожалуй, впервые в жизни видит Белобородова-Карпова не рядом с собой в президиуме, а из зала, то есть в начальственном по отношению к ней положении.

— Изложите дело! — энергично предложил Белобородов-Карпов секретарше, и та быстро затараторила: состав семьи, социальное положение, прежние жилищные условия и прочее и прочее.

Она тараторила и тараторила, но секретаршу никто не слушал, так как члены жилищной комиссии все это знали давно. Когда секретарша закончила, Белобородов-Карпов, холодно поблагодарив ее, въедливо проговорил:

— Не понимаю вас, нет, окончательно не понимаю! Как это вам взбрело в голову рассматривать вопрос в отсутствие второй стороны? Где товарищ Булгаков? Немедленно попросите войти товарища Булгакова!

В коридоре Нина Александровна и Сергей Вадимович бывшего механика сплавной конторы не заметили, где он ждал вызова, так и осталось загадкой, но появился Булгаков мгновенно, точно стоял у дверей.

— Здравствуйте, товарищи! — раскатыстым басом поздоровался он и, не согнувшись в талии, сел на свободное место. — Я к вашим услугам, товарищи!

На Булгакове был серый костюм модного покроя — явно влияние дочери Лили, — темная рубашка со светлым галстуком; щеки у Булгакова были выбриты до розовости, волосы расчесаны на пробор, и весь он был непривычно молодой, спокойный, важный, не суетливый.

— Изложите дело! — предложил Белобородов-Карпов.

Секретарша тем же нудным голосом и скороговоркой изложила суть заявления гражданина Булгакова, претендующего на ту же квартиру, что и теперешний главный механик сплавной конторы, и села на свое место, а председательствующий начал медленно, со значительным лицом рыгаться в бумагах, что-то шепча и улыбаясь самому себе. Все остальные члены группы молча глядели прямо перед собой — думали свои думы. Нина Александровна наблюдала за ними...

Член комиссии Валентина Сосина сидела у торцевой части стола для заседаний, курила папиросу «Беломорканал», уголки губ у нее были опущены, глаза непонятно поблескивали. Валентина Сосина сегодня поднялась в половине седьмого, умылась в студенческом общежитском коридоре холодной водой, выкурила натошак две папиросы, затем торопливо позавтракала чаем, большим куском свиного сала и копченой колбасой. В семь пятнадцать Валентина вышла из дома, в половине восьмого была на дворе мехмастерских, где получила от бригадира задание перенести на катер № 39 две бухты троса, набор новых инструментов и другую мелочишку; выполнив это задание, Валентина Сосина тем же бригадиром была направлена на катер № 16, где ей пришлось ручным насосом около часа откачивать воду из трюма. После этого Валентина торопливо побежала домой, надела праздничную одежду довоенного фасона и прибежала на заседание комиссии. Она так намерзлась, что не вытирала потный лоб — блаженствовала.

Члена комиссии домохозяйку Пелагею Петрову ввели в состав комиссии еще в то время, когда она работала поваром

в орсовской столовой. Вскоре ушла на пенсию и сегодня, в день заседания, поднялась ровно в шесть, зная, что ее муж Иннокентий Егорович Петров, старшина катера № 4, неохотно ест хлеб государственной выпечки, подбила квашонку, растопила громадную русскую печку и примерно к семи часам подала на стол пшеничные калачи, теплые и пахнувшие на весь дом осенью и солнцем. Муж Пелагеи Петровны в эти дни ровнешенько ничего не делал, так как его катер давно был отремонтирован и приведен в образцовую готовность, но к семи часам он проснулся, минут пятнадцать просидел на дворе в дощатой уборной, минут десять постоял на крыльце, разглядывая утреннее ясное небо, и, таким образом, за стол сел в половине восьмого. За завтраком муж мало разговаривал с Пелагеей Петровной, но дал ей задание купить папиросы и бутылочку постного масла — для чего ему понадобилось масло, неизвестно, — а потом снова лег в постель, так как ему, мужу, предстояла навигация, в течение которой он несколько месяцев подряд будет недосыпать. Как только муж спокойно уснул, Пелагея Петровна рысцой побежала в орсовский магазин, купила селедку, мыло, килограмм сахара-рафинада, бутылочку постного масла и папиросы. Затем она вернулась домой, торопясь и нервничая, пробежала в третью комнату дома, где все еще спала младшая дочь Людмила — ученица десятого класса. Разбудив Людмилу и протянув ей школьную форму с пришитым белым воротничком, Пелагея Петровна бросилась в сенцы, так как в хлеве замычала корова, у которой кончилось сено. Петрова собралась уж было переодеться в праздничное, как явилась старшая дочь, что жила отдельно и была замужем за речником; пришлось заняться дочерью — выслушать длинный рассказ о муже, потом искать в сундуке какую-то старую фотографию дочери, которую она для чего-то хотела показать своему речнику. Когда дочь ушла и, казалось, можно было уже отправляться в поссовет, взял да и проснулся муж Иннокентий Егорович. «Мать, дай-ка кваску! — потребовал он. — Изжога у меня — хоть реви!» Пока муж пил квас, Пелагея Петровна стояла рядом, а потом сказала, что кончились деньги, мяса на завтра нет, на что муж, опять валяясь в кровать, сонно ответил: «А я тебе не фабрика Гознак». Одним словом, пришлось перехватить десятку у соседки, на что ушло опять время — целых полчаса, так как соседка деньги всегда давала в разговоре о том да о сем. Поэтому Пелагея Петровна на заседание опоздала на двадцать минут, так и не успев позавтракать.

Член комиссии пенсионер Вишняков так усердно занимался общественными делами, нес так много добровольных нагрузок, что по инерции — кто много работает, того и нагружают — сделался еще и членом жилищной комиссии. В день заседания «железный парторг» Вишняков поднялся примерно в семь, сделал получасовую зарядку на открытом воздухе, после зарядки пробежал легкой рысцой с километр по главной улице поселка, затем позавтракал жареной картошкой со свининой, выпил два стакана очень крепкого чая и внимательно прочел первые страницы газеты «Правда». На последнюю страницу он едва взглянул — пустяки, несолидность! На чтение ушло полтора часа, и уже около девяти Вишняков неторопливо, но емкой армейской походкой направился выполнять общественные поручения. В том же самом поссовете, где Вишняков сейчас заседал, он взял у секретарши свиток типографских плакатов и начал расклеивать их по Таежному. Типографские плакаты имели жутковатый цвет, на них были изображены грязные руки, на которые лилась щедрая струя воды, а над струей и пересекая ее было написано: «Мойте руки перед едой. Этим вы предохраните себя от инфекционных заболеваний». Вишняков плакаты расклеивал густо и на самых видных местах. Раз-

весив плакаты, пенсионер Вишняков за полчаса до начала явился на заседание комиссии.

Член комиссии слесарь Альберт Янович поднялся в семь, позавтракал яичницей с сыром, овсяной кашей, выкурил трубку хорошего табака, потом неторопливо пошел на работу, соображая по пути, с чего начать день. Шагать ему до мехмастерских было далеко, но Альберт Янович об этом не жалел, так как у него на плече висел транзистор «Спидола», настроенный на Ригу. В родных местах дела шли хорошо, и как раз у дверей механических мастерских Альберт Янович принял решение заняться непонятым стуком мотора у катера № 29. Под звуки родной речи ему показалось, что он понял причину стука: барахлила шестерня распределительного вала. Он оказался прав, и примерно в половине одиннадцатого шестерня с выщербленными двумя зубцами была извлечена из кожуха. За все это время слесарь-виртуоз Альберт Янович произнес два слова и одно предложение. Два слова были сказаны жене — «здравствуй» и «спасибо», предложение было произнесено в телефонную трубку и предначалось начальнику мехмастерских: «Иван Семенович, не надо иметь голову, чтобы утверждать, что у двадцать четвертого пошли к чертовой матери коренные подшипники!» После этого Альберт Янович неторопливо отправился в поселковый Совет и занял свое место за пять минут до начала заседания. Он, Альберт Янович Юрисон, был известен как великолепный работник не только в родной сплавконторе — большой очерк о нем был опубликован в газете «Советская Россия».

Член комиссии старшина катера Симкин поднялся около восьми утра здоровый и бодрый, так как полтора месяца назад его вдруг вызвал к себе главный механик сплавконторы Ларин, ничего не объясняя, властно распорядился: «Будете работать с Альбертом Яновичем Юрисоном! С моторами вы знакомы, а чего не знаете — есть Альберт Янович. Приступайте, пожалуйста, к работе». Так было покончено с зимней спячкой, одолевавшей старшину Симкина... В это утро он быстренько расправился с обычным завтраком — яичница с салом — и побежал в мехмастерские, где Альберт Янович молча показал ему на головку блока цилиндров, что означало: притирай клапаны! Работа была занудная и долгая, но Симкин ретиво взялся за дело — так надоело быть неприкаянным. Однако не прошло и получаса, как старшину Симкина окликнула курьерша из конторы, которая потребовала, чтобы он срочно явился к директору. Оказалось, что с помощью опытного навигатора Симкина директор хочет уточнить некоторые детали нового фарватера на заштатной речонке; они еще беседовали, когда в кабинет ворвался главный инженер и тоже обратился к Симкину за советом — этого интересовала еще одна река, похитрее. Симкин ответил на все вопросы, разъясняя обстановку на реках, понял, что директор и главный инженер не ожидали такого подробного знания, почувствовал, естественно, приподнятое настроение, с которым и покинул кабинет. Выйдя на крыльцо, старшина Симкин насвистывал непонятное и думал о том, есть ли в чайной местное, пашевское пиво. Он так и не решил, идти ли в чайную, как на «газике» подъехал главный механик Ларин, увидев Симкина, весело поздоровался с ним и мгновенно скрылся в здании. И Симкин твердо решил сам не зная почему все-таки разведать насчет пива. В чайной оно было, и Симкин медленно, наслаждаясь, выпил кружку, после чего неторопливо пошел в поселковый Совет и теперь сидел за столом особняком, чтобы не дышать на соседей. По Симкину было видно, что ему все нравится на заседании.

Член комиссии киномеханик Василий Шубин

право заседать в ней получил только по той причине, что его склонность к демагогии, «правдоискательству», умение говорить принимались людьми за благо; многим казалось: именно такие люди и должны сидеть на заседаниях в самой большой комнате поселкового Совета... В день заседания комиссии Василий Шубин проснулся в постели — шел десятый час — своей новой подружки, квартирующей у глухонемой старухи на самой окраине поселка. Подружка работала в орсовской столовой, и ее, конечно, дома не было, зато на спинке стула висел выглаженный и вычищенный костюм Василия Васильевича. На левом же плече пиджака лежала записка, составленная из круглых букв: «Васичек, я в тебя влюбленная по гроб жизни. Я всю ночь проплакала возле тебя, какой ты у меня красивенький и хорошенький, что твою жену всю испрокляла. Завтрачек я тебе накрыла на кухоньке, ты поешь, Васичек, колбаски сервилад! Сильно в тебя влюбленная Галенька. Приходи поскорее, Василь Васильич. Обратнo твоя Галя». Неудовольно пощурившись на записку, Василий Васильевич неохотно поднялся с постели, влез в халат, специально купленный для него, умылся, затем, не снимая халата, на глазах у глухонемой домохозяйки позавтракал. Шел он от дома любовницы открыто, всем показывая, как он доволен жизнью, и на лице Василия Васильевича было написано дерзкое: мы свободные люди! На заседании он сидел тоже особняком, положив ногу на ногу.

Член комиссии врач-терапевт Альбина Семеновна Боярышникова не успела надеть хрустящий от крахмала халат и причесаться, как из приемного покоя больницы прибежала молоденькая сестра, не привыкшая еще к болезням и смертям, скороговоркой сообщила о поступлении в больницу Григория Викторовича Счастливого. Фамилия больного у Альбины Семеновны была на слуху, он попадал в больницу второй раз, и можно было опасаться инфаркта. Григорий Викторович Счастливый лежал на спине, прижав обе руки к груди, лицо было испуганно-жалким, лоб покрывал рясный пот, от боли он громко стонал — это были признаки стенокардии, но и инфаркт миокарда не исключался. По распоряжению Альбины Семеновны молодая сестра ввела больному внутривенно смесь дибазола, папаверина и морфия. Примерно минут через пятнадцать Григорий Викторович почувствовал облегчение, его на медицинской каталке осторожно отвезли в палату, сделали срочную кардиограмму, которая не показала признаков инфаркта, но это вовсе не значило, что опасность позади, — приступ мог повториться в самой опасной форме. Когда больной уснул, Альбина Семеновна назначила возле него индивидуальный пост наблюдения, сделала дальнейшие лекарственные назначения и оформила историю болезни. Перед тем как уйти на заседание комиссии, она еще раз навестила больного — ухудшения не было, больной продолжал спать, но и это не успокоило Альбину Семеновну. На заседании комиссии она сидела на том конце стола, где был телефон...

...Секретарь поселкового Совета, прочитав все о Булгакове и его семье, захлопнула папку-скоросшиватель, облегченно вздохнув, села на свое место подле Белобородова-Карпова, который, наоборот, поднялся и постучал карандашом по пустому графину:

— Прошу высказываться, товарищи!

И наступило великое молчание. Облизывала губы острым кончиком языка домохозяйка Пелагея Петровна Петрова, загадочно усмехалась согревшаяся Валентина Сосина, с надменно задранным подбородком сидел помощник киномеханика Шубин, блаженствовал старшина катера Симкин, ничего не выражало и без того непроницаемое лицо слесаря Альберта Яновича, поглядывала на телефон врач-терапевт Альбина Семеновна — никто не хотел выступать первым, ведь перед

членами комиссии сидели такие люди, как главный механик сплавной конторы Ларин, бывший механик Булгаков и пришедшая вместе с мужем преподавательница математики и физики Савицкая. Итак, все молчали, а председательствующий Белобородов-Карпов, еще раз порывшись для виду в каких-то бумагах, начал заниматься любимым делом в президиумах: шептаться оживленно-важно с соседом слесарем Альбертом Яновичем, который, само собой понятно, молчал.

— Так кто будет выступать, товарищи?

Нина Александровна и Сергей Вадимович сидели в первом ряду, как на скамье подсудимых, а предусмотрительный Булгаков, умеющий садиться именно там, где надо, устроился выгодно — сидел спиной к окну, то есть так, что его крупное лицо было в тени. Сергей Вадимович вел себя обычно — несерьезно улыбался, незаметно толкал жену локтем в бок и в несерьезности доходил до того, что напевал сквозь зубы любимое: «Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда!» Нина Александровна улыбалась сдержанно, пожалуй даже суровато; новая прическа, специально придуманная для заседания парикмахером Михаилом Никитичем, была ей к лицу, а главное — делала Нину Александровну внешне мягкой, покладистой, домашней.

Закончив одностороннюю многозначительную беседу со слесарем Альбертом Яновичем, председательствующий Белобородов-Карпов опять поднялся, постучав без нужды карандашом по пустому графину, спросил:

— Долго будем отмалчиваться, товарищи? Ну хорошо! Придется воспользоваться опытом прошлых заседаний... Я думаю, что товарищ Шубин, как всегда, откроет прения... Прошу вас, Василий Васильевич!

Похожий на бронзовую статую помощник киномеханика повернулся к Нине Александровне, осмотрел ее с головы до ног, сделал такое лицо, на котором опять читалось: мы свободные люди!

— Хорошо, товарищи! — густым басом сказал крохотный Шубин. — Возьму я слово... Только прошу разрешить резервировать две-три минутки для обдумывания формулировок. Шубин слов на ветер не бросает!

Никто не отозвался, и Нина Александровна подавила нервную зевоту, так как заметила, что члены комиссии не только отделены друг от друга непонятной неконтактностью, но не имеют никакой связи с председательствующим и теми людьми, заявления которых разбирают. Сидели разные люди, независимые друг от друга, и неторопливо думали о том, как поступить с новым трехкомнатным домом, — наверное, это было естественно и правильно.

— Я имею вопрос номер один, — неожиданно для всех глухим и невыразительным голосом заявил Альберт Янович. — Сколько лет жена товарища Ларина работает в нашем поселке?

— Восьмой год, — ответила Нина Александровна.

Слесарь удовлетворенно кивнул.

— Вопрос номер два я буду задавать несколько позже.

И опять наступила тишина, тревожная, шелестящая, толстая, словно комната для заседаний была до отказа нафарширована ожиданием и тревогой. Бывший главный механик сплавной конторы Булгаков поправил узел галстука, затем вытащил из рукавов манжеты праздничной рубашки.

— У меня вопрос, — хрипло произнесла Сосина. — В поселке говорят, что домработница ушла от Савицкой... Это правда?

— Она уже вернулась! — ответила Нина Александровна. — Она вернулась, так как прописана на моей жилплощади...

— Это мы знаем! — усмехнулась Валентина. — По блату пропи-сали, через начальника милиции...

Однако и это не оживило остальных членов комиссии — сидели неподвижно, как сфинксы, думали свое особое, непонятное, на Ларина, Савицкую и Булгакова не обращали внимания. Минуты через две-три послышался тяжелый вздох:

— Зарплата у них хорошая.

Эти слова, казалось, нечаянно вслух произнесла домохозяйка Пелагея Петровна Петрова, думая о Сергее Вадимовиче Ларине, который действительно был высокооплачиваемым работником да еще получал полную северную надбавку. После этого молчание сделалось еще более тяжелым, и Нина Александровна подалась вперед, чтобы лучше разглядеть выражение лица Валентины Сосиной — неужели на нем, кроме презрения, не было ничего другого?

— Да здравствует Таежное и его окрестности! — толкнув жену в бедро, прошептал Сергей Вадимович. — Мне здесь все нравится!

Подумав, Нина Александровна усмехнулась, так как действительно было что-то волнующее в этой обособленности друг от друга членов комиссии, в их неконтактности с теми людьми, которые сейчас были просителями; было что-то величественное в той раскрепощенности, с которой члены комиссии позволяли себе молчать, ни с кем не считаясь.

— Мой резерв времени закончился! — торжественно произнес второй киномеханик Шубин и поднялся. — Я хочу иметь слово, как все обмозговал...

От надменности он смотрел на люстру с дешевенькими стеклянными подвесками, а короткие руки сложил на груди; смотрел Шубин на люстру брезгливо.

— У меня, товарищи, вот такой процессуальный вопрос, — шепотным от многозначительности голосом проговорил он. — Ставлю ребром! Почему на заседании присутствует тов. Савицкая? Хочет воспользоваться, что депутат райсовета? Или, с другой стороны, представляет свой авторитет? — Он победно вскинул руку. — Считаю вопиющим нарушением демократии дальнейшее ведение в присутствии тов. Савицкой, которая заявления на квартиру не подавала. — Шубин угрожающе прищурился. — Еще надо разобраться, какая налицо имеется мухлевка и преступная хитрость, что жена этого... как его? Ах, Ларина! Какая хитрость, что означенная жена заявления не подавала?.. Считаю, что тов. Савицкая здесь имеет свой расчет. Она без этого не живет!

Отговорив, помощник киномеханика напрочь отключился: разглядывал люстру с таким выражением лица, точно они в зале были вдвоем — люстра и Василий Васильевич Шубин.

Нина Александровна усмехнулась, подумав, что самым несвободным, зависимым членом жилищной комиссии был именно второй киномеханик Шубин, впавший от безделья и чудовищного себялюбия в шутовство. И, конечно, как только он смешал с грязью ее, Нину Александровну, все поняли, чего стоит Василий Васильевич. Нина Александровна, например, заметила, как по-бабьи печально покачала головой домохозяйка Петрова, как брезгливо поморщился слесарь Альберт Янович и какими «фронтowymi» глазами посмотрела на Шубина бывший снайпер Валентина Сосина, а врач Альбина Семеновна оторвала взгляд от черного телефонного аппарата и посмотрела на Шубина словно на больного.

Обстановка на заседании была не тяжелой, а просто-напросто катастрофической, и, наверное, только человек с характером и привычками Нины Александровны мог неторопливо размышлять о Шубине и одновременно дотошно следить за членами комиссии... Что же касается председательствующего Белобородова-Карпова, то он

на мгновение потерял величественность, растерялся и все почему-то старался поймать взгляд Шубина, по-прежнему надменно рассматривающего люстру. Он, Белобородов-Карпов, никогда не задумался бы над вопросом, почему на заседании присутствует Савицкая. Это во-первых, а во-вторых, он бы легче пожертвовал пальцем, чем решил-ся показать на дверь самой Нине Александровне.

— Товарищи, а товарищи,— между тем, бодрясь, говорил председатель,— дорогие товарищи!.. Продолжаем работу, продолжаем!

«Сначала я посмотрю на Сергея, а потом обмозгую, почему, на самом деле, потащилась на заседание»,— подумала Нина Александровна, незаметно скашивая глаза на Сергея Вадимовича. Благословенный муженек обмирал от восторга, привскакивал на стуле и колебался, как воздушный шарик на короткой нитке, и подобно председателю Белобородову ловил взгляд кинемеханика Шубина. «Ах молодец, ах отчаюга, да как же ты осмелился, такой крохотный?! Ну молодец! Ну молодец!» — вот что было написано на лице главного механика Таежнинской сплавной конторы, сильного и значительного человека, спортсмена и умницы, наверняка будущего директора сплавконторы, начальника отдела комбината, может быть, управляющего комбинатом и — чем черт не шутит! — министерского работника.

Уж самой-то Нине Александровне надо было понять, почему мартовский ветер занес ее на совещание. Ну-с, отчего же все-таки? А ни с чего! Взяла и зашла, зашла естественно и просто, как занимают место в президиуме имеющие право и облаченные властью люди. Нине Александровне и на ум-то не пришло, что ей н-е-л-ь-з-я присутствовать на заседании группы, не подумала — и баста!

Белобородов-Карпов энергично встал, поднял руку.

— Будем голосовать, товарищи! — прежним властным голосом произнес он.— Поступило предложение товарища Шубина проводить заседание только в присутствии непосредственно заинтересованных лиц. Кто за? Кто против? Проголосуем, товарищи!

Стекла в зале для заседаний подрагивали — по улице проезжала колонна тяжелых лесовозов; заглядывали в окна по-полуденному рассеянные солнечные лучи, западный край неба сиял как бы летней прочищенной голубизной; к левому окну зала для заседаний доверчиво прижималась голая черемуховая ветвь с коричневой корой, перламутровой от холода; на фоне соседнего окна пошевеливалась черная прямая тень бывшего главного механика Булгакова.

— Зарплата у них хорошая,— опять вздохнула домохозяйка Петрова и после паузы задумчиво добавила: — Я седни не хотела бежать на заседанье, дел было невпроворот, но в магазин-то пошла кой-чего купить, так бабы в очереди меня все как одна застыдили, когда узнали, что идти-то не хочу. «Иди, говорят, да иди, там учительшу будут разбирать... Доколь ей вчетвером в одной комнатенке мучиться, когда она такая работающая!.. Иди да иди!». Вот я и пришла...— Она в третий раз вздохнула, задумалась.— Вот я и пришла, хотя в доме черт ногу сломит... Я так думаю, граждане, что квартиру-то надо Нине Александровне отдать... Она уж такая заботливая, уж такая работающая и отзывчивая, что ее весь народ в поселке любит... Меня бабы изведут, ежели мы дом Булгакову отдадим...— Домохозяйка Пелагея Петровна Петрова медленно повернулась к бывшему главному механику, вытерев пальцами уголки рта, поклонилась ему.— Ты уж не обессудь нас, Григорьевич, но дом-то надо учительше отдавать... Ты сейчас в трех комнатах живешь при трех человеках, а тут еще и ванну захотел. Не по правде!.. Ты свое сладкое прожил, дай хорошей женщине на ноги встать... Ей и так в жизни солоно пришлось... Так что надо дом отдать учительше, так я думаю...

После этого домохозяйка Петрова поняла, что говорила чересчур длинно и смело, что она, сама от себя этого не ожидая, произнесла целую речь, и поэтому вдруг смутилась:

— Вы меня простите, товарищи, за такую длинную речь. Это я, поди, с непривычки...

Когда домохозяйка обескураженно замолчала, Нина Александровна заметила, что Сергей Вадимович напряженно глядит на нее, Нину Александровну, словно не узнает, словно на чужую. От этого она почувствовала остренький укол в сердце — всегда такое здоровое! — и торопливо перевела взгляд на слесаря Альберта Яновича, островок спокойствия, и наткнулась на неожиданное: знаменитый слесарь смотрел на нее по-отцовски мягкими и нежными глазами.

— Товарищи, внимание, товарищи! — радостно протрубил председательствующий. — Поступило новое, я бы сказал, неожиданное предложение. Прошу его хорошо продумать...

И в четвертый раз в зале для заседаний установилась пружинистая мягкая тишина; было слышно, как воеет далекая пилорама, как мычат в стойлах растревоженные весной коровы и трется о стекло черемуховая ветвь, словно просится в теплое помещение. В молчании прошло минуты три-четыре, затем раздался простуженный, прокуренный и пропитый голос разнорабочей Валентины Сосиной:

— Я вот что скажу вам, дружки хорошие! Надоел мне Шубин пуще горькой редьки, и не из-за Нинки... то есть не из-за товарищ Савицкой, а вообще надоел! — Она повернулась ко второму киномеханику и, ей-богу, по-волчьи клацнула зубами. — Слушай, ты, сморчок, когда бабьей бедой перестанешь пользоваться? Жрет, пьет да еще на голову садится! Давно ли у тебя нос зажил, что я тебе кулаком расквасила, давно, спрашиваю?

— Товарищ Сосина! — остановил ее председатель. — Товарищ Сосина! Прошу подобрать выражения! — И вдруг грохнул кулаком по столу. — С меня довольно! Закрою заседание, если не будет порядка!

Нина Александровна поднялась.

— Товарищ Шубин безусловно прав, — сказала она и сделала полуоборот, чтобы направиться к дверям, но раздался размеренный голос слесаря Альберта Яновича.

— Я имею возможность отказаться от вопроса номер два, — проговорил он мирно. — Я имею намерение вносить предложение! Надо поддержать товарищ Петрову. — После этого он вдруг заговорил на чистом русском языке: — Следует дать Нине Александровне бумагу и ручку, чтобы она сейчас же написала заявление на квартиру. — Он обвел взглядом членов комиссии. — Стопроцентно уверен, что все мои коллеги с радостью проголосуют за Нину Александровну. Прошу вас сесть, товарищ Савицкая! — Он сделал неожиданную паузу. — На этом есть конец мой выступления...

Нина Александровна боялась посмотреть в сторону Сергея Вадимовича. Какие чувства переживал этот сильный, волевой и деятельный человек, когда за все время заседания его фамилия, фамилия крупного по таежнинским масштабам руководителя, ни разу не была названа и мало того — все вели себя так, словно Ларина на заседании и не было? Нина Александровна готова была провалиться сквозь землю, ей хотелось, схватив Сергея Вадимовича за руку, увести его из зала, но она не могла и пошевелиться, думая только об одном: «У меня уж был затрушенный, несчастный муж!»

— Слово имеет товарищ Вишняков!

«Железный парторг» на любом заседании выступал последним; это объяснялось тем, что более четырех десятков лет он всегда «подводил итоги» и все никак не мог отрешиться от этой руководящей

привычки. Сейчас он резко поднялся с места, оправив гимнастерку, трубно произнес:

— Разрешите!

Он стоял как на параде — с квадратными плечами, стройный, несмотря на свои шестьдесят пять лет, чисто выбритый, волевой, с прямым взглядом и добрыми морщинами возле твердых губ.

— Разрешите мне, товарищи!

Вишняков еще раз одернул застиранную, почти белую гимнастерку, пальцы правой руки сунул за широкий ремень, а левой рукой сделал в воздухе странный укороченный жест, который, казалось, не мог принадлежать человеку такого высокого роста, как «железный парторг».

— Товарищи! — начал Вишняков. — Товарищи! Мне выпала не легкая доля работать вместе с директором Тагарской сплавной конторы Прончатовым Олегом Олеговичем. Многие из вас знают товарища Прончатова, в курсе его многих недостатков, поэтому я ответственно заявляю, что товарищ Ларин, будучи большим другом товарища Прончатова, имеет те же недостатки, что и директор Тагарской сплавной конторы, которого по недоразумению хотят назначить управляющим комбинатом... — «Железный парторг» опять сделал укороченный жест, надменно усмехнулся. — Прончатов утверждает, что осуществляет принцип социализма: от каждого по его способностям... Врет! Он работает из карьеристских побуждений... Какой отсюда мы делаем вывод? А вывод, товарищи, такой, что товарищ Ларин недалеко укатил от товарища Прончатова. Я могу привести факты, но они всем хорошо известны... В равной мере, товарищи, я протестую против вселения в новый дом товарища Булакова, который по моральной линии начинает терять партийность. — Он поднял палец, грозно взмахнул им в воздухе. — Новый дом надо передать скромной труженице, активному депутату райсовета, доброму, отзывчивому человеку товарищу Нине Александровне Савицкой. Пусть лучшие жилищные условия вдохновят Нину Александровну на новые трудовые подвиги!

Вишняков сел, поправил тугой воротничок гимнастерки, усмехнувшись чему-то, затаив в прямой и безмятежной позе — правильный, честный человек, открытая душа, распахнутое сердце, голубые глаза. Когда «железный парторг» окончательно затаив, на противоположном торце стола раздалось блаженное хмыканье, заскрипел стул, и старшина катера Симкин в растяжку произнес:

— Записать дом за Ниной Александровной — и точка!

Именно в это мгновение раздался длинный и громкий телефонный звонок, врач Альбина Семеновна жадно схватила трубку, прижала к уху. Сначала всем показалось, что произошло что-то серьезное, даже страшное, но напряженное лицо Альбины Семеновны начало постепенно смягчаться, продолжая слушать, она легкими движениями свободной руки уже поправляла волосы. Телефонную трубку положила медленно, выпрямилась, удобно устроилась на стуле и только теперь зряче посмотрела в зал и на соседей.

— По-моему, вопрос ясен, — деловито проговорила Альбина Семеновна. — Надо рекомендовать исполкому дать квартиру товарищу Савицкой, если она, конечно, напишет заявление...

— Подвожу итоги, — весело заговорил председательствующий Белобородов-Карпов...

В поссоветском коридоре по-прежнему было тихо и напряженно, темно и душно, женщины шептались, нервно ежились, некоторые торопливо курили. Нина Александровна после светлого зала для за-

седаний не сразу заметила директрису Белобородову и преподавателя физкультуры Моргунова, которые стояли в противоположном конце коридора. Директриса что-то оживленно говорила, Моргунов охотно и громко смеялся. Увидев Нину Александровну, директриса прервала разговор, а преподаватель физкультуры обрадованно бросился навстречу.

— Ну, поздравляю, Нина Александровна! — заговорил он. — По лицу Сергея Вадимовича вижу, что дело выиграно... Поздравляю вас, Сергей Вадимович!.. Ох, а мне все это еще предстоит!

— Бог не выдаст, Шубин не съест! — серьезно сказал Сергей Вадимович и пожал руку Моргунову, потом Белобородовой. — Должен сказать вам, товарищи, что на меня сия процедура произвела большое впечатление. Люкс! — Пошучивая, Сергей Вадимович положил руку на плечо Нине Александровне. — Вот кому предписана новая квартира! Нинусь, ты молод-ца! Мне все время хотелось кричать: «Шайбу! Шайбу! Шайбу!»... Дозвольте вас всенародно облобызать...

Сергей Вадимович ласково поцеловал в щеку жену.

— Я бегу, у меня навигация!

— погоди, Сергей, — попросила Нина Александровна и взяла мужа под руку. — Я провожу тебя, вот только поздравлю Ивана Алексеевича с законным браком... Давай лапшу, Иван! Люция — хороший человек. Ты с ней будешь счастлив...

Спустившись с высокого поссоветского крыльца и продолжая держать Сергея Вадимовича под руку, Нина Александровна молча пошла рядом с ним, глядя перед собой, — прямая, напряженная. Пройдя два квартала по главной улице, она легким движением руки повернула Сергея Вадимовича в узкий и короткий переулок. Он сначала удивленно остановился, но, взглянув в побледневшее лицо Нины Александровны, беспрекословно пошел за ней. Теперь было заметно, какое у него усталое лицо. Сергей Вадимович работал с шести часов утра: успел побывать на рейде и в мехмастерских, провести диспетчерское совещание, десятки телефонных разговоров, принять уйму посетителей, решить кучу организационных и технических вопросов, поругаться с районным и областным начальством. Он долго не мигая наблюдал за Ниной Александровной, затем тихо сказал:

— Ты на меня еще никогда так не смотрела, Нина. Я понимаю: случилось что-то серьезное, но не знаю что... Объясни, пожалуйста, если можешь...

— Могу, — ответила она. — Дай только собраться с силами...

Над левым плечом мужа сияло высокое чистое небо, на котором был распят крест заброшенной таежнинской церквушки; на верхней перекладине креста сидела взъерошенная сойка. Цеплялся за прозрачное облако обмылочек луны, дожившей до середины дня, воздух по-прежнему был неподвижен, мороз пощипывал мочки ушей. От Нины Александровны и Сергея Вадимовича падали на мерзлую землю резкие тени, и та тень, которая принадлежала Нине Александровне, была на полголовы выше мужской.

— Что с тобой, Нина? — переспросил Сергей Вадимович.

Нина Александровна почувствовала, как стало горячо глазам, в горле сделалось узко, но плакать ей было невозможно: глаза были подведены черной французской краской и по щекам потекли бы серые грязные струйки. Поэтому она глубоко вздохнула, переждав спазму в горле, тихо сказала:

— Сергей, я не хочу переезжать в новый дом!

— Почему не хочешь? — тоже тихо, без удивления спросил Сергей Вадимович. — Почему?..

После этого Нина Александровна не справилась с собой — заплакала, хотя никогда не могла предположить, что с ней может случиться такое на улице. Плакала она по-настоящему — крупными и горькими слезами, — но одновременно с этим старалась вспомнить, когда плакала в последний раз, и получилось, что это было еще в школьные годы от безнадежной любви восьмиклассницы к сорокалетнему преподавателю математики. С тех пор Нина Александровна не пролила ни единой слезинки, а вот теперь ревела белугой перед собственным мужем, который растерянно переминался с ноги на ногу, но молчал, не зная, что сказать и сделать, беспомощный, как и всякий мужчина перед женскими слезами.

— Я не хочу переезжать в новый дом, Сергей! — плача, говорила Нина Александровна. — Я ничего не хочу потому, что мне все надоело... Не хочу получать новые дома, бегать за членами жилищной комиссии, держать тебя в напряжении... — Она размазала пальцами по щекам краску, окончательно махнув на себя рукой, запритчала деревенским голосом: — Я хочу стирать твои носки, подавать тебе кофе в постель, кормить и усыплять... Я знаю, знаю, чем все это кончится: ты однажды уйдешь от меня... Ты обязательно уйдешь от меня! И тебе будет легко, очень легко жить...

Нина Александровна поймала себя на том, что уже не стоит на месте, а движется в неизвестном направлении, прикладывая к глазам маленький кружевной платок. Она перемещалась в пространстве, ей казалось, что какой-то знакомый голос, похожий на голос Сергея Вадимовича, окликает, зовет вернуться, поняла, что растерянный Сергей Вадимович не решился пойти за нею, но она не могла ни откликнуться, ни остановиться и несколько минут двигалась впотьмах, рискуя врезаться в забор или попасть в яму; ей чудилось, что она внезапно ослепла. Потом же, когда боль в глазах прошла и в зрачки ударил голубой дневной свет, она увидела перед собой заледеневшую дорогу... «Хочу быть просто бабой, бабой, бабой!» — кричало все в Нине Александровне, и она шла все быстрее да быстрее. Вскоре лед на дороге превратился в пористый снег, напоминающий лаву, затем этот снег сделался похожим на мокрый сахар, а еще метров через сто дорога оборвалась. «Куда я иду?» — подумала Нина Александровна и остановилась.

Нина Александровна стояла опять с закрытыми глазами, боясь их открыть, так как перед ней мог оказаться коротко спящий пень, на котором она любила сидеть в те минуты, когда было так трудно, что не хотелось видеть людей. Если этот пень был перед ней, значит, надо было садиться на него и принимать страшное для нее решение — жить ли дальше с Сергеем Вадимовичем, стараясь отказаться от всего того, что называлось Нинкой Савицкой, или коротать век вдвоем с Борькой, оставаясь самой собой? Но могла ли она вообще отказаться от всего того, что называлось Нинкой Савицкой?..

1971—1977 гг.



МАРИНА ТАРАСОВА



СТОЛБЫ

Ни дождя, ни снегов, и земля так тверда,
что в нее тяжело упадет зерно.
Почему же гудят и текут провода,
словно с неба огромная льется вода,
словно звук тишине сокрушить не дано?
Пешеходы бесслезных осенних полей,
неприкрытые, в оспинах черных столбы,
сколько дней, сколько ветром остуженных дней
я под вами иду по проселкам судьбы.

В ЛЕТНЕМ САДУ

Я в Летнем саду различила поодаль дыханье,
мне шелест пролетки как будто услышался вдруг,
в проеме листвы замерцала осенняя тайна —
небесные блики, как взлеты невидимых рук.

Листва напрягалась, гудела органною статью,
меня осеняя своим искрометным крылом,
ее колокольное тяжкое медное платье
летело над садом, влекомое редким дождем.

И я поняла: в этом чистом и медленном вздохе
верховный есть звук, есть весомое слово «всегда»,
и небо горит, освещая дорогу эпохе,
И Анна Андревна еще молода, молода.

.

Пойди в луче,
когда в пути закат,
войди в прохладный желтый коридор,
и на тебя по-зимнему,
в упор
посмотрит лес,
недвижим и космат.
И сквозь тебя
мгновением пройдет
в своей объемной зримой красоте
тот ярко-красный
ледяной цветок,
что вдруг расцвел на городской черте.

.

Не знает равнодушия природа.
И в самый серый, безнадежный день
тебе открыта нежность небосвода,
его большая трепетная сень.
Не жди парада, праздника от леса,
он не жар-птица в прелести своей,
взгляни на синий мир из-под навеса
его родных дурмящих дождей.
Постой в листве с дождем зари в обнимку,
там, где струят тепло стволы берез,
как лица юности на старом снимке,
далекие, желанные до слез.

.

Не стоит слоняться по берегу детства,
над насыпью лет не стояла вода,
что ей, удалой, от такого соседства,
зачем ты ей нужен? Тебе с ней беда.
Тебя богатырские давят заборы,
а как постарел за стеклом брадобрей!
В усталых глазах его видишь укоры
несвежести собственных щек и речей.
Нельзя возвращаться, но как не вернуться,
когда золотится кругом тишина
и лужицы света сверкают, как блюда,
и в них даже малая мошка видна.
А ранние звезды как свежие булки
на противне неба открыты весне,
и вербины серьги как белые буквы
мерцают на черной щербатой стене.



ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

★

ТАКАЯ ВЕСНА

* * *

...А он был весь — из бархата, из пуха
кроволапых черных лебедей,
когда в нагретой белизне Гурзуфа
поил своих задымленных коней.

Когда в лазури ливадийских линий —
в прощальной звонкой нежности моей —
узлы лиловых, вспененных глициний
казались продолженьем кораблей.

А я, уже обуглясь от свеченья
гудящего в тумане маяка,
пригубила густого молока
на набережной, белой от волненья.

Наш курс — на север! Это — недалёко...
Взметнется пыль украинских степей.
Новомосковск. Приблудное барокко
дощатых, продырявленных церквей.

Мешки с овсом. Кривое Запорожье.
На юго-запад свищут поезда!..
Но кнут в руке уже пронизан дрожью:
гусятый пруд — пернатая вода.

Покуда там грохочут океаны,
тут разлилась такая тишина...
Орла и Тулы медленные страны:
еще черно-зеленые поляны —
лесостепная, скрытная весна.

* * *

Ранние приходы темноты,
в трещинах облезлый подоконник,
а за домом — стылые пруды,
а за ставней — глиняный шиповник.

Так его кувшинчики висят —
влажная глазурь на терракоте,—

словно, изумленные, косят
в душу, наклоненную к работе.

Письма ли скупые напишу,
рифмы ль забренчат забавы ради,
надо привыкать карандашу
к этой одиночества отраде.

Надо привыкать моим глазам
к узкому полуночному блеску —
луч уже скользит по небесам,
если приподнимешь занавеску.

Всходит быстротечная звезда.
Время плакать сухогорлым совам.
Здравствуй, мимолетного труда
знойная, сухая подоснова!

Здравствуйте, румяные слова,
вестники молчанья наливного!
Так ли я — бестрепетно — мертва?
Так ли к этой гибели готова?

Так ли, примиренная, взойду
зернышком?.. и в крымскую черешню
косточкою белою вращу? —
так ли — в приснопамятном году, —
яростная, хищная, воскресну?

Так ли мне стоять перед тобой —
славою, попыткою укора?..
Так ли просверкаю под луной
влажным терракотом у забора?..

* * *

Безмерные права
у медленной разлуки.
Зашьешь мои слова
в шелка речной излуки.

Откину волоса
со лба немолодого,
чтоб видели глаза,
когда приснишься снова:

как некогда — живым,
как исстари — беспечным,
под сводом голубым,
в пространстве бесконечном...

* * *

Не ты, но я — перед людьми права...
Не ты, но я — достойна сожаленья!
В бурьян моя катилась голова,
где черные пылят стихотворенья.

Но я еще достаточно жива,
но я уже давно — на коленях,
чтоб, осушив задравные слова,
припомнить ров, где лысая трава,
вороний грай и битые камни,
где тычется небритая листва —
татарников стальные поколенья..

Но я уже достаточно трезва,
чтоб во хмелю глухого торжества,
пока еще дымится восхваленья
и золотом набита синева,
увидеть зев, где мерзлые поленья,
исчислить звезд расколотые звенья,
себя осмыслив не венцом творенья,
но хмурю ошибкой божества!



ЮРИЙ ГЕЙКО



ЗАПАХИ ДЕТСТВА

Юрий Гейко — сын военного летчика. Биография отцов кладет прочный отпечаток на биографию детей. Особенно на ее начало. Сознание мальчика формируется радостями и печалью летной части. Есть у мальчишек и свои собственные заботы, озорство и потасовки, но они отходят на задний план перед огромным миром взрослых, где уж дело так дело, счастье так счастье, горе так горе. Мужание в такой среде наступает быстрее, чем где-либо.

Обо всем этом вы прочтете в рассказе «Запахи детства», который написан ясным и четким почерком способного человека. Юрий Гейко сам прошел армию, сейчас он учится в Литературном институте имени Горького.

«Запахи детства» — его дебют в печати. Пожелаем успеха молодому автору.

Сергей НАРОВЧАТОВ.

1. Как пахнет кожанка

Все наше детство проходит под гул авиационных моторов. Он так же привычен нам, как привычен теперь гул холодильника, — под него мы засыпаем, под него просыпаемся. Даже сейчас, спустя много лет, у меня что-то сжимается внутри, когда случается на небольших аэродромах услышать столь милый сердцу поршневого рев безо всякого турбореактивного присвиста.

Давно уж нет тех двухмоторных, небольших по теперешним масштабам самолетов, которые тогда нам казались чудом двадцатого века.

Часто и подолгу не видим мы своих отцов.

Оживет ночью хриплый репродуктор гарнизонного радио, зайдется воем. Вскинется отец на кровати, охнет мама, в ночной рубашке подбежит к выключателю.

— Господи, только б не война!

Но резкий голос дежурного по полку успокаивает ее: «Учебная тревога! Учебная тревога!» Поднимаюсь и я — у каждого из нас сейчас свои обязанности.

Мама на кухне заворачивает бутерброды, отец стоя глотает холодные котлеты, я готовлю всю «тревожную» амуницию: сапоги, портупею с кобурой, планшет, чемоданчик с парой белья и неизменным «Шипром», кожанку...

Как всегда, мама спрашивает, когда он вернется, как всегда, отец говорит, что не знает, но, видимо, скоро.

Он возвращается через сутки или двое с худыми колючими щеками, с покрасневшими своими цыганскими глазами, но по-прежнему

блестящими, веселыми, и его кожанка пахнет папиросным дымом и горькой аэродромной пылью...

Улетает отец и надолго. И тогда мы с мамой провожаем его.

В этот день гарнизон просыпается рано. Загораются окна в соседних домах, отец завтракает, обжигаясь, и поглядывает на них.

— Экипаж ноль четырнадцатого продрыхся,— объявляет он весело, входя в комнату, и запускает руку в мои взъерошенные подушечки волос.— Ну, что тебе привезти, двоечник?

Окна гаснут одно за другим. Из подъездов выходят люди, смотрят вверх, на хмурое, но светлеющее с каждой минутой небо, здороваются через улицу, смеются и идут к аэродрому. Идут дети, женщины, идут отцы в кожанках.

Моторы самолетов взрываются исполинским ревом, трехлопастные винты растворяются в воздухе, сметая могучими струями утреннюю росу с крыльев, фюзеляжа, хвоста, бетона, травы, деревьев, ангаров...

Большие зеленые птицы неуклюже выруливают на взлет. Одна за другой отрываются они от бетонной полосы и, поджав ноги-шасси, исчезают в рассветном розовом небе, а тощий «колдун» неумоимо машет им вслед своей полосатой выгоревшей бородой.

Расходятся наши погрустневшие мамы, а мы еще долго валяемся в продутой аэродромной траве, мечтаем. После грома двигателей тишина трещит кузнечиками, светит солнце, и мы без конца говорим о самолетах и небе.

Потом мы идем на свалку, где лежит на брюхе списанный обглоданный фюзеляж. К нему приставлены порванные крылья, правда от другого самолета, но это не важно: есть пожелтевший лучистый плекс пилотской кабины, есть штурвал, есть тыща приборов с разбитыми стеклами, тумблеры, ручки, провода и драные шлемофоны.

— От винта!— кричим мы разом первоклашке Генке, не взятому в полет потому, что его отец не летчик, а старшина подсобного хозяйства.

Зато Генка назначен руководителем полетов и одновременно начальником техслужбы. Он ныряет к самолету, отшвыривает колодки и стоит перед нами, строя рожи и размахивая руками: выводит на взлет.

— Первый! Разрешите взлет! — орет в наушник Серега — он командир экипажа.

— Второй! Взлет разрешаю, второй, вам взлет! — надрывается снаружи Генке, и по его лицу видно, что он сейчас разревется и уйдет домой.

— Второй пилот! Примите на борт пассажира! — дрогнув сердцем командир, и я срываюсь выполнять приказание.

Счастливый Генка занимает пассажирское место у иллюминатора на откидной скамейке.

Серега взлетает. Он серьезен и бледен, глаза внимательны. Медленно прибавляет газ, отпускает тормоза, самолет катится, еще газ...

— Восемьдесят!.. Сто!.. Сто пятьдесят! — кричу я ему.

Закусив губу, он плавно берет штурвал на себя... и будь я проклят, если не ощущаю в тот миг перегрузки!

Моторы ровно гудят, я прокладываю курс вслед за отцовскими эскадрильями, радист щелкает тумблерами, в двери пилотской кабины появляется Генка. Он перетянут вдоль и поперек ремнями, в руках кусок трубы, который он держит, как автомат, за поясом «нож» и «гранаты».

— Командир, я десантник! Измените курс! — наглеет он. — Земля передала, что вы должны выбросить меня в тыл к немцам!

Сергеа гневно оборачивается, но увидев трагическую физиономию Генки, решившегося на подвиг, его амуницию, вопросительно смотрит на радиста.

— Да, да, земля передавала, — кивает тот.

Сергеа смотрит на меня, я ныряю в «карту».

— Курс сто десять! Правый поворот!

Штурвал поворачивается вправо.

— Входим в зону! Прямо по курсу разрыв! «Мессер» справа! — ору я.

Сергеа делает противозенитный маневр.

— Та-та-та-та-та! — грохочет над ухом стрелок-радист. — Готов! — И изображает вой и взрыв сбитого «мессера».

— Приготовиться! — Я вижу Генку, топчущегося у раскрытого люка. — Пошел!

Но Генка уже передумал, ему охота с нами в дальние страны.

— Задание отменено, — заявляет он, умоляюще глядя на радиста.

Но тот жесток.

— Земля не передавала про отменено.

Сергеа сжимает губы.

— Делаем второй заход. Приготовиться! — Он презрительно смотрит на Генку. — Пошел!

И, зная крутой командирский характер, «десантник» вываливается на траву.

Потом мы бомбим вражеские склады, схватываемся с «фокке-вульфом», забираем раненых партизан с дымящего кострами лесного аэродрома. И раненый партизан — он же Генка — громко стонет, искупая недавний грех.

Мы расходимся уставшие, исцарапанные, и до двери своей квартиры каждый чувствует себя взрослым.

А потом возвращаются наши отцы.

День их возвращения — это праздник.

Во-первых, какие будут подарки? Это может быть и живой попугай, и сахарные арбузы, и китовый ус, и пневматическое ружье. Во-вторых, ни в какой другой день мама не бывает так добра и у нее можно выпросить все. И в-третьих, вечером придут гости, а я буду обеспечивать «музчасть»: заводить патефон и ставить пластинки.

В этот день на уроках стоит необыкновенная тишина: мы «слушаем воздух». А на переменах выставляем наблюдателя в чердачном окне. А Ирина Степановна, наша молодая учительница, в этот день никому не ставит двоек.

И всегда неожиданно кто-то произносит: «Летят...» Все замирают, и мы слышим далекий стройный гул летящих эскадрилий... Никакая сила не способна тогда преградить нам путь к ВПП¹, и мы несемся лавой, размахивая портфелями как шашками.

А там уже стоят наши мамы, нарядные, красивые, и машут низко пролетающим самолетам. И те в ответ дружно покачивают краснозвездными крыльями.

Загорелые люди в кожанках спускаются на землю. Один из них мой отец. Я бросаюсь к нему — и взлетаю вверх на сильных руках. Несколько наждачных поцелуев, я утыкаюсь носом в кожанку, которая пахнет заоблачным морозцем, самолетом и апельсинами.

— Папа! — кричу я. — А где же...

¹ ВПП — взлетно-посадочная полоса.

Он наклоняется, щекочет ухо таинственным шепотом:

— Ящик с неизвестностями принесут после разгрукки.

И мы идем домой.

Но помню я и другое.

Схватив на арифметике по паре, мы с Серегой еле плетемся из школы. Идем вдоль нашего забора откровений, читаем последние сообщения: «Женька — дурак, влюбился в Таньку», «Малыгин курит». Вдруг из-за угла выкатывается на велосипеде главный Серегин дразнилка Женька Блин. К нашему великому удивлению, он не делает попыток смыться, едет на нас, и по его лицу мы понимаем: случилось что-то чрезвычайное.

— Са... Самолет разбился,— еле переводя дух, говорит он.— По гарнизонке передали.

Мы с Серегой мчимся домой, а Блин едет дальше. Видимо, ему приятно первым сообщить эту страшную новость.

Я взлетаю на второй этаж, слышу приглушенный женский плач, почти вой, и изо всех сил колочу ногами в дверь. Мне открывает заплаканная мама... Я бегу мимо нее, грохаюсь в темном коридоре, от меня отлетает фуражка и портфель, вскакиваю, врываюсь в комнату:

— Папа!!!

Отец курит у раскрытого окна и строго смотрит на меня.

Я бросаюсь ему на шею, спазмы в горле душат меня, брызжут слезы, я плачу и не могу ничего сказать.

— Я думал... я думал... — захлебываюсь я не в силах произнести ужасные слова.

— Нет,— говорит он глухо.— Это дядя Витя...

...Дом офицеров. Гулкий полутемный зал. Запах ели. Красное и черное. В ряд шесть закрытых гробов. Застывшие в карауле солдаты. Чуть заметное покачиваются их голубоватые штыки. Орденские подушечки. Суровые лица военных. Вносят венки.

Женский плач накачивается как волна. То затихнет, то метнется, нарастая, вдоль страшного ряда.

У одного гроба сидит, согнувшись, тетя Лена, наша соседка. И заплаканная Наташка, моя первая любовь, гладит ее неестественно белую на черном руку. Рядом мои родители.

Я думаю о том, что никто больше не накрутит нам из плекса витых указок, не зашагает размашисто впереди с удочкой к «железным» местам прозрачной Горюхи, не прокатит на дрожащем стремительном мотоцикле. И Наташа скоро уедет.

Витька Кравец, глупый первоклашка, смотрит в щелку под крышкой, наверное, думает, что увидит своего отца. Но крышка забита — ведь это страшно, когда разбивается самолет.

Мне почему-то кажется, что под ней лежат куски исковерканного алюминия.

Я выхожу из душного зала, убегаю далеко-далеко, за аэродром, на речку, в кусты, где под дерном в куске брезента спрятан мой сломанный ППП с полусгнившим прикладом, и на этом боевом оружии даю клятву: я обязательно стану летчиком!

2. Серега Печкин

Это классический представитель вымирающего (говорят) племени двоечников и хулиганов. Им пугают детишек: «Не будешь слушаться — будешь таким, как Печкин».

И дети испуганно хлопают глазенками.

Он третьегодник, кроме того, он «крупный мальчик», по словам взрослых. Но для нас, мелкоты, этот «крупный мальчик» — бич божий.

Белобрысый, с маленькими глазками, губастый, он часто ходит в гипсе — ломает себе все, что только можно ломать: ключицы, руки, ноги.

Наверное, он бы не трогал нас, если бы мы не дразнились.

Как и все люди, озлобленные на мир, он отличается жестокостью, мучает всякую живность, надувает через соломинку лягушек, жарит их на костре и, говорят, ест.

Мои отношения с ним из-за дружбы наших родителей изменяются периодически. Обычно он благоволит ко мне, но иногда я не выдерживаю азарта общей травли, включаюсь в нее, и тогда достается и мне.

Сергея жесток с обидчиками. Со зверским выражением лица он закручивает жертве руку или, сидя на ней верхом, не спеша натирает снегом лицо, набивает его за шиворот, за пазуху. Не реагируя на вопли, цедит сквозь зубы: «Будешь? Будешь?» И, услышав отчаянное, вперемежку с воплями: «Ой! Ой! Не буду, никогда-никогда!» — отпускает. Многие сразу же орут заветные слова, и у Печкина пропадает жажда мщения.

Сегодня, когда мы на крыше сарая обсуждаем очередной налет «деревяшек» — враждебное племя, живущее в деревянных домах, — Серега появляется внизу с собакой на веревке, единственным животным, которое его терпит. Эту захудалую дворнягу, запуганную и забитую, скулящую от каждого взмаха руки, он окрестил Жучкой. Мы знаем, что Серега дрессирует ее, учит ходить по следу. По его словам, Жучка отлично постигает все премудрости.

— Сейчас Жучка вам покажет некоторые номера, — объявляет он. — Служи, Жучка!

Но Жучка, исправно служившая на подачку, на пустую руку не реагирует.

— Жучка! — Голос дрессировщика становится угрожающим. — Служи!

Над псиной нависают тучи. Серега отвязывает от ошейника веревку, складывает ее пополам, а Жучка не думает убежать, жметесь, глупая, к его ногам. Надо спасать.

— Уж если служить не научил, то след она и подавно не возьмет, — раздается голос с крыши.

— Возьмет! — Серега начинает злиться.

— Не возьмет! — Уже два голоса.

— Ну слазь кто-нибудь, проложим след и проверим. — Глаза его плотоядно прищуриваются.

— Фиг тебе! — орут голоса с крыши. — Сам прокладывай!

— Да чему ты научить можешь? Пары хватать? Ты же второгодник!

— Какой второгодник? Третьегодник он, кожаная задница! (Отец порет его.)

— Третьегодник! Третьегодник! — несется со всех сторон.

Однажды при мне Серегу порол отец. Ничуть меня не стесняясь, сняв с сына штаны и зажав голый зад между хромовыми сапогами, он хлестал по нему широким ремнем, а Серега морщился, лупил руками по голенищам, но не плакал. «Не буду я!». Ну не буду же, сказал! Я смотрел на темные мелькающие подмышки офицерской рубахи, на

красное бессмысленное лицо отца, на страдальческое, упрямое Серегина и вдруг совсем некстати увидел: как они похожи! Впервые в жизни открылось мне это родственное сходство, я был поражен, разглядывая лицо Печкина-старшего: подбородок с ямкой, чуть отвислые щеки, светлые глаза — я видел взрослого Серегу!

Теперь я никогда не дразню его.

...Речушка возле школы никак не называлась.

— Откуда она течет? — раз спросил меня Серега.

— Не знаю.

— А куда впадает?

— Не знаю...

— Может, она хоть и переплюйка, а длинная, как Миссисипи? — Он только что прочел Марка Твена.

— Может...

— Летом мы пройдем ее на плотях, — уверенно сказал Серега и прищурился. — Течение приличное.

Так речку и прозвали — Миссисипи.

А весной мы катаемся по ней на льдинах, отталкиваясь шестами, устраиваем морские сражения. Конечно, мне достается круглая неповоротливая льдина, а Сереге длинная, узкая, обтекаемая. Не успеваю я отчалить от берега, как из-за мыса вылетает на всех парах Серегин «линкор», таранит мой «транспорт», тот раскалывается пополам, и я ухаю в ледяную воду. Серега прыгает следом, хватает меня за лацканы, спасает, я машу руками, но оказывается, что воды здесь по грудь, мы смотрим друг на друга и хохочем. Назад мы бежим неуклюже, раскачиваясь. Ощущение ног исчезло, смотрю вниз — странно, что ноги есть, что работают сами по себе, что замерзшие полы пальто стучат по ним, а я не чувствую, только слышу: тук-тук, тук-тук.

— З-залезли об-ба на льдину, а она раскололась, п-понял? — инструктирую я Серегу на бегу.

Он молчит и хмурится, потому что не привык к великодушию.

Но злые ребячьи языки доносят истину до Серегина отца. Я же начисто отвергаю его причастность к купанию. Ночью мне снится взлетающий ремень, голый извивающийся Серега, кусающий отцовский сапог, я вскакиваю в жару и кричу: «Он не виноват!.. Мама, ну скажи ему, скажи!..»

Наутро мама убегает к Печкиным, но по ее лицу, когда она возвращается, я понимаю: поздно.

Я выздоровел, он отлежался, и теперь мы друзья.

3. Старший лейтенант Клюев

Этот необыкновенный человек живет на первом этаже, под нами. Он умеет делать такие большие и сильные луки, что вся пацанва ахает, когда оперенная стрела уходит в небо. Он умеет делать такие модели самолетов, что устают шея смотреть за их полетом. Он такой хороший художник, что даже Глеб Борисович, наш учитель рисования, выпрашивает у его дочери Светки «что-нибудь для обучения молодежи».

Дядя Клюев меня за что-то любит, я это чувствую. Он никогда не пройдет мимо, обязательно что-нибудь подарит, да такое, что дух захватывает. Огромная лупа, предмет моей гордости, прожигающая насквозь подоконник. Фотоаппарат «Любитель», ламповый приемник

с наушниками, книга про полярных летчиков — все это вызывает недоумение родителей. Мне же все это кажется вполне нормальным.

Однажды мы встречаемся на лугу, за сараями, я с сачком, он с альбомом.

Клюев совсем не похож на летчика, хотя форму носит летную. У него тонкая шея, маленькие покатые плечи, карие глаза с пушистыми девчачьими ресницами, но ладони большие и жесткие.

— Хочешь, я тебя нарисую? — спрашивает он. — Посиди спокойно минут десять.

Десять минут неподвижности для меня — это невозможно, но для дяди Клюева я готов на все. Я стараюсь, чуть дышу, голова от напряжения дрожит, лицо деревенеет.

— Как ты похож на свою маму... — слышу я его голос.

Скашиваю глаза, и обида захлестывает меня с головой: он не рисует, а грустно смотрит на меня. Я подсказываю, потрясая сачком... но вижу на бумаге себя. Но какого-то не такого.

— Нравится?

— Не-а.

— Возьми на память.

И вдруг мы узнаем, что он с семьей куда-то уезжает. И в этот день на стене нашей комнаты появляется его картина.

— Таня, говорят, что это его лучшая картина, — слышу я ночью разговор родителей. — Зачем ты взяла ее?

— Мишенька, как же не взять, мне это так жалко! Я, говорит, мечтал нарисовать вас, но вы не захотели, тогда, прошу вас, возьмите, говорит, вот эту картину. Это лучшее, что я сделал. Я ни в какую. А он так посмотрел! Неужели, говорит, вы не понимаете, что лучше у вас ей висеть, чем где-нибудь на рынке? Я и взяла.

— Значит, правду говорят, что жена его...

— Значит, правду.

— Хороший он парень. И штурман хороший.

— Да, Миша...

А на следующий день я просыпаюсь от громкого голоса тети Веры, жены Клюева:

— Окрутила дурачка! Да ей цены нет, этой картине! Бесстыжие твои глаза!

Мама робко оправдывается.

— Подарил? Да он любому последнюю рубашку отдаст, а вы пользуетесь? Он же блаженный!

Папы дома нет, и я чувствую, что должен идти к маме на помощь. Но раньше меня в комнату врывается дядя Клюев. Он бледный-бледный, и лицо его такое страшное, что я прячусь за шторы.

— Уходи! — слышу я незнакомый голос. — Уходи отсюда, ты... Ты!

А через много лет в нашей квартире, уже московской, зазвонит телефон и какой-то однополчанин в числе других скажет и о Клюеве: повесился.

Мама заплачет, уйдет на кухню, а отец включит весь свет в комнате и долго будет стоять перед небольшой картиной, писанной маслом: за горизонтом почти село солнце, но сосны на крутом берегу реки еще просвечены им, и янтарный песок исполосован длинными тенями стволов; внизу, на воде, уже сумерки; по излучине реки буксирчик тащит баржу, а на ней — малюсенький домик. Вокруг на веревке сушится белье; и почему-то необыкновенным уютом и счастьем светится его единственное окошко.

4. Последний день детства

Сегодня день особенный. Меня ждет, можно сказать, большая сцена — сцена городского Дома пионеров.

Дело в том, что я пишу стихи. С чего это началось, я не помню, видимо, подобрал два-три рифмующихся слова. Мне они нравятся, взрослым тоже, и я уже начинаю вкушать сладость славы, когда мама просит почитать стихи гостям.

Я признаю только революционно-патриотическую тематику и не жалею красок для мажорных финалов:

Огонек одинокий горит,
Мрачный крестьянин над книгой сидит.
Он мечтает о годах,
Когда не будет царя никогда.

И крестьянин в конце концов становится министром сельского хозяйства в революционном правительстве.

Нашу самодеятельность везут на автобусе в Дом пионеров. Я сижу, вцепившись в поручень, я чувствую себя на качелях, бесконечно падающих вниз. Ладони потные.

— Спокойно, Дима. Главное — громко.

Это наша Ирина Степановна. Она почти всем аккомпанирует на фортепиано.

— Гена, Вова, спокойно. Текст помните?

Вова с Геной смотрят на нее выпученными глазами и лезут за бумажкой.

Дора хорошо играет на скрипке. Она задумалась о чем-то, глядя в окно, пухлые ручки неподвижно лежат на черном футляре.

Тамара Маргишвили волнуется, болтает, смеется, ее щеки горят, а глаза блестящие. Она мне нравится, да и выступаю-то я только из-за нее.

А Серега равнодушен к искусству и девчонкам, он едет из-за аттракционов летнего сада рядом с Домом пионеров...

Ярко освещенная сцена, лампы бьют в лицо, я щурюсь, пытаюсь зачем-то разглядеть хоть что-нибудь в зале.

— Дима, давай!.. — шипит кто-то сбоку.

Я пересиливаю свое деревянное тело и слышу вокруг только свой голос, неестественно громкий голос...

Я счастлив! Я чувствую себя таким сильным, что не испугался бы даже Серегоного отца. Я ору, дурачусь, залезаю по канату «гигантских шагов» до самой высоты, хотя на физкультуре никогда не долезал и до середины. Мы с Серегой откалываем на этих канатах такие шаги, что собирается толпа зрителей.

Потом мы бежим на берег Горюхи и, засучив брючины, шлепаем вдоль него, распугивая мальков, щурясь на ослепительные воду и солнце. Мне все хочется услышать от Серегу что-то вроде: «Тебе больше всех хлопали» — или хотя бы: «Ты молодец!»

— Знаешь, как страшно выступать! — предоставляю я ему возможность.

Сопя, он бороздит пяткой мокрый песок.

— Я бы второй раз прочитал лучше.

Молчит, смотрит, как волна, поднятая буксиром, бежит по берегу белым гребешком, приближается, стирает борозду и, лизнув колено, бежит дальше.

— Ты хоть слышал?

— Не-а. Я в ихнем самолетном кружке был.

Любопытство пересиливает обиду.

— Ну и что там?

— Ерунда, бумажные крылья, мотор из резинки — это тыщу лет назад было. Сделать бы такой самолет, чтоб сам фигуры делал, а ты сиди на земле и кнопки нажимай.

— По радио, что ли?

— Ага.

— Про радио в седьмом классе проходят...

Сергея достает из кармана брошюру, раскрывает, тычет пальцем в переплетение линий и значков.

— Такую схему сделать — и порядок. Я уже начал. Дроссель — знаешь, что такое? — Он роется в кармане.

Я отрицательно качаю головой.

— Вот, одна деталь уже есть, остальные скоро будут.

Я рассматриваю колечко с проволокой и свято верю в то, что детали будут, схема будет и самолет Серегин взлетит.

— Серега, гляди!

Мы слегка ошарашены: перед нами большая шлюпка, моряки в полной форме, флаг на корме развевается, раздаются четкие всплески четырех весел. Шлюпка ходко идет параллельно берегу. У Сереги от изумления открывается рот. Приглядевшись, мы обнаруживаем, что морячки-то липовые, не старше нас.

— Эй, салаги! Заплутали, может? Тут морем и не пахнет! — приходит в себя Серега.

Мы вопим, как куча папуасов, но на шлюпке нас просто не замечают.

— Потопим! — угрожает Серега и запускает плоский голыш поперек курса шлюпки.

— Недолет! Перелет! — палим мы уже залпами.

— Левым — табань! — слышится команда, и шлюпка вдруг идет прямо на нас.

Я в растерянности и смотрю на Серегу: шестеро против двоих — многовато. А он наворочился драпать, но замечает мой взгляд и сразу как-то подбирается. Я понимаю — будем драться. С ним мне почему-то не страшно. Мы медленно отходим от реки, набивая карманы камнями, и останавливаемся, когда лодка врзается в берег.

— Женя, Слава — костровые. Саша, займись продуктами, — командует еще в лодке загорелый, несмотря на конец мая, парень. По виду десятиклассник, но невысокий, потому мы его и не заметили раньше.

И матросики разбегаются по берегу. Парень поворачивается к нам:

— Подите сюда, не бойтесь.

— А фиг ли нам бояться?

Сергея вызывающе идет на него. Я рядом.

— Хотите записаться в школу юнг? — спрашивает он, не замечая рук, засунутых в раздутые карманы. — Нам как раз двух ребят не хватает, шлюп-то шестивесельный, — кивает он на лодку.

— А чё у вас хорошего? — прищуривается Серега.

— Летом многодневки, походы. Зимой теория, яхту построим. Сегодня вот у нас однодневка.

— А сегодня вы нас возьмете? — Это уже мой голос.

— Дома ругать не будут? Вернемся поздно.

— Нас-то?— вырывается у меня.— Да мы можем хоть сейчас в любую дневку!..

И я смотрю на Серегу, потому что ему придется хуже, мне же после утреннего триумфа ничего не страшно.

— Точно,— небрежно подтверждает Серега, и я понимаю, какой он мужественный человек!

— Ну что ж, договорились.

И через час мы с Серегой дружно гребем, сидя на одной банке, и неплохо у нас получается, и шлюпка наша идет вдоль лесистых берегов все дальше и дальше от города.

— Смотри, с нами скорость как прибавилась,— шепчу я ему.— Салаги..

А он хмурится, сосредоточившись на своем весле.

— Р-раз, р-раз! — Капельки пота крадучись растут в волосах, на лбу, за ушами, растут, полнеют, дают стрекача к носу, подбородку и падают, сверкнув, на сухой выскобленный настил в лодке, сливаясь на нем в темную дорожку.— Р-раз, р-раз!

День, наполненный запахами реки, костра, пота, промелькнул как одно мгновение.

Мы дружески расстаемся с новыми знакомыми на причале, жмем их крепкие мозолистые руки. Уже темно, в маслянистой воде прыгают береговые огни, с реки тянет холодом. Мы не спешим, часом раньше, часом позже — нам от этого уже не полегчает.

Во всем теле приятная натруженность, ладони щиплет, они горят и кажутся мне большими, тяжелыми «клешнями морского волка». Я украдкой сжимаю руку и щупаю мускулы: они явно потвердели.

Мы взахлеб мечтаем о походах, о тугих парусах, решаем делать каждый день зарядку и обливаться водой, выучить морскую азбуку, морские узлы... но вдруг я спотыкаюсь на полуслове и вижу, что Серега меня больше не слушает.

— Ты чего? — спрашиваю.

Он плюет сквозь сломанный зуб.

— Плавай сам на своем море, я самолеты не продам.

Я ошеломлен, потому что сам тоже хотел быть летчиком. Я прикидываю, сравниваю две стихии и чувствую себя при этом предателем.

— А мы будем морскими летчиками! Есть же морская авиация!

— Точно...— Серега даже останавливается.

— Самолеты мы знаем, а море нет. Надо чуть-чуть заняться морем!— тарахчу я в восторге от простоты решения.

— Но самолет я сделаю, только на поплавках — гидросамолет,— упрямо смотрит он на меня.

— Правильно! И ему не нужно посадочной площадки и не разобьется, если что, вода-то мягкая..

Я болтаю, развивая идею о морской авиации, а Серега возвращает меня на землю.

— А отцу я ничего не скажу, пусть хоть пряжкой лупит,— говорит он твердо.

И у меня становится тошно на душе: расплаты не миновать и мне.

— Давай монетки бросим в речку, чтобы в многодневку пойти, примета такая есть,— говорю я.

И с горбатого мостика мы зашвыриваем всю мелочь в черную невидимую воду.

Чем ближе к дому, тем поганей настроение.

— Знаешь,— вздохнув, говорит Серега,— может, я завтра не приду на экскурсию. Скажи — заболел.

— Ладно,— говорю я и, подумав, добавляю:— Может, я тоже не приду...

После жесточайшей семейной штормяги, размазывая слезы, я ощупываю левое ухо и с удовлетворением замечаю, что навряд ли к утру оно примет нормальный вид. Чувство солидарности с Сергеем переполняет меня, и я не прячусь после взбучки, как обычно, а нагло выхожу на середину комнаты. Тут только я с удивлением замечаю чемоданы, узлы, разбросанные вещи.

— Придется этого юнга здесь оставить,— говорит маме отец.— В Москву поедем без него.

— Да, придется.— Мама печально качает головой.

— В Москву? Мы едем в Москву, мамочка?

— Да, сынок, теперь мы будем жить в Москве, но ты останешься, ведь нужно заниматься в школе юнг.

— Нет! Не хочу заниматься. Я очень-очень хочу в Москву!

В грустных глазах мамы появляется улыбка, я понимаю, что прощен, и в восторге ношу по квартире.

Отец курит у окна за тюлем. Мама смотрит на меня и плачет.

— Мамочка, не думай, я всегда буду тебя слушаться!

Она гладит меня по голове, размазывает на моей макушке свои слезы.

— Вот и хорошо, Димка, ведь там будет очень трудно...

Как никогда в этот вечер в квартире пахнет табачным дымом, и я долго не могу уснуть.

— Кто я теперь?— слышу я взволнованный шепот отца.— Бывший штурман, пенсионер в тридцать пять лет! Таня, я же ничего не умею...

— Сумеет, Миша...

— Вместо отца и матери у меня была армия — для меня это одно и то же. И вдруг сокращение... Почему я?

— Так у тебя же сердце, Миша...

Потом они говорят о Москве, бабушке, квадратных метрах, но я уже сплю и мне снится столица: веселые люди, по улицам маршируют военные оркестры, дружно сияет медь, висят флаги, а на каждом доме красная звезда...

Пасмурное и дождливое утро следующего дня для меня прекрасно — оно озаряется Москвой.

Я мечтаю непрерывно — завязывая узлы, собирая учебники, и даже когда вижу перед собой Сергею, у меня из головы не выходят звездные шпильки.

— Уезжаешь?— спрашивает он, насупившись.— А многодневка?

— Мы теперь в Москве будем жить,— заявляю я гордо.— Там и запишусь.

На его лице я вижу обиду и зависть. И вдруг всплывает вчерашнее.

— Ну как ты?

Он морщится, потирая ягодицу, и я вспоминаю про свое ухо.

— Меня, знаешь, тоже тут...

Но подъезжает такси, и я мчусь к нему.

Вот и все. Мы уезжаем.

— Скажи,— мой друг держится за дверцу, и глаза его серьезные,— скажи, тебе не жалко уезжать отсюда? Ничуть?

Я оглядываюсь на пустых два окна, на дорожки, посыпанные битым кирпичом, на солдат, выходящих с пачками печенья из военторга.

— Нет,— срывается бездумно с моих губ.— Нет! — кричу я уже из другого мира.

— Но ты ведь пойдешь в летное училище?— Он бежит рядом с машиной.

— Да! — ору я. — Да! — высовываюсь в окно. — И мы обязательно встретимся! — кричу я изо всех сил удаляющемуся белобрысому хулигану.

Меня обуревают нетерпение: в дорогу, в дорогу, в дорогу. Я хватаю огромные чемоданы, нетерпеливо ерзаю в купе с ненавистью глядя на минутную стрелку вокзальных часов.

Но когда поезд уже набирает скорость, когда я вдруг вижу горстку серых домов, самолеты, проходную, школу — все это мокрое мое детство, уплывающее в прошлое, сердце мое сжимается, глаза застилают слезы, и что-то внутри подсказывает мне единственное нужное в этот миг слово:

— Прощай!..



АРОН ВЕРГЕЛИС



ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО

С еврейского

Первое вступление к поэме

НАЧАЛО

У нас весна еще в начале.
На штык лопаты слой земли
Оттаял. Холода не сдали.
Подснежники не расцвели.

У нас весна еще в начале,
И солнца низкого лучи,
Пронизывающие дали,
Невзрачны и негорячи.

Позднее вы бы увидали
Иные нивы и плоды...
Судить о нас весны в начале
Повремените — до страды.

Перевел А. КОРОЛЕВ.

Второе вступление

МУЗЫКА

В минор похоронный меня не вогнали
Освенцим, Тремблинка.
Хорст Вессель зверел, но в крови моей живы
Псалмы и мой Глинка.
И выжила, выжила
Скрипочка рыжая —
Вот ее голос!
И вынесло битву, и голод, и холод
Мое сердце — мой город.
Не стал я чванливым.
Причастный ко взрывам
Победных салютов.
«Ура» не глушило мой стон по убитым,
Замученным люто.
Но это «ура» ворвалось лейтмотивом
И мощным повтором

В мое сердце — мой город
 И там исполняется хором.
 Журчит родничок тут и там,
 По пятам пробегая за мною.
 Мое сердце — мой город
 Звонит вековой колокольной волною.

Перевела Ю. МОРИЦ.

Третье вступление

ВЕРНОСТЬ

Запереть меня несложно?
 Нет, не выйдет ни черта:
 Антизнание — возможно,
 Только — не антимечта!

Увезти из этой шири
 В жизнь иную, в дальний свет?
 Все бывает в антимире,
 Антиродины лишь нет!

И за это,
 свято веря,
 Я готов отдать свой век:
 Что ж, возможны антизвери,
 Но — не античеловек!

Перевел Л. ТЕМИН.

Четвертое вступление

ЛЮБОВЬ

Почем я знаю, явь иль миф,
 Какой грозы зарница...
 Румянцем облако залив,
 Пречистый свет струится.
 Но в пламенном твоём кругу —
 На темной кромке круга —
 Приветить недруга могу,
 Могу отринуть друга...

Неведомы твои пути —
 Бог весть в конечном счете,
 Откуда ты, но во плоти —
 Ты сердца плоть от плоти.
 А если похоть довела
 До белого каленья,
 Откуда ни возьмись — зола
 И пепел пресыщенья.

Тот, кто начало всех начал
 И всех причин причину
 Искал, повсюду различал
 Твой лик, лицо, личину.

Почем я знаю, явь иль миф,
 Какой грозы зарница
 Блеснула, белый свет затмив...
 Лишь сердца зрит зеница.

Пятое вступление

ВРЕМЯ

Я песню выдоха сложу
 И песню вдоха,
 Про то, что хорошо, скажу
 И то, что плохо.

Из рода в род за рядом ряд...
 Покуда вашим
 Богатством, предки, я богат,
 Мне черт не страшен.

Но бедного бедней поэт
 И духом пресен,
 Когда потомкам дела нет
 До этих песен.

Перевел А. КОРОЛЕВ.

Шестое вступление

ПЕРВОЕ

Читатель мой, на свете
 Нас двое в эту ночь.
 Разъяты строки эти,
 И нам уж не помочь.

Друг друга, может, надо
 Прикончить до конца,
 Как в крепости Масада
 Последних два бойца?

Однако наша крепость
 Не замкнута стеной.
 Так что же за нелепость?
 С тобой — я, ты — со мной.

Свежа, как вечность, зорька
 Сегодня и вчера.
 Оружие нам только
 Менять пришла пора.

Не значит перемена,
 Что мы ушли в тираж,
 Что опустела сцена
 И труд окончен наш.

Спешат к далекой цели
 Все старые слова,

Чтоб новые сумели
Жизнь нам открыть сперва.

Строка, душой согрета,
Путь начинает свой.
Читатель, ты ли это?
Ведь я — писатель твой!

У нас с тобою схожи
Привычки — мы друзья,—
Опаздывать негоже,
Не встретиться — нельзя.

Перевел Н. ЗЛОТНИКОВ.

Седьмое вступление

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Никто не вернулся оттуда.
Попасть не спешите туда.
Развалин беспамятна груда,—
Минула племен череда.

Бывают крутыми дороги,
Бывает извилистым путь —
Поглядывать надо под ноги
Иль за поворот заглянуть.

Напрасно торопитесь силой
Протиснуться в створы ворот,
В один понедельник унылый
И ~~в~~ана пора подойдет.

Как только достигнете цели,
Получите без кутерьмы
Наличными всё, что доселе
Вы времени дали взаймы.

Но длится дорога покуда,
Идите по ней без стыда.
Никто не вернулся оттуда.
Попасть не спешите туда.

Перевел А. КОРОЛЕВ.

Восьмое вступление

РАЗДВОЕННОСТЬ

Шутка

Бывает, вдруг чувствую: я — это я и в то же время — *другой* человек.
Представьте, я обменялся с собой пустяком — перчаткой...

Но я передумал, и я говорю себе:

«Верни-ка перчатку мне и получай свою...»

хохочу

(— прежний)

новому я в самом деле

ыряю перчатку к ногам — не миновать дуэли!

*Девятое вступление***КОСМОС**

Перед тем как взлететь на Луну,
Надо было пройти по гречишному полю,
К лесу свернуть,
А уж оттуда до космодрома рукой подать.

Поселок пока не знал, что я лечу на Луну,
Но Антипов, как видно, об этом услышал еще до того,
Как передали по радио утренние новости
(Почему-то еще сохранилась мода —
С прошлого, двадцатого века —
Объявлять о лунных полетах,
Будто это по-прежнему новость...).

Антипов меня догнал
(А космоавтобус уже сигналил!),
И я был, наверно, не слишком вежлив, сказав:
«Не горит, товарищ! Вот возвращусь с Луны —
Тогда обмозгуем вместе...»
Антипов мне возразил:
«Дуют горячие ветры,
Придется, быть может, перебираться на спутник —
Сутки-другие пережить...»
Но я стоял на своем.
И это, как видно, причина того,
Что, когда в антиповском цехе
Неожиданно встал вопрос,
Надо ли запрограммировать
Час отдыха для мехтехнолога,
Люди не знали моего, директорского мнения.
А этот новый Голем — механический технолог —
За дни, что провел я в космосе,
Дошел до такой усталости,
Что ему оставался единственный выход —
Зажечь на своем табло
Надпись: «Хочу отдохнуть! Отдохнуть...»

Из сказанного вытекает:
Винovat не Антипов, а я!
И прошу председателя этого собрания,
Чтобы только чистая правда была внесена в протокол.

*Десятое вступление***БЕЗ РОДИНЫ**

Скорее! Все сюда! И надо поспешить вам...
Иль не слышали вы? Настал желанный час:
Всевышний снизошел!
Он вашим вял молитвам —
Плавающий остров
ВЫДЕЛА ДЯ ВАС...

*Двенадцатое вступление***ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО**

Когда мечта трубила ранний час
И мчалась жизнь, больших трудов не стоя,
Подросток, он увидел в первый раз
Колечко золотое,
Колечко золотое.

Невесте тыща лет, попутал бес,
Да разве дело в разнице — пустое!
А на ладони расточало блеск
Колечко золотое,
Колечко золотое.

Тянулись дни неспешные его,
Неслись ее, как бы страхась простоя,
И трудных лет вершило сватовство
Колечко золотое,
Колечко золотое.

Переступив привычного порог,
Они ушли не за людской тщетою,
Дорогу катит солнышко у ног —
Колечко золотое,
Колечко золотое.

Перевел Н. ЗЛОТНИКОВ.



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

ВЛАДИМИР ПЕРВЕНЦЕВ



ЗИМНИК

Периодически газеты сообщают о перевозках в Сибири важных народнохозяйственных грузов по зимникам. Что это за дороги? Какие машины курсируют по ним? Кто сидит за рулем?

Из Артыка, поселка Восточной Якутии, уходил на зимник автокараван.

Март на исходе. В поселке скрипит еще под ногами сухой, рассыпчатый снег, остро прихватывает щеки морозом, и дворовый термометр, прибитый у дверей шоферской гостиницы, показывает ниже 40 градусов. Но весна приметна. Желтый лучистый диск солнца подолгу зависает над горизонтом, и чувствуется, как весеннее тепло бережно, но настойчиво отталкивает зиму прочь. И стада диких оленей метнулись на север. Они будут преследовать весну неотступно по пятам, пока не упрутся в шаткий ледовый настил океана.

Мы тоже пойдем к Ледовитому, пойдем по зимнику на чешских «татрах» в устье реки Яны, к заполярному прииску Депутатский с грузом горно-обогачительного оборудования. Депутатский дает стране касситерит, обогащенную оловом руду. Из Артыка до него две тысячи километров.

Надо торопиться. Весна, гляди, растопит временные дороги, скованные по зиме крепчайшим ледовым грунтом. В прошлом году, рассказывают, двое водителей попали на Яне в наледь, весеннюю опасную ловушку. Машины с грузом — на дно, а они чудом прибились к берегу. Весна — радость, весна тут и гибель. Вот почему последние караваны машин спешно покидали Артык. Тяжелогруженные «МАЗы», «КРАЗы», «татры» шли вблизи гостиницы днем и ночью, проминая дорогу так, что стонали заиндевелые оконные стекла. Каждый караван — четыре, три, минимумом две машины. В одиночку на зимнике не рискуют.

Зимник проложен через перевалы Черского и Верхоянского хребтов, по болотным тундровым толям, по руслам рек Томпо, Делинье, Адыче и, наконец, Яне. Артыкские шоферы считаются асами северных дорог. И автобаза здесь — крупное современное хозяйство. Ремонтный цех просторный, как самолетный ангар, сияет белым кафелем. База укомплектована и отечественными марками грузовых автомашин, и чехословацкими «татами». Подобные базы я видел вдоль всей Колымской трассы, пока добирался из Магадана в Артык. И в Березке есть и в Сусумане, не говоря уж о самом Магадане, где находится штаб-квартира Магаданского транспортного управления. Артык, находясь на территории Якутии, подчинен Якутскому транспортному управлению.

Дорожная и транспортная власть двух мощных северных организаций, наводящих десятки тысяч машин, поддерживает жизнедеятельность огромного который раскинулся на многие тысячи километров, захватив и полярные тны Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Всевидящие, всеслышащие главные черские пункты следят за каждой машиной в пути. Завтра и наши машины

черными фишками примагнитятся к широколистной карте в штабе Якутского управления.

В северных перевозках на автотранспорт выпадает важная, почетная, но и нелегкая доля. Ни самолетами, ни морскими или речными судами в короткие навигационные дни не сделаешь того, что делают неутомимые колесные труженики. Лимитирует же использование всей многосильной мощи отсутствие в высоких широтах постоянно действующих трасс, таких, как, скажем, Колымская с круглогодичной эксплуатацией. Колымская трасса, протянувшаяся от Магадана на тысячу километров к северу, обрывается в следующем от Артыка крупном населенном пункте Усть-Нере. А вот дальше на север к новым приискам, новым поселкам, новым промышленным районам, лежащим за «топью блат», путь летом заказан. И тогда-то выручает древняя подсобница русского человека — зимушка-зима.

Для вящего вдохновенья прочел перед отъездом Короленко, как государевы ямщики на казенный счет везли его по зимнику Лены в далекую Амгу: «Между тем мы все неслись по льду Лены... Мороз, великий владыка северной пустыни, сжимает воздух. Иней валится широкими хлопьями и искрится в лучах луны. По огромной реке гремят точно выстрелы из пушек. Это лед трескается от мороза, и протяжный гул долго стоит на реке, уходя все далее меж гор, ущелий и сопкок...» Славно-то как! Может, и я услышу пушечные выстрелы льда...

В приподнятом до восторга настроении я шел на предотъездное совещание водителей нашего каравана, сегодня утром прибывших из Магадана. Им дали сутки на окончательные сборы. Встреча состоялась в кабинете директора. Директор, пожилой грузный человек с добрым, пронзительно умным взглядом серых глаз, представил мне трех водителей. Василий Сарычев, в кабине которого я должен был начать путешествие, крепко пожав мне руку, произнес:

— Теперь мы в историю попали. Гремит, говорят, Артык на весь Союз.

Ему двадцать пять, не больше, и борода а-ля Хемингуэй, рыжая на щеках, чернеющая к подбородку, двухцветной закрашки, придавала ему романтический вид бывалого морского волка. Андрей Митин, высокий улыбчивый парень, и Григорий Лобов, круглолицый и флегматичный, как мне показалось, человек, были одного возраста — в районе тридцати.

— Первой пойдет машина Лобова, — сообщил директор. — Он опытнее всех, третий рейс на зимнике. За ним Митин, новичок, и замыкающим Сарычев с корреспондентом. Сарычев тоже знает что к чему.

— Второй зимник, — вставил водитель.

— Пойдете на Усть-Неру, — деловито пояснил директор, — а оттуда до Кебюме проложен новый зимник. Он вдвое сократит дорогу, что через Аркагалу в Оймьяконе. Надо спешить, сами знаете. Хоть и не принят зимник на Кебюме, но ребята ходят. Кочка, говорят, сильнющая, скоростенку не удержишь, но вполне проходима. Так что в добрый час!

Безветренное морозное утро.

Две красные и голубоватая «татры», «королевы», как их зовет бойкий и часто напевающий про себя Сарычев, стояли на дворе автобазы. Трехосные тягачи цепляли за собой прицепы. В тягачах Сарычева и Лобова высоко над бортами громоздились металлические детали конвейерно-скрубберных и гидролеваторных приборов, имевших назначение добывать и обогащать оловянную руду. Тут были трубы различных диаметров, агрегаты, запасные узлы к ним. Горы металла, высоко возвышаясь над кабинами, крепились металлическими тросами к бортам. В прицепах и того и другого водителя погружены бочки скруббе с крышками для промывочных устройств. Одна такая бочка с крышкой диаметром около двух метров и длиной до трех весила несколько тонн и занимала площадь прицепа. Бочки двумя третями высоты поднимались над бортами шая прицеп, как выяснилось в дороге, необходимой устойчивости. В дальние многие горькие часы мы пережили из-за заведомо аварийной загрузки. В и прицепе Митина находились гусеничные звенья и другие запчасти тра:

бульдозеров и автомашин. Груз был компактно уложен и не возвышался над бортами.

Основной груз составлял продукцию Магаданского ремонтно-механического завода. Ребята хлопотали у машин, укладывая кое-какой провиант: хлеб, консервы, сахар, банки молочной сгущенки, репчатый лук и спирт в пол-литровом разливе. Лобов приволок целый мешок пельменей, который он забросил вместе с буханками хлеба в кузов тягача — естественный холодильник. Я решил усомниться в необходимости такого количества еды и пошутил, не собираемся ли мы открыть по дороге пельменную, на что Лобов с доброй снисходительностью предусмотрительного человека ответил:

— Кто на Яне не бывал, тот и горя не видал.

Я огпарировал известной мне уже прибаутной:

— Я не буду, я не стану, не поеду я на Яну.

Сарычев рассмеялся:

— Пока не поздно, можно передумать.

«Королевы» движутся со скоростью не более 40 километров в час. Трасса ведет на север, к Усть-Нере. На подъемах скорость падает. Многотонный груз сдерживает ход. И справа и слева невысокие, покрытые снегом сопки. На склонах сопок на белом снежном фоне стройная щетина невысоких тонкоствольных лиственниц. В неглубоких распадках лиственницы толпятся гуще и, словно черные ручьи, сбегают с высоты в низины.

День солнечный, и снег зеркальным зайчиком слепит глаза. Веки суживаются в щелки.

В кабине жарко. Я следую примеру Сарычева и снимаю пальто, шапку. Устраиваюсь поосновательней — путь долгий. Салон машины комфортабелен. Мягкое сиденье, покрытое кожей, не уступит домашнему креслу. «Королевы», создавшие добрую славу чехословацкому автомобильному производству, давно трудятся здесь, в Сибири, на крупнейших стройках. Сейчас их встретишь на Саяно-Шушенской ГЭС, на Зее, в Усть-Илиме. Они бок о бок с отечественными «КРАЗаами», «МАЗаами», «ЗИЛаами» ведут прокладку и новой железной трассы — БАМа. На крыше внутреннего багажника три переведенные на металл картинки — красивые стереотипно улыбающиеся девушки, — созданные художественным старанием Сарычева. Они, безусловно, служили вдохновением в серо-белом однообразии снежного ландшафта, неотступно окружившего со всех сторон движущийся на север караван.

Сарычев закуривает, смотрит на картиночки, привычно бросает коробок на панель с приборами и, помолчав, начинает глухим, низким голосом напевать:

Лежишь ты, сопками зажата.

Уклон, подъем и поворот...

Сарычев посмотрел на меня, как бы ища одобрения, но и без того уверенный, что и его песня и его голос не могут не вызвать положительных эмоций.

В рейс далекий машина пошла.

Трасса, Колымская трасса, Магадана душа.

С таким певцом и до края света не соскучишься! Он пел и глядел вперед на дорогу, где, сметая небольшую порoshу, юркала машина Митина. Впереди идущий Лобов вырвался значительно дальше, и только иногда на дороге, вьющейся, как змеиный хвост, по-над сопками, мелькала его «татра» с высокой бочкой в кузове прицепа.

Мне нравился Сарычев с его твердыми, угловатыми чертами лица, несколько смягченными необычной двухцветной бородой, коротко падающей на овал высокого воротника зеленого свитера, вязанного из грубой шерсти. И баранку держит играючи, словно гитару, легко, непринужденно, с особым форсом своего водителя. На какие-то мгновения он оставлял руль, чтобы прикурить трубку или, рассказывая о своей жизни, усилить звучание той или иной фразы

взмахом обеих рук. По моим наблюдениям он принадлежал к типу вечно неугомонных людей, не приживчивых ни к определенному месту, ни к людям. Родился он здесь, на Колыме. Учился в Магадане. В восемнадцать сел за баранку, потом служил в знойных среднеазиатских степях. После армии подался на только что рождавшуюся близ Братска Усть-Илимскую ГЭС. Год проработал, скучно показалось. «Короткие слишком рейсы, — объясняет он, — карьер — плотина, плотины — карьер. Пять минут туда, пять обратно. Шибко не разбежишься». Вернулся в Магадан. Приятели зазвали в Артык, приехал. Один раз ходил на зимник. По его словам, только на зимнике душа и разгулялась. По нем и дальность, и трудность, да и подальше от присмотра начальства, что он воспринимал как полную свободу.

— Ты не женат? — спросил я, уверенный вполне, что такой певун, весельчак и красавец не может не быть семьянином.

— Зачем? — переделнул он плечами. — Дополнительная нагрузка, а я вольный казак. Хочу — тут, хочу — там. Посорю деньгами — кто чего скажет? С кем хошь, с тем гуляй... А потом, как посмотрю на своих друзей — сводятся, разводятся. Меня-то не поймать — точно. Только привяжется, ан нет, фиксируешь: довольно. Благо колеса всегда рядом — в кабину, задний ход на малых оборотах, будь здорова...

Сарычев заливался смехом. Но вдруг он становился грустным и задумчивым, долго ехал молча, дымил и, вздохнув тяжко-тяжко, пел старинный романс:

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя
Не потому, что я ее любил,
А потому, что мне темно с другими...

Смеется он надо мной, рассказывая про себя разную всячину; ведь так петь, как сейчас он пел, мог только очень сердечный, искренний и душевный человек. Зачем он на себя берет разухабистую браваду колымского донжуана? Три девчоночки улыбаются, и только сейчас я замечаю, что все три — одно лицо с одной переводной картинки.

Вскоре появилась Усть-Нера и на въезде бензоколонка. Сарычев вылезает из кабины. Бензозаправщица средних лет появляется в темном провале дверей.

— Масла не дам, мало, — отвечает она сурово на просьбу Сарычева подлить четыре литра в канистру.

— Я ж на Депутатский, — молит Василий. — Дайте. Всего четыре литра.

— Не дам. Ты один, что ль, такой?

— Эх, хозяйка, хозяйка, — совестит Сарычев.

Хозяйка вдруг улыбается и озорно спрашивает:

— Почему борода разная? Черная и рыжая?

...От Артыка до Усть-Неры гладкое шоссе — последние километры Колымской трассы. Полотно дороги покрыто ровной, сдавленной шинами снежной коркой. Машины прибавили скорость. Стрелка спидометра поднимается иногда до отметки 50. Дорога вьется в широком распадке сопки, покрытых все той же молодой щетиной голых лиственниц. Сопки смыкаются вдали сплошной грядой — там перевал в горной системе хребта Черского.

Дорога забирала вправо, а слева по ходу открылась огромная заснеженная равнина с далекой грядой островерхих сопки.

— Там Индигирка, — произнес между прочим Сарычев.

Река спит, укрытая льдом и снегом. По крутым скалам можно было только догадываться, что у их подножья пролегло русло знаменитой Индигирки... XVII век. Предприимчивые искатели приключений и доходных дел начинал освоение этого дикого северо-восточного угла России. Иван Постник открыл Индигирку, Михаил Стадужин — Колыму, а Елисей Буза — Яну. Золото и другие земные ценности притянули сюда вольных и невольных людей...

Встречные машины первыми останавливаются на развязках: идущему зимник уступи дорогу — гласят старые правила.

Золотая Индигорка осталась позади. Заметнее стал подъем. Трасса врезана в бок сопки и, некруто петляя по склонам, ползла вверх к перевалу. Этот перевал, говорят, построже Бурхалинского. Здесь на памяти Сарычева погиб шофер Туганов. Его хоронили в Артыке.

— Не вписался в поворот,— коротко говорит Василий о причине гибели.

На спуске с перевала бульдозер расчищал завалы снега. Недавно пуржило. На деревянной дощечке, прибитой к покосившейся неструганой палке, читаем: «Кебюме».

— Это уже зимник,— говорит торжественно Сарычев.— Теперь до самого Депутатского.

Первые километры шли сравнительно легко, как по обычному бездорожью. Корпус машины плавно переваливался с боку на бок, «скоростенка» действительно поубавилась. Лениво дремалось. Лес обступил дорогу, закрыв от глаз сопки. Повернули на указатель «Селерикан» (название реки). Съехали с крутого берега на лед. Так вот он, зимник! Две гладкие, как асфальт, колеи (в начале зимы их пробивают бульдозеры), разделенные снежной насыпью, призывно манили соскучившихся по быстрой езде шоферов. И они ринулись как вырвавшиеся из плена. От быстрой езды и настроение приподнятое, хочется петь, говорить смешное. Только снежная пыль из-под колес впереди летящих машин. Но вот Лобов на крутом вираже, не справившись с управлением, въехал в снежную придорожную насыпь. Мы остановились.

— Гонишь как ошалелый,— укоризненно выговаривает Сарычев.— Так и прицеп можно положить. Ты что?

Лобов только улыбается:

— Я и то смотрю, виляет, кренится, аж сердце замирает. Но ничего, как ванька-встанька...

И снова вихрь езды. Вот те зимник! Трансконтинентальное шоссе. Крути знай баранку влево, вправо — строго по сотворенному природой руслу.

Говорят, счастье не может длиться долго. Вскоре мы в этом убедились. Речной проспект обрывался подъемом на берег. Прижало к спинке сиденья — так крут был подъем. Мы въехали на лесной, болотный зимник. Деревья подступали к самой дороге, и детали груза то и дело бились о стволы, срезали ветки. Зимняя лесная дорога незаметно перешла в дорогу по замерзшим кочкам болота. Трудно сравнить с чем-либо езду по кочкам, или по кочке, как тут говорят. Вы подпрыгиваете не то что вверх-вниз, вверх-вниз, как на дороге гармошкой, нет, вас подбрасывает и вверх, и вниз, и вправо, и влево, и куда-то между верхами, низами, правыми и левыми сторонами. На вашу голову, плечи, бока, руки и ноги сыплются весомые удары всех металлических частей кабины. На теле не остается живого места. Пешком бы идти, ведь все равно «татры» плетутся со скоростью черепахи.

Между тем быстро темнело. Густая синева легла на заснеженные сопки, небо зеленело.

Дорога медленно ползет вверх. Здесь Чертов перевал. Почему Чертов, нам неизвестно. Шоферы так прозвали. В отличие от минувшего перевала с его ровным подъемом вверх дорога тут то ползет по сопке вверх, то ныряет в долину, а потом снова вздыбливается крутизной.

Зажглись первые, самые яркие звезды. Желтый свет фар упирается в лесную стену, похожую на трубы большого органа. Вверх-вниз, вверх-вниз, то прилетит к спинке сиденья, то бросит вперед, на приборную доску. Справа от обочины медленно выплывает цифра — 100. Дорожный знак километража. Он указывает расстояние до Кебюме. Проходит час, и другая дощечка выплывает — 95. o-to! Моторы ревут. Сарычев зевает и часто моргает. Я предлагаю взбодриться. Он отмахивается и усиленно всматривается в освещенную светом фар. Красные сигнальные огни идущих впереди машин мелькают, как огни нег маяка в штормовую погоду.

Короткий перекур у остановившихся гуськом машин. Трогаем, валимся с боку на бок, и вдруг слева от дороги на открывшейся поляне домик и призывно дымит труба. У двери дома человек. Мы и не знали, что так близко зимовье и можно переночевать. Но боязнь весны гнала только вперед. «Татры» в клубах дыма проносятся мимо. Мы спешим. Каждая минута дорога. Снова лесная дорога, темень. Сопки светятся тусклым белым светом, а звезды стали еще ярче. Я подремываю. Меня будит толчок и внезапная остановка.

— Что, почему? — обращаюсь я к Сарычеву.

Он, не выходя из кабины, напряженно глядя в боковое зеркальце, словно оцепенев, как-то обреченно-спокойно произносит:

— Прицеп завалил.

— Как! Какой прицеп?! — Я еще не представлял всей степени несчастья, но понял, что наше лихое движение вперед дало осечку. А ведь это только начало пути... Мы вышли из кабины.

Прицеп лежал на левом боку, словно подстреленный заяц с поджатыми лапками-колесами. На развороте Сарычев, видимо, не рассчитал скорости, и многотонный скруббер по инерции увлек за собой и весь прицеп, лишив его опоры на четыре точки. Свободно вращающееся водило, которым крепится прицеп к тягачу, не смогло удержать от переворота. Случись такое на перевале, и прицеп и тягач с ним заодно угодили бы в бездну. Деревянные борта в некоторых местах проломаны, но многотонный скруббер с крышкой не вываливался, так как его удерживали стальные тросы. Митин и Лобов, долго не видя света наших фар, вернулись.

Митин предложил тут же действовать:

— Дернем сейчас — и уля-улю дальше зашустрим...

Он стал помогать Сарычеву приспособлять толстый стальной трос. Один его конец укрепили за скруббер, другой за машину Сарычева, которую, в свою очередь, на тросе тянул Митин. Казалось, что сцепка двух машин должна решить всю проблему. Когда машины, ревя моторами, медленно сдвинулись с места и трос, оторвавшись от снежных сугробов, вытянулся в нитку, прицеп тоже тронулся на бок, но на колеса не встал, а продолжал в лежачем положении скользить. Не имея точки опоры, он мог скользить до бесконечности, как сани. Тщетны были и последующие попытки что-либо сделать.

Сказывалось напряжение долгой ночной езды. Решаем вернуться в зимовье, что осталось позади, а утром попробовать кое-что предпринять.

Федор, хозяин зимовья, встречая у порога, рассказывает:

— Смотрю, машины — и мимо. И чего, думаю, не остановились?.. Все заходят, а эти нет. Лег. Слышу, что-то загромыхало и лягз. Вот оно что...

Федор, как он представился, без отчества и фамилии, был из той плеяды бобылей-зимовщиков, которых забрасывают в шоферские временные приюты на всю зимнюю автомобильную навигацию. Они держат в тепле зимовье, предоставляют огонь, воду и ночевку без платы. Обычно на такую службу назначаются чем-либо провинившиеся шоферы или работники автохозяйств. Федору за пятьдесят. Лицо крупное, красивое, с римским прямым носом и чувственными пухлыми губами. Он спокойно-медлителен и все делает неторопливо и величаво. Федор сочувственно оглядывает расстроенных шоферов и успокаивающе говорит:

— Чай вскипятим, дрова положим, труба красная — все в законе...

Сарычев пытается объяснить:

— Черти его дери. На ровном месте. Не пойму. Груз то ли переместили туда-сюда? Или газанул?

В избе тепло. Бревенчатая комнатенка обогревается буржуйкой — сварг железным коробом с трубой в потолок. У одной стены кровать с железными спинками для хозяина и две раскладушки для случайных путников. На раскладушках и кровати одеяла, пропитавшиеся машинным маслом, бензином, дымом топливом: и хозяин, как видно, и тем более гости спят не раздеваясь. Чев сидит на поленьях весь черный и сникший.

— Это все Прохоров, кладовщик,— говорит он с усталой укоризной, обращаясь к молчавшему Лобову.— Помнишь? Говорил ему — перегруз. Ничего, говорит, бери. Уговорил. Его мало побить...

Лобов позевывает. Сарычев не успокаивается:

— Прицеп-то на восемь тонн рассчитан, а в этом скруббере все десять. Нет, побью я морду ему, как вернусь в Магадан.

— Чего бить-то его?— зевнул Лобов и резонно заметил:— Себя бей.

В перегрузе машин интерес обоюдный и завода-поставщика и шофера транспорта. Шоферу выгодно вести как можно больше веса и на возможно большие расстояния — подсчет заработка ведется по тонно-километрам. Заводу, в частности Магаданскому ремонтно-механическому, и его кладовщику выгодно как можно скорее очистить склады, а дальше не их забота. Вся ответственность транспортировки ложится на плечи шофера. Шофер, приняв груз, становится полным ответчиком за его доставку к месту назначения. Завод, передав продукцию еще на своей территории, считает дело закрытым. Дойдет или не дойдет груз — не его забота. Шоферы поставлены в положение, когда зачастую приходится идти на риск ради материальной заинтересованности. Им, правда, ставят ограничения, пределы тяжести. Но шоферы берут иногда больше чем возможно, надеясь на случай, на удачу: авось проскочат. Сарычев не проскочил.

Ранним утром разбудил холод. В печурке прогорели дрова, и зимовье быстро остыло. В окне брезжил слабый синий свет. Сарычев торопил. Удрученность и безнадежность вчерашнего вечернего состояния сменилась бодрым желанием деятельности и надеждой. И сам прицеп, лежащий на боку у обочины гладкой колеи зимника, в розовых лучах морозного солнца выглядел не так трагично, как ночью, освещенный немигающими глазами машинных фар. Но сколько ни мудрили ребята, с какой только стороны ни заезжали, как ни крепили металлические концы поминутно рвавшегося стального троса, ничто не помогало. Прицеп так и лежал на боку с поджатыми лапками-колесами.

— Пустое дело, разве такую махину поднимешь?— удрученно замечает Лобов, подойдя к Сарычеву и Митину, сворачивавшим в пегли расшерстленные разрывом концы троса.

Сарычев только зло зыркнул. Его онемевшие на морозе голые руки, связывающие трос, потому что без перчаток сподручнее, багровели на ладонях ссадинами. Он не сдавался. Снова ребята раскинулись по кабинам. И новая попытка не принесла успеха. Снова вязали трос, и снова он разлетался лохмами. Руки Сарычева были уже не в ссадинах, а сплошь кровоточили. Все наши мечты на скорую ликвидацию аварии рушились. Помощи ждать было неоткуда. Вряд ли и проезжая машина с добавкой лошадиных сил выручит. Решаем бросить прицеп, благо его никто не стащит, и ехать в Кебюме просить помощи.

Три дня мы потеряли в этом далеком якутском поселке, организуя спасение прицепа. Нашим спасителем оказался тракторист, молодой паренек Борис Баскаков родом из Подмосковья. К вечеру третьего дня он приволок вконец разбитый прицеп в Кебюме, но, к сожалению, в полукомплекте. Сорвалась тяжелая крышка скруббера, и ее пришлось оставить на дороге, так как ни поднять, ни тащить на тросе ее нельзя было из-за возможности повредить.

Ложатся прицепы, обрываются тросы, ломается и крошится металл, а человек... Он, видимо, крепче всяких стальных тросов и сплавов. Сарычев, небритый, усталый, но с каким-то веселым блеском в глазах и решительной уверенностью, говорит:

— Без крышки ехать не могу. На мне значится. Дорогая штука, но я вас еще догоню...

Сарычев остается в Кебюме. Он должен собрать груз, отремонтировать прицеп и только тогда в дорогу, если, конечно, успеет. А нам надо двигаться вперед только вперед, нам надо обогнать весну.

В отличие от Сарычева Андрей Митин, в кабину которого я теперь переся, обладал особой мужской сдержанностью и равновесием духа. не поддаю-

щимся внешним раздражителям, какой бы характер они ни носили. Когда он говорит о чем-то, кажется, что он знает всегда больше того, о чем тебе сообщает, не выбалтывается попусту. Четко и уверенно он вел машину, и за этим чувствовался большой опыт, прекрасное знание технических свойств машины. «Татра» Митина, как и Лобова, тоже из новых. Общий вес с прицепом более 40 тонн. Стоимость груза, как написано в накладной, 18 тысяч рублей. И прицеп не восьмитонный, а новенький двенадцатитонный. С таким прицепом еще никто не ходил на зимник. Митин взялся. В тяжеловесности груза таилась, как потом выяснилось, опасность иного рода.

Во время совместной поездки вот что я узнал из его биографии. Жена Митина Тоня работает в библиотеке в Артыке. Сын Сергей трех лет. Сына он любит особо.

— Парень он у меня ласковый, домашний, — с мягкой, теплой интонацией объясняет Андрей. — Яслей боится. Пытались отдать — куда там. Плачет.

Начинал Митин шоферить в Краснотурьинске на Урале. Там и познакомился с Тоней на улице в воскресенье, привлеченный красотой и ладностью фигурки девушки. Андрей работал в то время уже на бензовозе, что считалось значительным повышением после старенького драндулета, на котором он развозил продовольствие по магазинам. Как ни велико в собственных глазах казалось ему новое назначение, все же он постеснялся представиться девушке бензовозчиком. Он отрекомендовался студентом. Девушка не без гордости ответила, что она тоже будет студенткой и уезжает в Свердловск сдавать экзамены в пединститут. Городок небольшой, и они часто встречались без всяких уговоров на свидания. Не раз Тоня видела своего нового знакомого студента за рулем лихого бензовоза, но при встрече ни одним словом не обмолвливалась и не любопытствовала на сей счет. Парень ей нравился, и она боялась разоблачением нарушить их дружбу.

Вскоре она уехала сдавать экзамены, а Андрей буквально сбежал с грузовой автобазы и устроился в ответственное учреждение возить ответственного работника. Он разъезжал, к вящему удовлетворению своего тещеславия, на «Волге», при галстучке и белой сорочке, и его не раз принимали за самого хозяина, когда он ехал один в машине.

— Как бобик столичный — все в аккурате, девчонки так и падали, — вспоминал теперь Митин с мудрой снисходительностью к заблуждениям своих юношеских лет. — Ну, думал, теперь и к Тоне не зазорно подкатить.

Вернувшись, не пройдя по конкурсу, Тоня сразу отметила в нем изменение: горделивость так и выпирала. Сам же Андрей поспешил со своей радостью и гордо заявил, кто он, где и кем работает, и тут же сделал ей предложение. Тоня рассмеялась: «Андрей, а ты мне больше нравился на бензовозе». Андрею пришлось краснеть, но свадьба состоялась. Поженившись, они выехали в Артык, где уже работал брат Митина Владимир, который расписывал в каждом письме красоты Севера. Он же, как только они приехали, помог с квартирой и первые, особенно тяжелые годы опекал советами брата, приучая к искусству вождения по северным трассам.

Работая в Артынской автобазе, Андрей исколесил немало тяжелых дорог, груженный металлом, оборудованием, щебенкой, углем и продовольствием. И пурга его заносила так, что сутками сидел в снежном плену, и на крутых поворотах разворачивало с опасностью для жизни, но неизменно груз доставлялся по назначению. Присковые поселки живут верой и надеждой на машины. Машины на Севере все. Иная гордость пришла к молодому водителю — гордость от сознания своей необходимости для людей. Тоне нравился сильный и уверенный в своей силе муж.

Вскоре после приезда Андрей свез Тоню на своей «татре» попутным рейсом в Магадан сдавать приемные экзамены на заочное отделение пединститута. К общей радости супругов, Тоню приняли в институт. «Гляди, бросит тебя жена, как выучится», — шутили друзья. Андрей отшучивался: «За один ум, что ли, любят

С рождением Сережки забот прибавилось, но Тоня не бросала учебу. Мачонка на период сессий оставался с отцом.

— Я и сейчас, уезжая, договорился с женой, что, как вернусь с зимника, сразу в отпуск, с Серегой посижу, а Тоне надо в Магадан на весеннюю сессию...

Не часто встретишь столь завидное мужское самопожертвование...

...Зимник шел по ровной плоскости тудры. Сразу же за Кебюме встретились две или три машины, идущие с севера. Нас окружала унылая грустная равнина, кое-где поросшая жалкой, чахоточной тайгой. Мы выехали на плоскогорье между Черским и Верхоянским хребтами. Солнце неотвязно катилось своей дорогой.

— Жаль Сарычева, — первым нарушил молчание Андрей. — Пока отстоит на ремонте, неделю слижет, а сейчас каждый час дорог. Светило на летнюю вахту становится.

— Бедный парень, — соглашаюсь я.

— Бедным его не назовешь, — смеется Митин. — Василий скоро забывает горечь. Да и у женщин в большом почете — не скучает. Парень нарасхват. И в Кебюме не дадут ему горевать. Не поверите, дуэль из-за него была. Бабья дуэль. Каково! Пошел он как-то с Сонькой в кино. Буфетчица у нас в столовке Ну, чин чинарем, берет билет, входят в фойе. Я с Тоней тогда на тот же сеанс ходил. Врывается тут Валентина, старая его приятельница. Она из нашей бухгалтерии. Налетела на Соньку, и пошла катавасия. Обе сильные, здоровые. А Сарычев сел рядом с нами и фильм смотрел «Неуловимые мстители». Столько у него баб, а все холостякует. Когда выбор большой, разве что усмотришь?.. Говорят, жену свою страсть как любил. Умерла в двадцать лет. Рак. До сих пор звездой своей зовет. Теперь чуть что — берет гитару и поет: «Одной звезды я повторяю имя» — так, кажется. Она и его полюбила только за эту песню. Чудак человек. А может, и не чудак. Одна звезда должна быть у человека, даже если сгорела. В звездах, если их много, заблудишься...

Тихое, убаюкивающее движение несло нас к Верхоянскому хребту. Ределая тайга часто сменялась широкими, открытыми, залитыми солнечным светом снежными полями, перепаханными оленьими тропами. Следы вели на север.

Замигали звезды, зажелтели справа от дороги тусклые оконные огоньки поселения Каменистое. Короткий совет. Идти дальше и с ходу взять верхоянские прижимы, снискавшие дурную славу у шоферов, или заночевать. Андрей настроен по-боевому: только вперед! Лобов осторожен.

— До утра подождем. Да и спать там негде, — говорит он тоном старшего. Ночуем в домике дорожного мастера.

Между Каменистым и Сотым километром, как называется развилка двух зимников, Магаданского и Якутского, лежит строгий перевал Верхоянского хребта. Узкая автомобильная дорога жметя по склонам гор, круто взбираясь вверх. Самые опасные для шоферов участки называются Черный и Желтый прижимы. Тут дорога действительно вплотную прижалась к скалам, словно боясь отвесной головокружительной крутизны, уходящей вниз метров на двести, туда, где голубеет скованная льдом река Хандыга. Недобрая слава идет о прижимах среди шоферов. На самом прижиме происшествий мало — шоферы осторожны, — а вот до и после, когда внимание шоферов расслабляется, ежегодно что-нибудь да случается. В Артыке ходили разговоры, как недавно на подходе к прижимам свалился шофер Пузин. Машину понесло кабиной вниз. Посыпались железные бочки с касситеритом. Ударяясь о скалы, разлетались автомобильные части. Машина, пробив лед, рухнула в Хандыгу. Шофер уцелел, потом, правда, год лечился.

Яркое солнце, безоблачное небо и сопки, сопки — бесконечный ряд. Дорога тошла на подъем. Переехав деревянный мост, Лобов останавливает машину и предлагает осмотреть место падения Пузина. Мы выходим из кабин. За левым изомезом дороги провал в бездну. Внизу видны вмерзшие в лед скрюченные части четырёх автомобилей. Холодом сдавило спину.

Машины медленно, с тяжелым моторным ревом ползут вверх. Впереди голубоватая метрах в ста от нее красная Митина. В правом боковом окне, у которого сижу, медленно проплывает серая каменная стена, уходящая вверх отвес-

но и далеко, так что и приблизив глаза к стеклу, не видишь ни синего неба, ни вершины. Машины карабкаются по узкой одноколейной дороге с довольно частыми разъездами для двух машин на поворотах. С такого поворота вдруг увидишь машину Лобова где-то вверху, вознесенную как бы на крыльях и едва движущуюся. Слева, если глянуть в окно Митина, виден почти у самых колес срез дороги, а ниже просматривается только правобережье Хандыги и грозозащиящиеся на том берегу снеговые горы. Так что, сидя на своей пассажирской стороне, я сейчас не испытывал захватывающего ужаса высоты. По обочине дороги местами попадались нерассыпанные кучи песка и гравия.

— Некогда раскидать дорожникам. Да кто с них тут спросит,— замечает угрюмо Андрей.

Солнце, поднявшись из-за вершин гор, освещало всю панораму горного перевала. Две колеи, очерченные протекторами колес, впитывали солнечное тепло, и глаз различал на темном фоне светлые блески талой воды.

— Развозит,— тревожно замечает Андрей.— Закон физики. Черное скорее впитывает тепло... А внизу лед.

Митин легким щелчком нажал на приборной панели кнопки автоматической блокировки осей колес, что обеспечило более надежную сцепку колес с полотном дороги. Подъем на участке по всем признакам должен быть строгим. Скорость не превышала скорости пешехода, задумавшегося над жизненными проблемами. По тому, как твое тело медленно передвигалось в пространстве и его как бы кто удерживал, чувствовалась за спиной огромная масса груза, которая тянула и тянула назад, под крутой уклон дороги. Блокировка и новые протекторы питали нашу надежду выкарабкаться из плена Черного прижима.

Водяные блески, расплывшиеся кое-где в широкие зеркальные отражения, назойливее лезли в глаза. Их было не унять. Карнавал огней, море огня. А может быть, мне кажется, потому что все мое внимание сейчас было обращено на дорогу. Андрей подался ближе к рулю, крепко охватив его сильными цепкими руками. Он тоже неотрывно, словно зачарованный глядел вниз поверх капота. С тяжелым стоном «татра» вылезла на еще более крутой участок, чем прежде. Он тянулся метров на пятьдесят, и в конце был виден взгорок, справа ограниченный вертикальным срезом скалы, а слева без всяких и искусственных и природных ограничителей разверзлась двухсотметровая бездна, от которой нас отделяло крошечное пространство обочины.

— Шлифует,— тихо, с опаской произнес Митин, и на его худых острых щеках забегали желваки, губы сжались в тонкую нитку.

— Что такое?— не сразу понял я.

— Колеса прокручиваются. Солнце-то как поливает,— пояснил он, не отвлекаясь в мою сторону.

На какие-то доли секунды машина неожиданно остановилась, но потом протекторы, подмяв грунт, найдя слабую зацепочку, вновь вернули движение тягачу и прицепу. Я рассчитывал, что нас должна спасти огромная тяжесть, приходящаяся на каждый сантиметр площади опоры покрышек с грунтом.

— Ну, милая, давай, давай!— воскликнул Митин.— Чего балуешь?— И он шуточно поглядел панель с смонтированными приборными датчиками.

И вдруг машина словно зависла в невесомости, ни вперед, ни назад. Единственное короткое мгновение длилось подвешенное состояние. Машина медленно двинулась вспять. Митин лихорадочно жал кнопки блокировки, оглядываясь в боковое стекло. Его лицо отразило все признаки тревоги и побелело. Пятьдесят тонн, все убыстряя скорость, скатывались с крутизны. Мысль... Да, были сейчас мысли. Конец? В этот момент, помню, какое-то странное чувство апатии, лени охватило меня. Мне было все равно. Вдруг почему-то вспомнился мой старый учитель фоторепортерскому ремеслу, известный в прошлом военный корреспондент Федосов. Виктор Иванович рассказывал об одном эпизоде из своей военной биографии. Немцы подбили самолет, на котором он производил фс съемку. Самолет падает. Федосов прощается с жизнью. «Подумал я тогда вспоминал он,— сможет ли кто-либо после моей смерти сказать обо мне пл

Вмиг перебрал всех родных, близких друзей и просто знакомых. Нет, подумал я, никто не скажет обо мне плохо». Федосов остался жив. А я подумал сейчас: да какая разница, кто как вспомнит. Был человек, нет человека. Но все же тщеславная мысленка проскользнула: погиб при исполнении служебного задания. Герой... Невероятно, как она шмыгнула в голову.

— Прыгай, прыгай!— оглушил меня крик Митина и сразу вернул на брентную землю со всеми вытекающими из этого факта заботами.

«Как прыгать?— подумал я.— А он? Что с ним будет? Полетит в бездну?» Правой рукой я нащупал скобку дверной ручки. Затем я почувствовал удар в левое плечо. Успев все же схватить кофр с аппаратурой, я стремглав вылетел из кабины, ударившись всем телом о скалу. Мимо меня мелькнули беспомощно вертящиеся колеса. Митин остался в кабине. «Ну теперь ты прыгай! Прыгай!— безголосо кричал я.— Что медлишь? Там, сзади, край пропасти. Костей точно не соберешь. Прыгай! Прыгай! Прыгай, ну прыгай, Андрей!»

Все убыстряя скольжение, «татра» с прицепом катилась вниз, к нижнему, только что пройденному развороту, и прямой ее путь кончался на этом развороте трамплином в пропасть. И я уже видел, как, обрубая скалы, падает машина с прицепом. Месиво металла, и никаким автогеном не вырубить изнутри кабины тело водителя. Что делать? Кому сообщить здесь? Да и где тут взять автоген? «Прыгай! Прыгай!» До скоса дороги оставался видимый мне совсем короткий отрезок. Я не мог двигаться, руки и ноги обмякли. Митин не покидал кабины. И я увидел отсюда, со своей высокой точки, странный маневр машины. Передние колеса круто развернулись, так, что кузов тягача направился к краю обрыва. Что он делает? И в тот же момент прицеп вертанулся от обрыва и потянул за собой и тягач. Лязг, скрежет... Задний борт прицепа с маху врезался в спасительную скалу, развернулся поперек дороги и встал, удерживая перед собой и тягач. Я бросился вниз, к машине.

Подбежав, я увидел Митина, стоящего возле кабины. Он курил, и я заметил, как его пальцы при затычках чуть дрожали. За улыбкой и деланным спокойствием Митин старался скрыть только что пережитое волнение.

— Как учили,— проговорил он весело.— Брат предупреждал. Делай ножницы, если понесет. Тягач в сторону, прицеп прижмется к скале... В рубашке, знать, я родился. Повезло. Этот день на всю теперь жизнь...

Вскоре подбежал Лобов, больше удивленный, чем испуганный.

— Ну и ну!— только и проговорил он.— Я слышу грохот, ну, думаю, амба... До Росомахи, поселка на вершине перевала, где трасса выпрямилась по ровной плоскости, я ехал в кабине Лобова. Митин наотрез отказался меня брать.

— Как выкарабкаюсь, милости прошу, а сейчас нет. За груз думай, за тебя думай... Лезь к Лобову, у него нервишки крепче...

Начинался Желтый прижим. Этот перевал безопаснее. Правда, нам говорили, что летом, когда размает дорогу, он так же коварен, как и Черный. В отличие от Митина Лобов сидел за рулем как-то слишком напряженно. Часто оглядывался по сторонам, приподнимался на сиденье, чтобы разглядеть, что там творится, под колесами. Дверца кабины с его стороны была приоткрыта.

— Ты себе тоже приоткрой,— заметив мой недоуменный взгляд, посоветовал он.— Неровен час... Что рисковать? Машина, груз — все металл. А своя жизнь — второй не будет.

Часам к пяти вечера прибыли на зимовье Сотый. Здесь скрещиваются две тропы — наша из Магадана и другая, из Якутска. Отсюда два грузовых потослившихся в одно могучее русло, выносят автомобильные караваны к Ледоуму океану Янским зимником.

Я снова в кабине Митина. «Татры» погружаются в северную ночь. Ночью крепче и дорога надежнее.

— Я по две ночи могу не спать,— говорит Митин.

а крутых подъемах он включает систему блокировки, и на приборной па-

нели тускло светит желтая четырехугольная точка сигнала нормально работающей системы, воедино связывающей передний и задний мосты машины.

Признаюсь, я порядком перепугался на прижимах и внутренняя произвольная дрожь не оставляла мое брэнное тело, как я ни старался унять ее различными отвлечениями — и курил беспрерывно, и думать заставлял себя совсем о другом, но мысли, как ни отгонял их, все возвращались назойливо помимо моей воли к только что пережитому.

— Андрей, — решился наконец спросить я Митина. — А ты о чем думал, когда нас шлифануло?

— Как о чем? О тебе, о пассажире...

— Нет, серьезно.

Митин глубоко затынулся, чувствуя, что я не зря спрашиваю его.

— Если серьезно, то о... грузе, — ответил Андрей и поглядел на меня. — Нет, вполне заявляю ответственно — о грузе. Не стал бы тогда корежиться. У нас, здешних шоферов, особенное чувство развито. Груз государственный как бы свой кровный, ну как вещь своя. Мысль спасти груз была, пожалуй, главная.

— Ну а не главные? — пытал я, уже несколько успокоенный сознанием того, что едем по ровной дороге.

— О не главном спрашиваешь?.. Как тебе сказать, главное, не главное. У меня все главное. В жизни не размениваюсь. Работа — главное, семья тоже главное. Директора вспомнил, ты его знаешь, лицо строгое, словно упрекающее: что ж ты, брат? И пока выкручивал ножницы на пределе, на полном равновесии, туда или тут остаться, подумал, не поверишь, с кем же мой Сережка останется, когда Тоня уедет на сессию. Я ж тебе говорю, что после рейса я сразу беру отпуск, чтобы побыть с Серегой, а она поедет в Магадан в свой пединститут сдавать весеннюю сессию. Вот ведь как интересно. Не подумал, что Тоня не поедет, раз со мной что случится, и не нужно будет Серегке оставаться, а вот с кем... А? Ревнивый я, что ли? Не замечал. Теперь успею, — с теплой улыбкой заключил он. — Ты в Куйге когда встретишь начальство, попроси отправить меня сразу обратно, без задержки. А то они как? Мобилизуют весь пришедший транспорт возить уголь, гравий, дрова для поселка на следующую зиму — работенку всегда подбросят. Конечно, их можно понять: скоро ни пройти ни проехать. Но мне-то возвращаться. Сам видел. Река скоро поплывет, да и Тоне на сессию опаздывать нельзя...

— Попробую, — ответил я как можно обнадеживающе.

— Погрузим касситерит и в Артык по знакомой дорожке, — мечтательно произнес Андрей.

Не останавливаясь минули небольшой северный поселок Улах. Только поздней ночью остановились на отдых в зимовье Минкуле. Сплю на нарах, укрывшись собственным пальто и подложив шапку вместо подушки.

За Минкулем дорога спустилась к реке Томпо и запетляла по руслу, гладкая и наезженная. Вдали на крутом высоком обрыве завиднелся большой многодомный поселок. Это Томпо. Оставив машины на реке, поднялись по узкой крутой тропинке, то и дело соскальзывая, к поселку. Домки сплошь деревянные, некрашенные. Тут есть и школа, и поселковый Совет, и магазины. И даже центральную улицу можно различить по ровной застройке. В продовольственном магазине пополнили истощавшие авоськи.

От Томпо до Тополиного рукой подать. Там, по словам Лобова, хорошее зимовье и есть столовая. Мы уже изрядно истосковались по цивилизации. Дорога по-прежнему вьется по руслу реки. Машины несутся к стеной поднимающимся скалам, обрамляющим русло реки, и, кажется, упрутся в них и остановятся безвыходности. Но перед острыми выступами скал дорога вильнет вдруг то вправо, то влево, чтобы чуть дальше снова упереться в скалы и снова вильнуть

— Так и человек мечется по жизни то от одной скалы, то от другой вает, — замечает с грустью Андрей и, чуть помедлив, добавляет: — Плохо, в жизни плаваешь. Проснешься — и берегов не видно...

— Это ты о чем?— спрашиваю-я настороженно.

— Как о чем? О жизни, конечно...— с лукавинкой улыбается Андрей.

Мы закуриваем.

На Тополином машин собралось штук пять с касситеритом из Депутатского. Металлические ребристые бочки ровными рядками тесно уложены в кузовах тягачей и в прицепах. Каждая бочка весом килограммов по сто, если не больше. Среди машин одна с деревянным фургоном. Это техничка. Экипаж человек пять. Ребята едут сейчас в Эге-Хая, где, по их словам, навалом аварийщиков.

Тополиный приютил и сытно накормил. До следующего пункта, где такая же столовая, пятьсот километров. Это Чирки. Поэтому на завтрак берем рас-сольник, жареную говядину и чай, все тот же чай, иногда заменявший нам и первое, и второе, и третье. Шоферы информируют, что на Яне уже встречаются местами наледи, но пока проходимы. Трудно будет на Скверном ключе. Там, по их мнению, Лобов обязательно положит свой прицеп.

Лобов, выспавшись, повеселел и похрабрел:

— Ничего. Мы потихоньку-полегоньку — и в дамках...

— Так-то оно так,— с хитровой полуулыбкой говорит ему один из шоферов,— да вот задача: семь локтей на пятак — сколько будет на рубль?

Лобов даже не чешет затылок, не найдясь что и ответить.

От Тополиного я пересел в кабину Лобова. Гладкая, словно полированная дорога зимника зачаровывает даже такого осторожного водителя, как Григорий. Забыв обо всех опасностях, о горькой судьбе Сарычева, он отдается стремительному полету. Синий ультрамарин неба резко вычерчивает белые невысокие вершины сопок. Солнце слепит. И так мчались, что без оглядки, не тревожась проскочили первую на нашем пути наледь. Вода разлилась по льду на трассе. Колеи не было видно. Но впереди нас только что прошла машина, и это, видимо, и обусловило решение Лобова проскочить не останавливаясь. Колеса по оси ушли в воду, разбрасывая фонтаны брызг.

— Как затюримся по кабину,— пугает меня Лобов.

Разгоряченный быстрой ездой, он приобрел несвойственную ему самонадеянность.

Солнце село за островерхие шапки сопок, когда мы подъехали к зимовью Усть-Наволочь. Мороз покрепчал. Скрипит под ногами снег певуче и сухо. Холодным металлом схватывает лицо. Зимовье обычное. Бревенчатый домишко, нары, буржуйка с трубой в потолок. За Усть-Наволочью машины запрыгали по уже известным мне болотным кочкам. Слева тонкий серпик месяца и его постоянная спутница — яркая звездочка. Иногда и месяц и звездочка заходят за стволы и ветви листовенниц, и кажется, что месяц и звездочка гонятся друг за дружкой. Мотор урчит натужно и зло. Впереди над горизонтом повисла комета. Третий день как она появляется в сумраке ночи и ярко светит прожекторным пучком хвоста. Что сулит нам ее появление?

Без особых происшествий миновали колдобины Скверного ключа. За ним дорога как-то сразу распахнулась и пригладилась на реке Нельгехе. Нельгехе впадает в Адычу. Слева на берегу чернел старый деревянный сруб дома. Ни крыши, ни дверей. Это Роговое. Здесь было зимовье, но его оставили. Лобов притормаживает.

— В чем дело? — спрашивает Андрей, высовываясь из кабины.

— Чайку бы выпить...

— Ах ты немощь человеческая, чайку, чайку... Восемьдесят до Чирков. Два часа ходу. Вперед, вперед!

Лобов недовольно, по-детски обидчиво надул губы. Достаем сухие галеты.

К шести часам вечера добрались до Чирков. Зимовье самое гостеприимное всем протяжении длинной дороги. На кухне священнодействовала добрая, ая, приветливая хозяйка Луиза Артамоновна Крючкова. На противнях аппетитными рядками лежали педжаристые пирожки с капустой.

— Для ребят у меня всегда все есть, — ласково глядя на нас, говорит Луиза Артамоновна. — И ночью едут. Работы масса. Когда зимник кончается, то стоями идут. И все тут останавливаются. Шутка ли, от Чирков до Тополиного пятьсот километров и ни одной столовой...

Луиза Артамоновна приветливый человек. Встречает улыбкой, провожает улыбкой, и все светло, по-родственному.

Митин торопит ехать на Батагай. До Батагая от Чирков двести. Сейчас семь вечера.

— Всю ночь будем ехать, к утру доберемся, — обращаясь к Лобову, говорит он.

Григорий после сытного обеда моргает и сладко позевывает.

— Да, поедем, — вяло соглашается он.

Митин, не скрывая радости, поглядел на меня, словно одержал легкую, бескровную победу.

Адыча стелит под колеса «татр» гладкий ледяной настил. Машины летят, как ласточки, легко и привольно. Дай только им крылья — так и вспорхнут над сонками.

Позади остался Полярный круг, и теперь все небо в белых сполохах северного сияния. Прямо над руслом реки тонкий сервик месяца, остро заточенный с обеих сторон. Справа от него павлиньим хвостом распласталась все та же комета. И комета, и звезды, и Млечный Путь не такие яркие, как в прошлые ночи. Полярное сияние пригасило яркое свечение звезд на темном бархате ночного неба.

Равнина, бесконечная белая равнина окружила со всех сторон. Близок Ледовитый океан. Сколько уже пройдено! Самое тяжелое осталось, говорят, позади.

...Перед Эге-Хая зимник метнулся в лесок и запрыгал по кочкам. Митин фарами сигналит остановиться. В чем дело? Оказалось, что скруббер на прицепе сместился, проволочные натяжки оборвались. Лобов все же решается проехать оставшиеся семь километров до Эге-Хая.

Эге-Хая предстал как сказочный город. Порядки деревянных домов курились дымками, и магазины есть — и прод- и промтоваров. И, главное, на автобазе имелась гостиница для шоферов, столовая. И койки в гостинице застланы бельем, и, как на Кольмской трассе, не разрешается в верхней одежде заходить в комнаты. Снимаешь с себя все в гардеробе, моешься, а уж потом пропускают тебя к кроватям. От Эге-Хая до Батагая всего восемнадцать километров. Батагай — районный центр. Школы, Дом культуры, редакция газеты, ресторан и магазин с названием «Мечта». Оба населенных пункта соединяются автодорогой, покрытой асфальтом. За Батагаем начинается Яна. Четыреста километров на север по реке — и мы будем в Усть-Куйге, а оттуда рукой подать до Депутатского. Там конец, конец нашего зимника. Собственно, конец будет только для меня (оттуда я лечу в Москву с пересадкой в Якутске), а ребята пойдут в обратный рейс.

Митин торопит — сегодня же выезжать. Кажется, ему удастся уговорить Лобова оставить в Эге-Хая прицеп, с тем чтобы вернуться за ним из Куйги на одном тягаче. Но тот, поразмыслив и прикинув что-то, наутро заявил:

— Чего его оставлять, потеряю время, туда-сюда, дурнем буду, авось доберемся.

Митин поднялся с койки и с непонятым сожалением оглядел товарища.

— Твое дело, — только и произнес.

За Батагаем зимник наконец-то попадает на широкую Яну. Берега ее земляные, обрывистые. Сопки тут положе, неприметнее. Трасса зимника представляет собой две встречные автодороги, разделенные посредине снежным валом. Дорога расчищена. По всей вероятности, здешние дорожники не теряют времени даром.

До Усть-Куйги километров триста. Рассчитываем за два дня проскочить ? расстояние.

...И Митин и Лобов отводили душу в быстрой езде, несясь по глади ледяной дороги. На крутых поворотах машины слегка заносило, но скорость не сбавляли. Солнце пригревало, в кабине было жарко и сладко дремалось в предвкушении скорого конца пути. Опасно водителю ехать рядом со спящим пассажиром. Пассажир пусть молчит, но не спит. Нельзя спать. Сон гипнотизирует водителя, и оба за компанию могут уснуть. Но как ни страшны последствия, которые я ясно себе представлял, веки слипались и сознание отказывалось подчиняться воле.

К вечеру в сером сумраке убывающего дня на крутом невысоком правом берегу мы увидели уютно примостившийся большой поселок Янск. Здесь речной порт и судоремонтная мастерская. В затоне стоят, чуть накренившись, баржи и буксиры, вмёрзшие в лед и ждущие прихода весны.

Из Янска вышли рано утром... До Куйги двести пятьдесят километров. Быстр и ровен ход машин по ледяному панцирю Яны.

— Ой, куда же ехать? — слышится возглас Лобова.

Машина остановилась. Гриша напряженно всматривается вперед. Низкие берега отступили, и прямо перед нами ледяное русло реки. Снега нет, нет колеи дороги. Кругом лед, как на катке, голый, стеклянный. Ребристые следы протекторов исчезли. Лобов разворачивает «татру» на 180 градусов и медленно движется в обратном направлении. Не проехали и двадцати метров, как раздался со всех сторон треск лопающегося льда, «точно выстрелы из пушек». На глазах молниями разбегались по голубому льду черные жилаки трещин.

— Ой! — кричит Гриша вторично.

Еще пять метров — и раздался треск, в котором слились и низкие и высокие ноты, а потом глухо грохнуло, кабина задралась вверх, а кузов провалился вниз, словно в самолете, круто взявшем высоту. Мысль лихорадочно задергалась. Используя опыт на прижимах, надо открыть дверцу и выпрыгнуть. Но под тобой ледяная вода. Плыть? Во всяком случае, надо поскорее расстаться с тонущей машиной... Утянет еще за собой под лед. Пока миллиарды мозговых клеток выбирала наилучший способ спасения, кабина замерла, во что-то упершись, и падение вниз на спину прекратилось. Первый приступ страха отошел, в кабину вода не поступала. Ноги в валенках сухи. Лихорадочно открываю дверцу. Под порожком кабины вода. И под кузовом вода, но в метре от нас крепкий лед. Машина с прицепом, как бегемот, лежит в ледяной ванне. И янская наледь подстерегла!

— Затюрились крепко, — говорит Лобов тихо, со страхом, без всякой уверенности в конечном исходе нависшей опасности.

С порожка кабины, легко минуя метровую водную преграду, спрыгиваем на лед. Задние колеса тягача погрузились в воду. Прицеп всеми четырьмя колесами тоже сидит в воде, уровень которой, к счастью, не поднимается. Зеленый поток широким тонким настилом расплзается по льду Яны, и пушечная стрельба не унимается.

Ранней робкой весной, когда тепло появляется на короткое время, а потом, словно испугавшись своей смелости, уступает место морозам, речная вода под ледяным панцирем начинает искать выход. Найдя лазейку в трещинах, она, как вулканическая лава, извергается наружу, разливаясь по еще крепкому льду реки. Разлившись, она схватывается морозом и образует новый, молодой лед, гораздо тоньше основного зимнего. Это и есть наледь, ловушка для машин. Шоферу трудно различить, где коренной лед на реке, где молодой, образованный наледью.

Между молодым и основным льдом слой воды. Иногда он бывает и по метру толщиной, а то и больше. Машины погружаются по самые сиденья кабин, если, конечно, выдерживает основной крепкий лед. Но, бывает, и он подламывается, тогда пиши пропало. Нам повезло. Наледь оказалась с крепкой основой сравнительно неглубокой, не больше метра. Из воды чуть выступали мокрые электоры колес.

Машина Митина где-то, видимо, отстала. Ни одной живой точки вокруг. эв решает вырваться на крепкий верхний слой льда, тем более что передние за так и не ушли под воду, устояв на ледяной поверхности. Включает ско-

рость. Машина двигается вперед на пол-оборота колеса. Задние колеса упираются в толщу льда, который настолько крепок, что удерживает на себе передние. Уткнувшись в лед, колеса начинают бешено вертеться на одном месте, поднимая белый водяной вихрь. Отцепили прицеп, надеясь на то, что одному тягачу легче будет выкарабкаться. «Татра» ломает кромку льда, а потом и совершенно останавливается. Лобов обходит машину, заглядывает под брюхо кузова, купающегося в крошечке лманого льда. Тишина, белеют дальние сопки. Второй машины все нет и нет. Что могло случиться? Нет, нет, никакой трагедии не произошло. Возможно, Андрей за дальней косою остановился, потеряв нас из виду. Вот и ищем друг друга. Лобов подает машину немного назад, но так, чтобы передние колеса не рухнули в воду. Короткий разгон. Кипит вода, веером разлетаются брызги.

— Да, крепко, — говорит обреченно Григорий и тут же с едва уловимым проблеском надежды добавляет: — Где же Андрей?

Вторая машина — наше спасение, это Куйга, конец всем мытарствам. Мы испробовали все способы самоличного спасения. Не мог же Митин бесследно исчезнуть...

Вдали, откуда ждали появления Андрея, замечаем едва различимую точку. Охотник, подумалось, возможно, с недалекого зимовья. Точка растет, и вскоре уже можно узнать знакомую широкую походку Митина. Шофер без машины?!

Уже издали слышится крепкая ругань. Что случилось? Андрей за все время трудной дороги ни разу не выругался, и когда у меня выскальзывали те самые непечатные словечки, то я видел его недоуменный укоризненный взгляд. Но сейчас по исключительности митинской ругани легко было догадаться, что и с ним беда.

— Черт тебя дерит!.. (Разумеется, это условное воспроизведение слов, относящихся к Лобову.) Третий год, говорит, на зимнике. Я-то верно шел. Гляжу, ты влево поливаешь и поливаешь. Не утонишься! Ну и я за тобой. Третий год же на зимнике! Поверил!

Подойдя ближе, Андрей несколько утихомирил свой гнев, оценив катастрофичность нашего положения.

— Куда же вы? Вон дорога и вешки на ней. — И Митин указал куда-то в сторону. — Я правильно шел. Нет, развернулся за вами. Я тоже сижу. У вас-то, гляжу, глухо. А у меня только одно колесо тягача провалилось. Другие три на льду. Прицеп, правда, почти весь ухнул. Эх ты, старожил! Знал бы... — продолжает Митин выговаривать Лобову. — Мне старики еще в Артыке говорили: видишь наледь — останови машину, выйди, монтировочкой постучи по льду и лезь тогда. А ты поливаешь и поливаешь. Третий год! Я-то, дурак, поверил!

Митин как решенный вопрос предлагает всем сначала вытащить его «татру», а потом нашу. Теперь он, чувствовалось, брал на себя ответственность за оставшийся переход до Куйги. Лобов молча повиновался.

Идем за Митиным. Под ногами потрескивает лед. Чуть заметны следы протекторов машин. Значит, была же тут дорога! Лобов как бы в свое оправдание говорит:

— Я смотрю туда-сюда... дорога. Как ее узнать? Выбрал эту. Наледь, видимо, образовалась нынешней ночью.

Митинская «татра» провалилась на зимнике Яны вблизи берега, у песчаной косы. Прицеп всеми четырьмя колесами стоял по кузов в воде, тягач был действительно в более обнадеживающем положении, чем наш. Только правое заднее колесо засело в наледь.

Митин, не теряя времени, энергично берется за дело. По его команде все отправляемся за песком на косу. Песок нашли в старом отвале. Разгребли снег для переноса приспособили телогрейки — другой тары нет. Сыплем песок на передние колеса тягача — они тоже ведущие, — сыплем и под левое заднее колесо. Митин тоже отцепил прицеп, чтоб одним тягачом выбраться. Залез в кабину. Мотор взревел, колеса чуть схватились за песок, машина дернулась вперед тут же отпрыгнула в прежнее положение. Колеса вертелись на одном месте.

Главное, спасти тягач. На одном тягаче можно добраться до зимовья 58-й километр. Наверняка кого-нибудь там отыщем, организуем помощь.

И тут как по щучьему велению на дороге, отмеченной вешками, появился «зилон», идущий в сторону Батагая. Бежим к нему с Митиным, останавливаем, став поперек дороги. Из кабины появляется большого роста шофер в черных теплых стеганых штанах и зеленой клетчатой рубашке. Он без шапки. Лицо шофера с маленькими, хитроватыми и подозрительными глазками, отливающими зеленью, не предвещало никакого сочувствия и добросердечности. Мы как можно жалостнее объясняем обстановку и просим дернуть «татру» из наледи.

— Сам сбился,— говорит шофер.— Надо бы потесниться к берегу...

— Одно колесо у нас в наледи. Разок дернуть...— уговаривали мы легкостью работы.

— Туда не полезу,— ответил шофер твердо, указуя в сторону «татры», и мы поняли, что наши аргументы бессильны сломить его решение.

— Посмотри,— говорит Митин,— крепко тут.

И Андрей бьет случайно оказавшейся в руке монтировкой по льду, стучит каблуками, пляшет, подпрыгивает, стараясь унять сомнения шофера «зилка».

— Самого прижало, рискнул бы,— говорит зло Митин, потеряв всякое терпение и прекратив шаманский танец.

Шофер каменной глыбой влезает в кабину, и вскоре номерной знак 19-22 исчезает за изгибом берега.

— Хоть бы провалился!— кричит ему вдогонку Андрей, высоко подняв руки, сжатые в кулаки.— Вот люди!.. Такому надо кирку, лопату, камерную музыку и пижаму...

На огромной трассе, протянувшейся на тысячи километров, существует неписанный закон взаимной выручки, помощи, и в этом водители видят не только исполнение долга, но и жизненную необходимость. Людям эгоистичным, с узким мирком собственной выгоды на зимник выходить не следует, и, как правило, таких тут и не встретишь, разве что в виде ископаемых исключений. Помню, как на «татре» Митина полетели шпильки, крепящие барабан колеса к диску оси. Редкий случай. Шпильки срезало начисто и переднее правое колесо словно оторвало. «Татра» устояла на трех точках благодаря все той же доброй инженерной предусмотрительности чешских специалистов. Запасных шпилек ни у одного из наших водителей не оказалось, такой уж непредвиденной, из ряда вон оказалась авария. Ремонтную техничку не кликнешь. Кто ее найдет в безбрежной холодной пустыне? Рациями машины не оснащены. Долго так простояли, чуть ли не до вечера, кто ни проезжал — нет да нет. Но вот один остановился и отдал нам свои запасные, которые он захватил совершенно случайно как слишком предусмотрительный человек.

— Берите,— сказал он, протягивая злосчастные шпильки, которые извлек из-под сиденья.

Митин так был обрадован, что и поблагодарить забыл шофера. А когда я подбежал, чтобы записать его фамилию, то он только отмахнулся: мол, подумай, дело какое, так каждый поступил бы.

— Эй!— крикнул он напоследок Митину.— Хоть бы спасибо сказал!— Весело рассмеялся, газанул и скрылся в снежном бурале.

«Спасибо» только-то и нужно человеку! Мало это или много? Для одного много, для другого мало.

...Снова таскаем песок в телогрейках. Митин бьется за машину, как бился Сарычев за прицеп. Железный человек! Колеса вертятся на одном месте. Андрей в который раз садится в машину, рывок — и, о счастье, тягач, как конь, впрыгнул на лед. Андрей, окрыленный успехом, не унимается.

— Прицеп вытащим! Трос давай!— обращается он к Лобову.— Подадим изад, а потом с разгона возьмем.

Митин, почему-то не доверяя Лобову, сам решает связать тягач с прицепом сом. Он надевает резиновые сапоги, забирается в ледяную воду, окружившую щеп со всех сторон, крепит трос. Затем, выйдя из наледи, сбив воду с сапог,

впрыгивает в кабину. На спасение прицепа тоже ушло немало времени и трудов, но все же мы победили. Прицеп выскочил из наледи, начинавшей уже смерзаться.

Андрей отцепил трос, подогнал тягач к прицепу и закрепил водило в замке. Признаться, я не ожидал столь неожиданного оборота дела. Не думает же Митин с прицепом идти на спасение машины Лобова. Был уговор, да и сам Андрей тогда, как только подошел к нам, предложил, что, мол, спасем одну машину и возьмем за другую. Одну спасли, и Лобов, глядя на действия Митина, недоуменно тарашил глаза и словно замер, не находя что и сказать. Быть может, он думал, что у Митина созрела какая-нибудь сверхгениальная идея. К тому же, как мне показалось, он свикся уже с ролью подчиненного, после того как сбился с дороги и засел в наледи, как новичок.

— Надо посмотреть, что там,—подойдя к нам и закуривая, говорит Митин.

— Чего ходить-то, видел,—отвечает недовольно Лобов, голосом выдавая до сих пор скрываемое раздражение.— Тащить надо.

В спасении митинской «татры» Лобов видел свое спасение, а теперь спасенный то ли испугался, то ли другое что надумал?

— Мне не подъехать,—говорит наконец Митин.— Это ясно. Завалюсь снова...

— А что говорил раньше?— с укоризной перебивает Лобов.

— Тогда вроде бы ничего... Теперь вон как грепит, сам слышал...

— Слышать-то слышал. а что прикажешь делать? — со все большим раздражением и неприязнью к Митину говорит Лобов.

— Подход государственный надо соблюсти,—спокойно, будто не замечая упреков Лобова, отвечает Андрей.— Две машины можем угробить. Что нам скажут? Зачем лез?

— Зачем, зачем! — чуть не кричит в отчаянии Лобов.— Обещал же. Говорил... Песок тебе таскали...

— Хорошо,—вдруг соглашается Митин.— Идем, сам увидишь.

Может быть, Митин и прав, но как горько и обидно быть почти у цели после столького вынесенного и потерять теперь всякую надежду быть не сегодня-завтра в Куйге. Я всецело был на стороне Лобова. Совместными усилиями нам удалось уговорить Митина собраться у места аварии хотя бы на консилиум.

Когда мы подошли к машине, несколько успокоенные ходьбой по неумолчно стреляющему льду, убедились, что подводить «татру» Митина было бы действительно верхом безумства. Две «татры» могли проломить и основной ледовый упор и оказаться на дне речном. Уж лучше действительно одной пожертвовать.

Ледяная ванна, в которой лежали и прицеп и машина, смерзлась. Лобов сапогом разбивает пока еще тонкий лед.

— Что делать? Что делать?—повторяет Лобов в отчаянии, обкалывая и обкалывая сапогами тонкую кромку льда, словно облегчая страдания машине.

— Ничего не сделаешь,—обрывает его Митин резко, как бы боясь, что Грише придет новая идея.— Едем! Бульдозер вызовем. Наверняка на Пятьдесят восьмом есть. Без него крышка.

Возвращаемся восьмояси. Втроем усаживаемся в кабине спасенной «татры». Все молчим и друг на друга не смотрим. Мы с Андреем дышим. Некурящий Лобов просит сигарету. Колея утопает в зеленой воде наледи. Митин берет вправо, в обход новой наледи, ближе к берегу, хотя там ни колеи, ни вешек-палочек. Он успокаивает:

— Меня так брат учил... У берега лед надежнее.

Андрей крепко вцепился в баранку. Он выбирает самый безопасный путь который и привел нас благополучно к 58-му зимовью. Собственно, зимовье имеет точное название 458-й километр. От какого пункта ведется исчисление, труд установить. Сокращение до 58-ми вызвано, очевидно, тем, что шоферы привели на трассе изъясняться скороговорками, зря времени не теряя.

К нашему несчастью, на зимовье не оказалось бульдозера. Что дел. Поскольку Куйга рядом, решаем там организовать помощь. Лобов остается.

— Ты не волнуйся,— подбадривает Митин Лобова.— Сто километров Куйга отсюда — пустяк. Все начальство там на ноги поднимем.

Лобов провожает нас до машины. Пожимает руни, грустно улыбается, и я вижу на его вдруг покрасневших глазах слезы. Удерживал их, крепился, а при расставании не хватило воли, сорвался. Гриша остается с таким же горем, как Сарычев в Кебюме. Столько везти, столько везти... И машина в наледи. И один он, без кормилицы. И неизвестно, когда и кто вызволит его из беды. Бульдозерист выйдет, не выйдет — кто знает? Куйга? Сто километров далеко. И он не хотел, чтобы мы видели его слезы. Он резко повернулся и быстро зашагал к зимовью не оборачиваясь. У меня же осталось чувство, что мы бросили товарища в беде.

В Куйгу, скорее в Куйгу! Но не отъехали мы и десятка километров, как мотор заглох. Митин установил причину — смерзлось топливо. Андрей разводит под машиной целый костер. Плещется огненными языками пламя. Выйдя из теплой кабины, Андрей убирает ведро, тушит огонь, и вроде бы машина тронулась, но вдруг, не проехав и пяти километров, фыркает и умолкает. Разжигаем по новой... И так несколько раз кряду: подогреваем, трогаемся и встаем.

Проснулись ранними утренними сумерками. К нам приближается встречный «зиллок» и останавливается. Водитель — молодой парень.

— Сколько до Куйги?— спрашивает Митин.

— Да тут, за поворотом,— отвечает паренек и удивленно смотрит на нас: в уме ли они?

Митин включает стартер.

Отогревшаяся на утреннем солнце «татра» ожила. Не проехали и полутора километров, как за поворотом поднялась на белом снежном взгорье некрашеными деревянными домами со струйками голубых дымков Усть-Куйга. Точно лоб в лоб с ней столкнулись. От нашего места ночевки до поселка можно было и пешком добрести.

Усть-Куйга — крупный по северным масштабам населенный пункт. Различимы улицы и переулки. Здесь большая автобаза, здесь и штаб руководства зимником. Прежде всего едем в штаб. Нас заверяют, что сегодня же вышлют на 58-й платформу с бульдозером. Радуемся за Лобова.

А нам еще дальше — на Депутатский. Депутатский от Куйги расположен на восток в двухстах пятидесяти километрах. Дорога укатана и вполне капитальная. Так что и с севера от Нижне-Янска, что расположен на берегу моря Лаптевых, и с юга через Куйгу на Депутатский движется армада машин. Встречаются на развилке знакомые, друзья или вовсе не знакомые друг другу люди, но собранные в одну армию бойцов великой северной трассы.

Мы держим приличную скорость. Все чаще Андрей говорит о Тоне, Сережке, все чаще навещали его ревнивые, обидные до слез мысли. Я знал это чувство, приходящее обычно к концу длительных командировок, особое чувство тоски, вызванное усталостью и колоссальным напряжением сил.

— Если я узнаю в Артыке, с кем была жена в кафе,— вдруг выпалил он,— соберу вещи и уйду. Даже сын не удержит. Отец однажды так поступил с первой женой. Кузнец он у меня. Уехал куда-то, вернулся, ему говорят — гуляет твоя. Никому не верил. И соседи говорили, и друг приходил, и родственники... Никому не верил. А подошел соседский мальчонка и сказал: «Дядь Алексей, а ваша тетя Валя с другими дядьками гуляет». Никому не верил, а пареньку поверил сразу. И тогда только срубил: «Собирай, говорит, Валя, вещи». Он нам, когда мы были подростками, об этом говорил. Сидели мы, парни, втроем, и он оворил, говорил как со взрослыми. От первого брака у отца был сын. А со второй женой двадцать восемь лет живут душа в душу...

— Только бы загрузиться — и в обратный путь,— все чаще повторял он, вно в одном этом было его спасение.

Солнце расточало тепло. И наледи появились, и дороги покрывались первыми есенними лужицами. И олени следы все чаще пересекали дорогу. Жителям

Севера весна несла радость, оживление. Начиналась золотая страда. Драги пробуждались от зимней спячки. Возле них копошились ремонтники и наладчики.

И Депутатский готовился к лету, бешено напрягая усилия по перевозке угля в поселок. Летом дороги вымирают.

Шоферам, что пришли из Якутска, Артыка и Магадана, с Большого Невера, весна, застав их на Севере, не предвещала ничего радостного. Мысли были одни: скорей бы вернуться домой, пока Яна не разлилась половодьем.

В долине реки Иргичан бассейна Индигирки раскинулся Депутатский, прииск с громкой славой богатейшего месторождения олова. Касситерит, что запаковывается в железные бочки и везется в кузовах машин, есть, собственно, руда, богатая оловом. Многочисленные эйфели, как угольные терриконы, скрытые сейчас под толстыми шапками снега, свидетельствовали об интенсивности горнодобывающих работ на прииске. Население Депутатского разрослось до 15 тысяч человек за последние годы.

Наша «татра» бодро въехала на территорию склада. Андрей подкатил к длинному складскому помещению. Груз, который мы с таким трудом, так бережно пронесли, словно древнюю скифскую вазу, прибыл к месту назначения.

Мне, очевидно, крупно повезло, что все события, которые я видел и испытал на себе, произошли именно в этом рейсе. Наверняка машины на зимнике проходят без аварий и поломок, и ничто не омрачает их рейса. И теперь, оглядываясь на пройденный путь, ловишь себя на мысли, что все невзгоды и проблемы, то есть главное, что занимало твой ум и твои силы в рейсе, и принимались порой уж очень близко к сердцу, заставляя нервничать и волноваться, сейчас отодвинулись, уступив место восторженным воспоминаниям о длинноволновой, тяжелой, рискованной, но манящей к себе дороге. Зимник — это романтика, это трасса мужества. И люди на зимнике герои.

Андрей нескончаемо рад. Он торопливо оформляет документы.

— Звони начальству! — радостно кричит он, выходя из конторы. — Пусть дадут добро на обратный рейс!

В конторе соединяюсь с Куйгой. Говорю с главным, обрисовываю ему как можно трагичнее положение, прошу за Митина: мол, впервые человек на зимнике и прицеп не как у всех. Главный ответил:

— Не подводите нас. Депутатскому нужен уголь. Очень большой план. Все машины мобилизованы...

Невозможность тут же вырваться из Депутатского сильно расстроила Митина. Веселость на лице сразу, заметно на глаз, смяло, и оно приняло детски-обидчивое выражение. Он долго сидел на стуле молча, сраженный тяжелым известием, но вдруг поднялся, крепко ударив руками по коленям.

— Что сделаешь, — проговорил он. — Надо, так надо. Им там виднее. Только как я вернусь, не знаю. Ехал бы сейчас, точно довел бы.

Пока я находился в Депутатском, Митин успел сделать два рейса за углем. Он был так же энергичен и возбужден, как и в дороге. Работа заняла его, и, казалось, он забыл об обратном тяжелом пути. Или, может быть, делал вид, что волноваться нечего, что хоть все реки Сибири выйдут из берегов, а он на своей «татре» дойдет, непременно дойдет до дома, как дошел до Депутатского.

И ведь все дошли... Веселый Сарычев, как на лихом рысаке, въехал во двор гостиницы и приветствовал, словно вчера только расстались.

Ему оказали помощь из Артыка. Вновь скомплектовали прицеп. Появился и Лобов, неторопливо-хлопотливый и вечно чем-то озабоченный. Ему помогли из Куйги. Мы встретились как люди одного экипажа, одной боевой машины. И грузы оказались на месте, и весну обогнали. На прощанье я желал ребятам только одного: счастливой обратной дороги. Они шли навстречу построжавшей, недооброй для зимника весне.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ



СОВРЕМЕНИК НА РАНДЕВУ

Это было давно. Тихая дворянская усадьба, скрип карет у крыльца, бурные звуки бала... Где-то тут, в пестрой толпе, встретятся хладнокровный петербургский денди и задумчивая девушка Таня Ларина. Полетит к таинственному Онегину трепетное письмо: «Я к вам пишу...»

Трудно, почти невозможно представить себе литературу без двух героев — мужчины и женщины, без темы любви. Никто никогда не обзывал писателей вводить в книги лирическую фабулу. На страницах запечатлеваются исторические катаклизмы, бушуют фронтовые схватки, идет борьба за решение насущных социальных проблем, вспыхивают вопросы о смысле жизни. И почти всякий раз в повествовании — Он и Она, мужчина и женщина.

У темы любви есть свои художественные традиции, формы, каноны. История мирового искусства — это и античность, упоенная человеческим телом, и официальное целомудрие средневековья, и утонченная символика романтиков, и объективный анализ реалистов...

Лермонтов и Флобер, Тургенев и Золя, Толстой и Бальзак, Достоевский и Мопассан, Бунин и Пруст, Шолохов и Фолкнер — по их книгам можно писать достоверную энциклопедию человеческих чувств и историю нравов.

Реалистическая литература — литература жизненной правды — имеет за плечами труднообозримый опыт рассказа о ситуации цдеву. Припоминаются и знаменитая «геория», и мотив неразделенной страсти, и жественное сознание освоило множеобразных ракурсов и углов съемки. испробованы разные стили письма и стелени изобразительной откровенТережито и повторяется вновь сорев-

нование романтико-метафорического и житейски-реального восприятий. Тем не менее в одухотворенной идеями литературе картина любви никогда не была поводом для щекотания нервов.

Примечательно, что современная буржуазная «массовая культура» в общем и целом покончила с таким предметом, как любовь, поставив на его место секс. Вторжение секса (вплоть до откровенной порнографии) в современную литературу, гипертрофия эротической физиологии и патологии, воздействие этой «массовой культуры» на общество и искусство — проблемы в высшей степени злободневные. В последние годы у нас опубликовано несколько работ, анализирующих это социальное явление. В них критикуются его порочные стороны и вместе с тем не упускаются из виду реальные сложности. Сошлюсь на рассуждение советского социолога И. Кона:

«Сексуальные символы пронизывают не только литературу, искусство, быт современного Запада, но и экономическую жизнь, коммерческую рекламу, политику, даже религию. Оценивают этот процесс по-разному: у одних эротизм — символ и лозунг «новой свободы», у других — мрачный жупел распада и деградации общества. Но чем глобальнее оценки происходящих сдвигов, тем меньше в них научной достоверности. Падение нравов, аморализм? Но какие именно нравы, мораль какого класса переживают кризис? Исчезает серьезное чувство, романтическая любовь уступает место поверхностным и кратковременным связям? Но где критерий этого сопоставления? Сравниваете ли вы «современного молодого человека» (даже если допустить правомерность такого «усреднения») с Ленским или же с няней («И, полно, Таня! В эти лета мы не слышали про любовь»)? Без четкого исторического

масштаба подобные рассуждения неизбежно остаются поверхностными, бездоказательными фразами».

Обратившись к ситуации радеву в книгах последних лет, нелишне очертить тот исторический контекст, в котором живут и воспринимаются книги наших писателей. Хотя бы потому, что как раз западные «специалисты» не устают твердить, что советской литературе чужд, чуть ли не запрещен рассказ об интимных приметах и психологических тонкостях любви. При этом с самого начала осуществляется подмена понятий «любовь» и «секс». В итоге глубокомысленные вердикты приобретают привкус провокации. Подразумевается: либо советские писатели, желая не отстать от «прогресса», должны спешно освоить всевозможную сексуальную феноменологию, либо им суждено выглядеть недалекими ретроградами. Провоцируется также и обратная — «репрессивная» — логика: всякое обращение литератора к чувственности, к сценам интимного, эротического характера есть дань тлетворному влиянию Запада и не соответствует этикету. Выходит — куда ни кинь, везде клин...

Как-то журнал «Вопросы литературы» провел дискуссию «Поговорим о странностях любви». И действительно есть о чем говорить, сославшись на явившиеся сравнительно недавно «Южноамериканский вариант» С. Зальгина, «Вот пришел великан...» К. Воробьева, на «Сладкую женщину» И. Велембовской, «Пустошь» С. Крутилина, «Уличные фонари» и «Вольную натаску» Г. Семенова, «Дни человека» А. Битова, «Маленькие повести» В. Белова, «Морского скорпиона» Ф. Искандера, «Затмение» В. Тендрякова, «Воспоминание» М. Рощина... В каждой из этих книг главные роли — Он и Она.

В серьезной реалистической литературе ситуация радеву — предмет общечеловеческого интереса. Она была и остается одним из путей познания личности, не только психологического, но и социального ее облика. Сцены интимного свойства здесь подчинены логике характеров и обстоятельств. Именно эта логика должна подсказать художнику, что уместно рисовать, а что нет.

Как ни говори, а любовь, общение мужчины и женщины — тема деликатная. Ежеминутно на земле происходят миллионы свиданий, празднуются тысячи свадеб, совершается несчетное число знакомств. Кто знает, долгими или мимолетными будут

они? Радость или печаль принесут людям? И как будут осознаны эти минуты?

У героини романа С. Зальгина «Южноамериканский вариант» есть подружка Нью-Йорк. Ей Ирина Викторовна охотно доверяет сердечные тайны. Делится с Ириной сокровенностями личной жизни и Нью-Йорк, женщина влюбчивая и «свободная». Делится от души, не лицемеря и не строя из себя святошу, не боясь показаться развратницей. Ибо судьей для обеих подружек является житейский здравый смысл. А он, здравый смысл, существовал еще при Фоме Аквинском и с неизменной терпимостью (а то и смелым торжеством) запечатлевал естественное, земное, «греховное».

Что ж, со времен средневековья с характерным для него жестким разграничением «официальной» и «бытовой» культур литература проделала многоступенчатую эволюцию. И если оценивать пройденное суммарно, то это будет путь активного контакта художественной мысли с сознанием обыденным, «здравым». Здравый смысл (вспомним Чосера и Боккаччо) предпочитает называть вещи своими именами, сдерживает с бытия чопорные одежды приличий и перифраз. Обыденному сознанию хорошо известно, что ригоризм моралиста может легко обернуться лицемерием Тартюфа. Оно видит невольность заповедей, чутко реагирует на изменчивость нравов, подрывает догматический стиль мысли и действия.

Реалистическое искусство исповедует верность правде быта и нравов, ищет социальные ценности в действительности, стремится говорить на ее языке. Проблема же художника — сообразовать знание реальной стихии с правдой нравственных начал.

Зальгинская Нью-Йорк, повторяю, женщина «без предрассудков». Она умеет увлекаться и увлекать, делать то, что ей нравится. По одним меркам она «грешница», по другим — «современная»: критический спор об этом уже позади. Некоторые критики были шокированы фривольностью «советских инженеров». У них, как было сказано, катастрофически понижены моральные барьеры. Может, поэтому и дискуссию назвали «Говорим о странностях любви». О страстях. Не о любви, а о странностях! Почти да потому что с иной точки зрения сны и неприхотливая свобода Нью-Йорк «вспышка» личной жизни Мансуров командировочный роман инженера Чива (повесть Д. Гранина «Дождь в чу

роде»). Точно так же «странной» оказалась позднее и история Сергея Башкапсарова из повести Ф. Искандера «Морской скорпион». Причем никто вроде бы не утверждал, будто в книгах изображены ситуации нежизненные, ирреальные. Смущала коллизия нормы и действительности.

Мужу Ирина Викторовна, что греха таить, изменила. И Нюрок со своими разговорами отнюдь не способствовала охране супружеской верности. Но о чем совещалась Нюрок с Ириной Викторовной? Открывается еще одна «странность»: речь шла о Счастье, о Большой Любви.

Нюрок влюбчива, ее увлечения — искренняя страсть. А Ирина Викторовна, та просто взмолилась: пошли мне Большую Любовь, огромную.

Так-то. Критики обличают мещанскую психологию героев, сетуют на подмену искусства психоанализа эротическими шалостями, требуют не поверхностного осуждения, а нравственного суда. Наверное, это по-своему здраво. С искусством психоанализа у писателей подчас действительно слабовато. Только взгляните — герои, эти простые смертные, чего жаждут? Не развлеченьица, не забавы — полнокровного, одухотворенного чувства. Это для них синоним счастья. Они же романтики по натуре! «Господи! Пошли мне Большую Любовь! Огромную!» Вот в какие слова облачаются «отклонения» Мансуровой. И это в трезвый век НТР, в век лихорадочной механизации.

И молодой, преуспевающий, неотразимый Башкапсаров туда же: «Он вспомнил свою давнюю, не высказанную своему другу остроу: ведь не душу ее ты целуешь. Какая глупость! Что как не душа или не соучастие души делает первый поцелуй влюбленных таким прекрасным, что никакие позднейшие изощренные ласки не вспоминаются с такой благодарной нежностью».

Это бросается в глаза: в семейном ли кругу, на свидании ли герои томятся по «соучастию души». Рано или поздно они сознают это соучастие как непреходящую и желанную ценность. И к этому как к залого своего блага стремятся через бытовые колдобины.

Что же тяга сия — надумь? сентименталь-
ная архаика? следствие прилежного чтения? о ком мудро сказал поэт: «Любви нас природа учит, а Сталь или Шатобриан»? Нет, литературные персонажи узнают о счастье отнюдь не из романов. Между тем и

романы иные пришлось бы кстати. Помните, как И. Эренбург иронизирует над жаждущими единства души и тела в «Хулио Хуренито»? А дядюшка Адуев у Гончарова! Уж как досталось от него мягкосердечному Саше. Однако чем кончилось? Кончилось грустно и вовсе не в пользу дяди.

Герои современной прозы — дети иных времен — уступают в наивности Саше Адуеву, вскормленному книгами Сталь и Шатобриана. Но, как ни странно, в наш рациональный и прозорливый век им выпали похожие испытания, тот же духовный конфликт. Конфликт высоких, идеальных чаяний и прозаической стихии быта. Подтверждение тому находим в книгах Д. Гранина, Ф. Искандера, К. Воробьева. Или вот в рассказе Г. Семенова «Фригийские васильки».

Перед нами не лишенная пикантности история любовного романа. Случайное знакомство Бориса Ивановича с молодой Тоней обернулось — хотя и на краткий миг — серьезным чувством. По крайней мере так показалось им обоим. Автопоездка в Прибалтику едва не стала свадебным (точнее предсвадебным) путешествием. Увы, прекрасному мгновенно не суждено было остановиться. По возвращении в родной город милая Тоня неожиданно-негаданно покинула бедного Краскова. В грустном одиночестве ему осталось лишь вспоминать о мимолетном счастье, которое казалось явью, и о женщине, которую он назвал однажды своим васильком, фригийским васильком — поздним осенним цветком. Герой, как водится у Семенова, слегка несуразен, неуклюж, сентиментален. Но и Борис Иванович надеялся рано или поздно обрести «истинное свое счастье». Среди ежедневных забот ему, бывало, рисовалось прекрасное бегство от вседневных дел на замечательную рыбалку куда-то в далекие края. Он лелеял мечту, готовился и... никак не мог собраться в путь. Видимо, смысл мечты был вовсе не в конкретной рыбалке. Грезы приобретали романтический образ, отождествлялись со счастьем в целом. Между нами говоря, Борис Иванович толком и не знал, чего хотел. Просто нужен человеку горизонт, чтобы каждое новое утро казалось подготовкой к пути.

Помышляя о приятном будущем, Красков, по словам автора, так и не заметил радости настоящего. Заостренную противоположность «завтра» и «сейчас» можно было

бы принять за логический итог рассказа, но дело здесь, кажется, не в прямой логике. Сквозь тонкий психологический рисунок — а держится все именно на нем, на зыбкой смене душевных состояний, — проступает характерная для современного человека занятость текущим днем, который при всей его интенсивности зачастую видится только ступенью к лучшему завтра. (Другой психологический полюс — быть счастливым в настоящем, не упускать радости сегодня.)

Автор, пожалуй, не прочь повернуть мечтательного Краскова лицом к реальному настоящему, избавить его от бесплотного миража и очаровательного обмана. Между тем погоня за летящей минутой бывает столь же иллюзорной, сколь и романтическое упование на безмятежное завтра. В действительности настоящее перетекает в будущее, новый день наследует дню вчерашнему. Я подумал, перечитав историю этой мимолетной любви: для каждого человека будет свой ответ. Один для Краскова, другой для Тони.

Литературу притягивает к себе опыт сложный, трудный.

В 1949 году женщине Тане из маленькой повести В. Белова «Моя жизнь» исполнилось семнадцать. Над своей жизнью она серьезно задумалась в сорок, то есть в возрасте Ирины Мансуровой. Пришлось Тане хлебнуть горя, особенно по молодости, когда девчонкой завуакировалась с матерью и братом из блокадного Ленинграда, когда вырабатывала трудовни в деревне, коротала дни в детдоме, осваивалась в ремесленном. Рано открылась ей суровая сторона жизни. Что и говорить, Ирине Викторовне, женщине благополучной, ухоженной, обеспеченной, существующей при информационной лаборатории и солидном муже, выпала судьба полегче.

Подобно многим Таня в юношеские лета испытала светлое увлечение (собиралась выходить замуж за Костю Зорина, да так и не вышла); и была обидно разочарована первой физической близостью. Мелькают годы, выстраивается судьба. Сев в канун своего сорокалетия писать автобиографию и припомнив прошлое, измочила Таня бумажные листки крашеной слезой...

Повесть В. Белова написана бесхитростно, от первого лица. Лишь реплика в финале мелькает как знак некоего итога. Звучит мотив горечи по утраченному счастью. Жизнь не удалась, любовь не получилась, не устояла перед бытом. Да что там лю-

бовь! Простое семейное счастье ушло сквозь пальцы. А могло оно быть? И тогда мы спохватываемся и понимаем, какое прозрение отпечаталось крашеными слезами на бумажном листе: могло. И вину надо Тане искать в самой себе. Как ни бросала жизнь, но — угадываем вслед за ней — был выбор. Был, когда разъехались в разные концы с Костей. Был, когда разошлась с первым мужем. Был, когда порвала со вторым. «Тогда я еще не задумывалась о жизни», — обронит вскользь Таня. Бессознательные шаги... Дело даже не в том, что можно было не спешить в город, в ремесленное и бороться за свое с Костей счастье... Просто не случилось в человеке «соучастия души». Ведь оба Таниных мужа — вот случай! — поначалу ее и ценили и уважали. Она же была равнодушна к их добру, норвила не задумываясь сделать обязательно по-своему, не уступала в мелочах. А потом их же вирила во всем. «Я еще раз убедилась, что мужчинам никогда нельзя верить. Все они скроены на один лад».

Замуж Таня больше не вышла, квартира обставлена, работает нормально, ходит к ней один знакомый. Все, кажется, устроилось, не на что жаловаться. Отчего же тогда плачет женщина и сохоса от пятен листок автобиографии? Таня привыкла корить в своих несчастьях мужчин. Писатель, похоже, опровергает ее и даже намекает на особую ответственность женщин в семейных катавасиях и коллизиях. По крайней мере Костя Зорин в другой маленькой повести, «Воспитание по доктору Споку», с трудом выдерживает норвистую тактику жены Тони. Нет мира в его семье, зато есть у жены привычка идти обязательно вопреки мужу. Всю жизнь она с ним «борется». И поскольку в этой тактике видно лишь своеволие и нет охоты здраво подумать о своей, мужниной и дочкиной жизни, Зорин теряет самообладание. И копится у него боль в сердце.

Как и всякому человеку, Косте противостоят случайности жизни: текущая нервотрепка на работе, стычка с хулиганами на остановке такси, затажные хлопоты с устройством дочки в детский сад... «Все главное!»

Мы часто говорим: вот писатель забрал в семью, в любовь, в быт, а как же работа? Потом посмеиваемся над механическим параллелизмом «труда» и «быта», «утеплениями». У В. Белова в малой, пактной повести и рабочее и дома

времяпровождение героев длится естественным порядком, перетекает, как в песочных часах. Кстати, на этом основании легко было бы подключить повесть В. Белова к производственной теме: она смотрелась бы в этом ряду точно так же, как и в семейно-бытовом.

А хлеб свой насыщенный, заработанный человек несет опять-таки в семью, хочет у очага своего успокоиться, сердцем отойти. Бывает, конечно, и работа от недугов лечит. И «все главное». Но не главное ли всего другого все-таки соучастие родной души? Плохо, неудобно, одиноко без него героям Белова.

Опыт жизни не свод рецептов, и то, что легко доказать проповеднику, нелегко осуществить мирянину. Вот, например, Лева Одоевцев у А. Битова находится во власти желания и ничего поделать с собой не может. Присушила его к себе ветреная Фаина, и Лева плетется за ней точно на веревочке. Даже преданной Альбине не удается избавить мнительного Одоевцева от бессмысленного, фактически унижительного тяготения. Казалось бы, тебя преданно любят, тебя ждут, тебе — именно тебе! — обещано редкое счастье. Чего же боле? Подумаешь, Онегин выискался! Лева в растерянности, хотя уж он-то сымальства призыв задумываться о себе и о других, рефлексировать до самоистязания.

В статье «Когда бы жизнь домашним кругом» в журнале «Дружба народов» критик А. Бочаров, говоря о серьезности семейно-бытовых сюжетов, делился, между прочим, таким наблюдением: «Уже одно обозначение профессии или должности — колхозник, директор завода, врач, лесоруб — пробуждает более или менее четкие «ролевые» ожидания, обусловленные известным укладом жизни, степенью образованности, материальным положением, общественным престижем, это мы и принимаем за типичность. А слова «муж», «жена», «отец», «дочь» не возбуждают практически никаких представлений о возможностях поведения человека».

Мысль требует уточнения. Хотя «роли» мужа, жены, отца относятся к производственной сфере и не подлежат профессионально-административной регламентации, они тоже тесно связаны с определенным укладом жизни, влекут за собой вполне очевидные нравственные задания. Именно поэтому-то А. Бочаров и пришлось оспаривать моралистиче-

ские претензии некоторых критиков к некоторым героям!

Спор, надо сказать, вышел прелюбопытный. Действительно, если исходить из идеальной схемы, то женатому любить другую нехорошо, «безнравственно». Герои автоматически попадают в разряд людей, лишенных нравственного закала. Приговор выносится незамедлительно: измена! И обжалованию не подлежит. Критики оказываются строже иных жен, умеющих прощать, забывать и прочее.

В рамках формальной логики, кажется, и возражать неуместно. Ослабление семейных связей — зло, и точка! Только вот остается необъясненным тот реальный опыт жизни, который побуждает писателей исследовать «странных» героев, оказавшихся на перекрестке формальных и неформальных отношений. Побуждает не торопиться с нравоучительной силогистикой, а вникать в хитросплетение характеров и обстоятельств, в противоборство личной воли и жизненной необходимости. И прислушиваться к голосу здравого смысла, которому свойственны живой расчет и трезвая терпимость.

Известно высказывание К. Маркса о том, что «отношение мужчины к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку». Всякое естественное отношение характерно тем, что оно многогранно, изменчиво, зачастую непредвосхитимо. Мужчина и женщина связаны прежде всего непосредственным переживанием. Стихия психики, непредсказуемость характеров, всплески эмоций — вот реальность этих естественных отношений.

Вместе с тем естественные отношения пересекаются в обществе с отношениями «искусственными», нормативными. Не последнюю скрипку играет здесь и мораль как одно из средств социального контроля и управления. Мораль, объясняют ученые люди, наделяет человека внутренним правом и осознанной обязанностью. Она в известных ситуациях предлагает ему определенную линию поведения, ставит его в зависимость от других людей и сообщает критерий оценки содеянного. Мораль — это партитура выбора.

Все бы хорошо. Тем не менее мораль издавна встречается на своем пути прихотливые преграды. Живая жизнь неохотно поддается обязующим предписаниям. Ведь чем больше требований и правил, тем чаще они нарушаются на практике. Совесть — великое человеческое качество, но в каждом

новом случае надобно учесть и осмыслить все наличные обстоятельства.

Обстоятельства. Под их давлением вершилась историческая трансформация моральных систем, осознавались их социально-культурная принадлежность и относительность. А камнем преткновения опять и опять становился мир личности, ее сознательный выбор, ее совесть.

Совесть должна опираться на незыблемые нормы и понятия, говорили одни. Но ведь нормы меняются, требуют обоснования и интерпретации, возражали другие. Так родился в литературе спор моралиста и анархиста, спор, который едва ли не впервые возник как раз на почве вопроса о «свободе любви».

Моралист выступал за повсеместное и неукоснительное соблюдение традиционных установлений. Он не желал знать никаких исключений из правил, никаких житейских и личных мотивов. Он торжественно воздевал перст к небу, когда в грозовой час бросалась с откоса Катерина, когда прятались от посторонних глаз Гуров и «дама с собачкой».

Анархист толковал: делай что хочется. Предавался разгулу, как Санин у Арцыбашева. И что же? Он либо входил в непримиримый конфликт с волей других людей, либо пресыщался, размагничивался, впадал в душевный кризис, как герой «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого.

Моралист готов торжествовать: действительно в нравственных истинах заложена жизненная целесообразность, выверенный веками принцип. Однако живому человеку при встрече с моралистом по-прежнему бывало почему-то холодно и неудобно. И мерещился нижегородский откос. (Моралиста не следует путать с максималистом — человеком исключительного по принципиальности поступка и этической судьбы. Моралист предпочитает контролировать других, максималист радеет прежде всего о совести и деле.)

Уклад современной жизни предоставляет мужчине и женщине широкий диапазон свободы. Не только податливый здравый смысл, не только эволюционирующая мораль, но и юридический закон весьма гибок. Хочешь — женись, хочешь — разведись, хочешь — встречайся, хочешь — сиди дома. Обычно не является роковым ни имущественный, ни ритуальный вопрос. Улыбка Боккаччо, умиротворенно созерца-

ющего пестроту нравов, стала ныне едва ли не общим достоянием.

Современный человек может легко затеряться в толпе, познакомиться, расстаться. Он проходит подчас через такие лабиринты, какие литературе и не снились. Перед ним масса возможностей поведения, будь то семейные маневры или случайная связь.

Вернемся к Сергею Башкапсарову, герою Ф. Искандера, научному работнику, современному молодому человеку. Вот он приехал отдыхать на берег моря. Ловит рыбу с приятелем, сидит в компании, переглядывается с красавицей женой. А мысль его совершает незримую для окружающих работу. «Он снова погрузился в воспоминания...» Как в кино, мелькают в мозгу лица женщин, юношеские увлечения, победы и неудачи. Приподнимается занавес над частной жизнью. Мы уже слышали протестующие возгласы: зачем? кому это надо? Одна, вторая, третья — подумаешь, удивил! А мы попробуем все же разобраться, куда ведет героя жизненная тропа, каков смысл его личного опыта.

Некогда Н. Помяловский, сообщая о своем герое, резонно писал: «Как бы ни был человек прозаичен, но имеет же он хоть фунт хорошей крови в организме и пару мыслей о женщине в голове... Каждому смертному жизнь дает известную долю любовного продукта, имеющего тот или другой характер, смотря по темпераменту и нравственному развитию. Автор обязан представить факты, причем, само собою разумеется, поэтические ходы и ломанье не имеют места». Это к сведению моралиста.

Как и у прочих молодых людей, у Башкапсарова нет недостатка в «хорошей крови». Однако листовая страница его приключений, мы вскоре замечаем, что это отнюдь не спортивные трюки хладнокровного ловеласа. В крови Сергея бродит уже открытый другими героями романтический ген. С каждым днем Сергей все глубже тоскует по «соучастию души». И хотя он по-прежнему проводит свободное время на радеву, это времяпрепровождение превращается теперь в неустанные поиски «своей избранницы». Избранницы! Слово-то какое. Кто-то, наверное, скептически улыбнется над такой мотивировкой.

Мне сдается, что судьба Башкапсаров оттеняет любопытную психологическую закономерность, отражает борьбу идеальной и реальной начал.

Сергей не аскет и не схимник, он вовсе не склонен подавлять врожденный темперамент. И что же? Все случайное, легкое, мимолетное, сбываясь и поглощая энергию крови, фактически остается несущественным для биографии и характера. Эти факты — по ту сторону сознания, да и нравственности, пожалуй, тоже. Человек не страдает, не мается, не впадает в противоречие с самим собой и другими. Он как ручеек, который принаравливается к ландшафту. Потому и судить особенно не о чем, события сообразны незамысловатой логике здравого смысла.

От свидания к свиданию Сергей все острее испытывает недовольство происходящим, разочаровывается в скоротечной влюбчивости. Тысячу раз житейская логика осмеивала такую вот «духовную жажду». Сергей же наперекор обыденности открывает в этой жажде «главный человеческий дар». Это уже не юношеские иллюзии и не книжный идеализм, но итог реального, самостоятельного и разнообразного опыта, свободного от стандартной регламентации. Писатель не упускает из виду, что именно затаянная «нравственная требовательность», интеллигентская приверженность к «идеалу» были первопричиной разочарований Сергея, его неудач в поиске избранницы.

Без идеала, требовательности, «духовной жажды» куда как проще. «Случайные интрижки всегда удавались, и женщины, с которыми он встречался, чаще всего подчиняясь их инициативе, наперебой хвалили его спокойный, веселый нрав, потому что сигнальная система высших требований и высших ожиданий не включалась».

Так, может, и не надо включать, проще ведь? Включается «система», сулит тревогу, а потом попробуй выключи.

«Высшие ожидания» настигли на склоне лет Ирину Мансурову, хотя встречалась она со своим Рыцарем для радости и ничего не требовала. И он не требовал. История Чижегова и Кире у Д. Гранина — некий «южноамериканский вариант». Началось с командировочных утех: «Все произошло со смехом, само собой, как бы нечаянно, и вечером, засыпая, Чижегов подумал о ней, как думают о гулящих бабах, довольный главным образом собой». Кончилось же сложно, на нервах, с болезненным выяснением отношений. Не бывает любви легкой. И не однажды всерьез произнеслось это «ранное, иррациональное слово».

Всерьез! В какой-то миг рандеву принимает действительно сложный оборот. Героям уже не до благодушного довольства собой. Нужно разобраться, переустроить и скрепить личную жизнь, полагаясь на соучастие души. А после за это соучастие ежедневно бороться, ибо тонки, обрывчивы людские связи. Крепка и истинна только подлинная, живая, неформализованная связь. Нет, положительно литература предпочитает опыт трудный.

Мысли посверкивают сперва на краю, на поверхности сознания Башкапсарова, затем загладевают им полностью. Перефразируя М. Бахтина, можно сказать: Ф. Искандер (как, впрочем, многие его коллеги) изображает не влюбленного, а самосознание влюбленного.

Рефлексия, ширясь и ветвясь, прихватывает эпизоды биографии, ставшие помехой счастью, ощущению гармонии меж собой и миром, нравственной удовлетворенности. Здесь и судьба Володи, на редкость честного парня, которому как раз из-за честности и прямоты выпали страдания. И необходимость смягчать новизну своих научных работ из-за того, что кому-то из столпов они не очень удобны в таком виде, и приступ трусости в драке из-за девушки...

Разрозненные, разнокалиберные факты сливаются в памяти, перемальваются сознанием. Чередуется примеры человеческих слабостей, эгоистических поступков, злого своеволия. И рядом с этим — любовь. Мысль чертит новые круги, и не обещано пока избавления от беспокойств. Беспокойство даже усиливается, потому что необходимость сознания, необходимость нравственной требовательности к себе и другим кажется несовместимой со счастьем. В свете опыта бытового счастья представляется Сергею неисполнимой попыткой «уйти от сознания», «окунуться в милую суету бессознательности». Так ли это и это ли счастье?

Уже не любовь, не трещинка в отношениях с женой, а отношение с миром подвергается осмыслению. Вызревают итоги:

«Дар жизни, подумал он, не может быть связан с такими преходящими вещами, как любовь женщины, научная карьера, гармония семейной жизни. Ради этой лживой гармонии я уже однажды сделал низость. Лишив человека ночлега (пусть одна комната, пусть человек неблизкий, все равно нельзя было этого делать), ради утверждения и сохранения своей мысли я чуть было не согласился на искажение ее».

Дар жизни — это видеть, сочувствовать, осознавать, принимая всю неизбежную горечь, которую приносит знание. Это единственная ценность, которую у нас никто не может отнять, если мы сами у себя ее не отнимем».

Итак, ценность обретена, но она парадоксально противостоит личному счастью, которое сперва мнится достижением частных целей, благополучием обретенного покоя.

Хотя Сергея преследует чувство непредуказанности жизни, он не разрешает себе отгородиться от нее во имя собственного «я». Брошен вызов житейской логике и ее понятиям о счастье. Чаша рефлексии клонится в сторону этического максимализма.

Эхом всему подобному звучат заключительные строки повести В. Тендрякова «Затмение». Вот они:

«Проросли люди друг в друга многими, многими связями. А самая простейшая, самая короткая человеческая связь — Он и Она! — начало всему... Тут чаще всего у нас рвется. Тут каждый проходит экзамен на проникновенность — он в нее, она в него! Пойми и признай человека, единственного из всех, назначенного делить с тобой путь. Пойми! Нет, трудно.

Воистину: за понимание друг друга люди платят кровью и кусками жизни».

В. Тендряков с философской решимостью, со свойственным ему в последнее время публицистическим логицизмом вторгается в тему рандеву. Разыгрывается типичная ситуация: треугольник. Он, Она, Другой. Уход ее к этому другому, муки ревности. Как и у Искандера, герой — научный работник. Не обошла его стороной и кулуарная борьба научных авторитетов за престиж и место под солнцем. В этой борьбе Павел мужественно отстаивает правое дело. То есть в служебных делах он задумчивого Башкапсарова явно удачливее. Ну а в домашних? Трудно сказать. Были и у Павла женщины, был и у него поиск идеальной избранницы. Вот нашел! И не только физическая близость связала его (в отличие от Сергея) с женой. Был порыв одухотворенный, даже рыцарский. Были душевные беседы на острые темы века. Встреча с Майей и женитьба на ней — это ли не счастье, это ли не праздник любви?

Счастье, счастье. Опять погоня за всесторонней гармонией. Потянулись семейные дни, и романтическая бригантна, как водится, наскочила на мелководе быта. Стоп! Не на суету благоустройства вещественно-

го, неоднократно рентгеноскопированного и развенчанного литературой. Простая домашняя идиллия для Майи, заметьте, скучна. Умными диалогами с мужем она пресытилась и противится своей чисто женской роли. Незаурядная Майя являет новый вариант эмансипации: ей недостаточно делить с супругом кров и ложе, ее не занимают научные занятия мужа и собственная карьера. Это для нее слишком тривиально. Романтизм женщины простирается гораздо дальше: она уходит от Павла к его идейному антиподу Гоше — человеку одинокому, «свободному от всех», сектанту. Вслед за Гошей Майя увлекается проповедничеством и душевспасительной деятельностью «братства». А для героини уход — это вызов «мещанскому счастью»!

В. Тендрякову хотелось перевести коллизию любовно-бытовую в коллизию мировоззренческую. Вопрос о личном счастье с самого начала мыслился как вопрос универсальный. В философском плане это справедливо. Но обеспечен ли философский номинал художественно?

Как и в предыдущей повести «Ночь после выпуска», писатель одержим жадной дискуссии. Он сталкивает героев лбами, подстраивает им кризисные обстоятельства, нарочито обходит бытописательные приемы. Не уверен, что в данном случае небрежение бытом оправдано, как и то, что «драма идей» отделяется от драмы характеров. Взять хотя бы Гошу. Верует ли он искренно, или это хитрый божество шарлатан, которому нравится прикрывать удобную «свободу» игрой в духовное братство?

Если он верует и исповедует альтруизм, то почему столь легко входит в роль злого разлучника и с бесчувственной усмешкой бросает: «Старик, мы любим друг друга»? Пожалуй, Гоша — лукавый аферист и таким задуман, но тогда рушится мировоззренческий каркас повести, спор ученого с сектантом — игра, псевдоконфликт. Вместо философической трагедии получается риторическая мелодрама.

Рандеву — тема хрупкая, касаясь ее, опасно ставить героев на пуанты.

Конфликты последних произведений В. Белова — прежде всего маленькой повести «Воспитание по доктору Споку», рассказов «Чок-получок» и «Свидания по утрам» — также преломляются через тему женской самостоятельности и независимости. Правда, жену Зорина Тоню тендряковская Майя, как многих своих соратниц, з

метно переощетляла. Для Майи семья — не цель и не обитель, но только одно из средств самоутверждения. Да и то — необязательное средство. У нее ведь с Гошей семьи нет. Семья Майи и Крохалева тоже, в сущности, еще не семья. Их недолговременный союз, их бездетный дом — плацдарм идейных битв по преимуществу, отнюдь не «модель» супружеского бытования.

Не то у В. Белова. Тут почва сюжета — «типичный быт». И дочь Иринка, которую критик Л. Кузнецова удачно назвала «зерном на жерновах родительских раздоров», едва ли не решающее «обстоятельство» в домашней тяжбе. Что как не присутствие ребенка превращает большинство семейных раздоров в затяжные драмы и трагедии.

Так называемая эмансипация Тони в отличие от Майиной состоит в том, что Тоня упорно перечит мужу, бесполокко хватается за модные погромашки вроде рецептов Спока и ставит на попа вопрос о взаимных обязанностях. При этом Зорину, а вслед за ним и писателю сдается, что осуществляется в основном уклонение женщины от исконного долга перед домом и мужем. Война у Зориных — сумбурное фехтование по поводу маленьких житейских «я хочу» и «так надо», нагнетаемых прессом супружеской субъективности. При всем том герои В. Белова не на шутку заняты проблемой семейной власти и решают ее применительно не к себе только, а принципиально и мировоззренчески также.

Тониним прихотям, которые столь же подробно, сколь и неприязненно запротоколированы автором, Костя противопоставляет не раз поминаемый всею домострой. И получает в ответ от Тони, не желающей следовать кодексу беспрекословия, попреки в домостроевщине. В словесном поединке герои, как говорится, квиты.

Хотя Костина тоска по прошлому и мила писателю и он готов апеллировать к патриархату как гармоническому идеалу, во всех шагах Зорина преобладают, однако, нервозность и беспомощность. Действительно, как ему чтить дедовские обычаи, если реальный уклад глубоко сдвинулся, если разительно переменялись социально-экономические и культурные условия. Косте, слишком озабоченному тем, чтобы умело разделить ежедневные хлопоты жены дерганной, как и он, на работе, не желающей эту работу бросать и мечущейся обню другим женщинам между работой

и домом), остается гневаться на жизнь и на супругу, требовать и порицать, куражиться и пить «с горя», взывая к давнишним, якобы «золотым» временам. Времена сегодняшние, более того — собственный личный быт, Косте неподвластны.

И домострой он поминает, кажется, не по утонченной умственности, а из желания обрести хоть какую-то верную защиту от иррациональной бабьей вздорности. И чудится ему, будто Тонькина «эмансипация» есть не что иное, как свобода вздорности, перед коей равны и мужнино упрямство и мужнина покладистость.

Добавлю: Зорина по-человечески жалко, за все происходящее — больно. Сопереживанием нас автор безусловно заразил, в этом его писательская сила. Вот Зорин стоит поутру возле телефонной будки и ждет, когда выйдет на прогулку дочка. Знобко делается от его безысходной тоски, оттого, что на глазах по дурости взрослых ломается ребячья судьба. И зло берет на Тонию за ее норы и необъяснимое нежелание следовать элементарным заповедям женственности и материнства. Может, и в самом деле против такой неуживчивости, кроме «домостроевской» тактики, другого средства и не найдешь? Только вот опасно возводить подобную тактику в некий абсолют. Ибо легко представить себе и обратную жизненную ситуацию, когда виновником разлада и детского страдания окажется своенравный мужчина. Не дай бог ему в руки еще и «домостроевские» права. Неправым же здесь в конечном счете будет тот, кто останется равнодушен к детскому страданию и детскому будущему.

В. Белов главную вину возлагает на взбалмошный женский характер. И вместе с тем пытается объяснить кризис современной семьи, что тяготеет к разводу, женской страстью к самоутверждению. Критика справедливо заметила, что автор в качестве «свидетеля обвинения» весьма пристрастен. Конкретный человеческий характер, надо сказать, при любых укладах и устоях — величина переменная и многоликая. Недаром еще фольклор создал четкие образы и сварливой жены, и мужа-привередника, и завистливого ревнивца, и преданных влюбленных. Кризис же семьи — явление объективное, обусловленное (по мнению социологов) и жилищным вопросом, и развитием обслуживания, и занятостью женщин в общественном производстве... Как показывает практика, бытовые

трудности успешнее преодолеваются людьми, которые трезво приспосабливаются к новым условиям, по уму делят между собой заботы и обязанности, не цепляясь попусту за наивные предрассудки, односторонние требования и вздорное хотение.

Литература являет собой сознание «критическое» в широком культурологическом смысле, поскольку ею исследуются и обсуждаются нравственные возможности человека, альтернативы поведения, созвучные современности и общезначимые для опыта народной жизни. Коллизия есть форма оценки этого опыта и анализа поступков, способ отделения зерен от плевел. Критические обстоятельства служат данной цели. Архитектоника сюжетно-конфликтных ситуаций не зеркальная копия «действительности», но квинтэссенция уроков общежития и выбора.

У В. Тендрякова в «Затмении» альтернативы были спрессованы, обстоятельства нагнетены, выбор обострен. У Г. Семенова в повести «Уличные фонари» и романе «Вольная натаска» охвачен тот же круг вопросов — любовь, счастье, взаимопонимание, нравственные устои семьи, но драматургическая оснастка иная: герои вроде бы никуда не рвутся, не ищут себе роковых проблем. Майя в повести Тендрякова покинула супруга, устроив бунт против семейного формализма, отринув единым махом древний идеал мещанского счастья и мирной домовитости. А Дине Простяковой в «Уличных фонарях» такого-то счастья и не достаёт. Житейский идеал «совет вам да любовь» для нее недостижим. И «соучастие души» — это для Дины не мистическое понимание и изощренная стыковка умов, а согласное пребывание с милым в четырех стенах.

Любимые герои Г. Семенова — люди подчеркнута обыкновенные, простые, без затей: Простяковы. И образ жизни они исповедуют немудреный, старомодный, укорененный прежде всего в стремлении к стабильности и домашности. Они, если хотите, консервативные старосветские романтики, продукт традиционной старомосковской, провинциальной среды. Против их нравственности новейшие веяния и случайности — распущенность великая.

«Вот скажи мне, пожалуйста, — разглагольствует Петя Взоров, — где граница нравственного и безнравственного: парень идет рядом с девушкой, парень идет под руку, парень идет, обняв ее за плечи, идет,

обняв за талию, идет и целуется, идет и гладит ее и так далее. Где граница?»

Читатель усмехнется: проблема! А Простяков ужасно волнуется, хочет ясности, соответствия жизни и нормы. Факт, что норма меняется, что норм много, а люди от них отклоняются — это ему нож в сердце. И поэтому его бесит самонадеянный Петя с его рациональным прогрессизмом, апеллирующей к свободе выбора и к эволюции поколений. Простяков заводится, лезет в бутылку, инспирирует дебаты, ведущие к скандалу.

Спор носит не только умозрительный характер. Трудно вообще поверить, что Петя мог появиться в доме Простяковых, стать на несколько лет фактическим мужем Дины Демьяновны, избегнув законного бракосочетания. В другой семье сей гражданский союз, наверное, и не выглядел бы столь инородно. Но у Простяковых?

Г. Семенов наиподробнее, с завидной подчас пронизательностью (рассказ о старом огурце, Дина и Денисов на даче) живописует эту домашнюю жизнь: диспуты за чаем, поездки за город, бесконечные выяснения отношений — все, что окружает историю несостоявшегося брака Дины и Взорова. Встанут рядом люди старые и молодые, избравшие два разных образа жизни: узы законные, плану добронамеренной домовитости, добропорядочной супружеской верности «до гроба» и связь свободную, неофициальную, лишенную формальных обязательств.

Мы уже видели: роковой вопрос о формальном скреплении отношений мужчины и женщины странным образом рождается тогда, когда отношения двоих становятся серьезными, глубокими. К черте серьезности подошли в свое время герои Д. Гранина, и возле нее застиг их трудный час размолвки. У этой черты долго, безумно долго топчутся и герои повести «Уличные фонари». Никак не развязать им узелок своего затянувшегося романа. В отличие от исандеровского Башкапсарова их так и не посещает мысль о «живости» искомой «гармонии».

Г. Семенов верно подмечает, что тяга к легальности, к норме, к узам преобладает в женщине. Пережив радость первой близости, Дина начинает потихоньку тмигаться неопределенностью своих с Петей отношений. Вроде бы они и так слоуж с женой, не достаёт какой-то мелоч

формальности, бумажки. А тревожно, неспокойно, Рубикон не перейден.

Писатель на стороне Простяковых: повесть завершается поражением Взорова. Поссорившись с Диной, он покидает ее дом и лишь несколько лет спустя объявляется вновь. В отличие от бедной Дины Взоров женился (не миновала его чаша сия), обзавелся ребенком, но счастья-то нет... Подобно Онегину, он ищет прощения, хочет вернуться, понимая, что только эта женщина могла составить его судьбу. Возможность безвозвратно упущена, и остается признать неверность своей прежней позиции и прежнего образа жизни: «Господи! До чего ж я завидую твоим старикам! Я их, честно говоря, только теперь стал понимать. Они счастливые, потому что в любой момент могут свободно пройтись, прогуляться по всей своей жизни, поплавать во времени, не боясь глубины... Любовь это или привязанность, бог их знает, но они счастливы».

Не знаю, выдержат ли покладистые Простяковы соревнование с суматошным веком, от многих ветров коего автор их, надо сказать, искусно уберег. Удастся ли им передать в наследство потомкам свой непритязательный образ жизни. Тем более что литератор приходит к знакомой мысли: любовь, верность, прочная привязанность, подлинное родство душ — дар редкий. Не потому ли он подчеркивает наделяет им людей «простых», неуклюжих, контрастирующих на фоне деловитой суеты и беспечной рефлексии остальных?

Таков Коля Бугорков («Вольной натаске» — еще одном варианте семейного счастья. По сравнению с «Уличными фонарями» обстоятельства здесь словно перевернуты. Страдающую сторону представляет мужчина — Коля, безнадежно, на всю жизнь влюбленный в милую Верочку Воркуеву. А Верочка, отвергнув бедного Колю, вышла за расторопного человека Тюхтина и строит в паре с ним свой очаг.

Очаг, над очагом, у очага. Казалось бы, это тот самый простяковский вариант — надежный и традиционный. Увы, планета Веры и Тюхтина идентична планете Взорова: нет глубинного родства и семья, сохранив формальную оболочку, внутренне распадается. Уже появилась у Тюхтина достойная женщина на стороне...

Г. Семенов, как мне представляется, ищет тину в образе семейства Простяковых, идя и умиляясь порой их мудрой про-

стоте. И мы вроде не склонны возражать, нам тоже нравятся милые старики, мы, того гляди, начнем завидовать вслед за Петей их простодушному «консерватизму».

Почему же притягательна для нас идея простоты? Почему чем сложнее мир и его проблемы, тем активнее тревожит дума: проще, естественнее жить надо, простоты хотим?..

Простота. Что это? Подражать Простяковым наивно, даже дочке не удалось повторить родительскую судьбу.

Не берусь разрешать ничтоже сумняшеся названные вопросы. Да и панацеи на все случаи жизни никогда себя не оправдывали. Думаю только, что в идее «простоты» заложен немалый смысл, может даже более глубокий, чем позагнали иные литературные герои. Речь, разумеется, не о той простоте, какая производится показным «опрощением», будь то вычурное пуританство или демонстративное безразличие к «цивилизации» в стиле «контркультуры». Речь об истинной, жизнеспособной культуре, для которой простота есть показатель прочности, разумности, ответственности, уважения к чужому достоинству и понятия о природе жизни. Простота Простяковых сильна и долговечна в роду тогда, когда она подкреплена единством внутренней культуры и народного опыта, неподдельным стремлением к человечности, к здоровому и здоровому жизнеустойчивости.

Романы, повести, рассказы... Везде созвучность пафоса, подбие конфликтных ситуаций, основанных на поиске счастья и понимания. Это не значит, что проза закоснела в трафарете. Подчеркнем: как ни очевиден резонанс этих произведений, они позволяют сопоставлять разные по социальному и психологическому смыслу характеры, помогают почувствовать диалектику общих проблем и ценностей. Посмотрите, сколь полифонично звучит в прозе наиболее распространенный здесь мотив — мотив «соучастия души», сколько в нем индивидуальных оттенков.

Мы читали и боялись: «соучастие души» не химера ли беллетристическая? Однако приходится учитывать опыт героев, а он убеждает: утрака понимания, искренности, внутреннего родства рано или поздно ведет к отрешенности и одиночеству, к опустошению и страданию. Тут предельные веки, а меж ними течет густой бытковой поток. И то, что в жизни сплошь и рядом ба-

нально, в литературе становится важно, поучительно. Иначе это не литература.

Правда, мы нередко путаем вопрос о морали с вопросом об этикетах, приличиях, ритуалах. Не случайно литературные герои часто восстают против стандартных кодексов и теснящих условностей, с одной стороны, и против бесконтрольного своеволия — с другой. Вот и в новых книгах одни герои ищут соучастия и счастья в браке, другие, напротив, за гранью законного союза. Разумеется, это не значит, будто свобода связей вообще лучше семьи вообще. Это значит, что от данной семьи осталась лишь «бумажка», а людям надобна подлинность.

В свою очередь, «свободный» образ жизни так или иначе наталкивается на жажду постоянства, уверенности, долговечности. Парадокс жизни затаен в том, что никогда не удается сказать, будто круг завершен. Все может начаться и повториться вновь, и одному человеку может одновременно достаться судьба Бугоркова и Тюхтина, Чижегова и Мансуровой.

Несколько лет назад, когда наши проза и критика словно заново открыли для себя быт с его интимными — семейными и любовными — перипетиями, казалось, что главная тема здесь — развенчание потребительской психологии. Так оно поначалу и было. Тем очевиднее, что сегодняшняя проза продвинулась к новым рубежам. Расширился круг художественного исследования, открылось, что «интимность» и «камерность» — свойства не темы и сюжета самих по себе, а установка писательского сознания.

Чтобы ощутить истинный масштаб и важность явлений, затронутых литературой, обратимся к свидетельству советских социологов: «Одна из особенностей ситуации, сложившейся в данной области социальной жизни, состоит в том, что внешние «обручи», которые обеспечивали единство и прочность семьи в старом обществе, были сравнительно быстро «сбиты» с нее самой объективной логикой социальных преобразований. Укрепление же внутренних, межличностных связей между членами семьи, будучи функцией нравственного сознания и нравственной зрелости всего общества, шло более медленными темпами. Иначе говоря, процесс разрушения старого опережал процесс становления и развития нового. Результатом явилась известная дезорганизация брачно-семей-

ных отношений и рост разводов, т. е. те явления, которые некоторые буржуазные теоретики пытались выдать за «гибель семьи в СССР». Эта дезорганизация усугублялась тяжелыми войнами и порожденной ими «демографической диспропорцией», а также экономическими трудностями и недостатками жилья, факторами, не связанными с сущностью социализма как социального строя, а порожденными теми сложнейшими историческими условиями, в которых социализм утверждался и развивался»¹.

В случае творческой удачи ситуация randevу превращается в «модель» этических коллизий общесоциального и общечеловеческого значения. На чашу весов ложатся совесть и долг, добро и красота, должное и сущее. Чаще всего в любовном сюжете подвергаются взаимному испытанию логика моралистическая и логика житейская. Сознание подсказывает, что о жизни надо говорить на языке жизни, не чураясь самых затейливых ее превратностей.

Завершая в 1973 году дискуссию «Поговорим о странностях любви», журнал «Вопросы литературы» писал: «Герой приглашается «на randevу»... Насколько успешны сделанные художественные попытки? Возникает ли за любовной темой, раскрывается или хотя бы угадывается большой мир со всеми его сложными общественными и этическими связями?»

Вопрос резонный. Только вряд ли мы найдем на него ответ, если будем исходить из привычной антитезы: не производственная жизнь героев, а их личная, интимная жизнь. Не по этой черте пролегают общественные и этические связи большого мира в «большой» литературе. Удовлетворимся для начала хотя бы тем, что некий писатель, запечатлев появление героев на randevу, может повторить слова Достоевского: «...я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой».

Была бы только душа и глубина.

Но рискну утверждать — ныне в нашей теме вызревают новые тенденции: там, где раньше преобладали вердикты мелочному «мещанству», сейчас все громче звучат мотивы нравственного самосознания, совершается узнавание внутренней логики современного образа жизни. Конфликты и бытская обстановка в повествованиях таков

¹ «Мораль развитого социализма (Актуальные проблемы теории)». М. «Мысль», 1976, стр. 188—189.

что героям зачастую недостает воли и опыта, чтобы найти выход из запутанных положений. Не везет им и на счастливые финалы. На что им везет, так это на косвенное открытие того, сколь велика в житейских бурях роль культуры личного общения! Может быть, вывод и неожидан, но без накопления этой культуры в каждом человеке невозможно счастливо развязать житейские узлы. А эти «личные», «интимные» противоречия — все вместе — ежедневно отзываются на общем ходе народной жизни.

Идеальным же пределом культуры личного общения пока что остается взгляд на

отношения мужчины и женщины, сформулированный Ф. Энгельсом в его раздумьях о будущем: «...они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности,— и точка».

Что касается любви, ее познанных и непознанных коллизий, ее счастливых и несчастливых исходов, то я, читатель, предпочту обойтись без окончательных резюме. «Любовь — это такая книжка — сказал Н. Помяловский.— которую всякий сам сочиняет и автор которой всегда оригинален».



ГЕНРИХ ВОЛКОВ



ПУШКИН И ЧААДАЕВ: ВЫСОКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОССИИ

Россия вспрянет ото сна...
А. С. Пушкин, «К Чаадаеву» (1818).

Россия! встань и возвышайся!
А. С. Пушкин, «Бородинская
годовщина» (1831).

Освобождение Европы придет из России.
А. С. Пушкин, «Заметка при чтении
«Путевых картин» Гейне» (1835).

На небосклоне духовной жизни общества новая звезда никогда не появляется в одиночестве, она вспыхивает как эпицентр целого созвездия.

Гений получает возможность созреть и развернуть свои способности в атмосфере напряженной интеллектуальной жизни, непосредственного общения и взаимодействия недюжинных умов, людей высокого духовного полета, смелого дерзания мысли, в обстановке «предгрозового», освежающего дыхания новой эпохи, ее предчувствия, предваряющего молнию мысли и молнию поэзии.

Мысль высекает искру при столкновении с другой мыслью. Талант получает могучий импульс к саморазвитию в общении с другим талантом, с другой высокоодаренной натурой. Для молодого Гёте, как он сам признавал, было счастливым подарком судьбы знакомство с историком и философом Гердером, а затем дружба с Шиллером. Сам Гёте явился «духовным отцом» для Гегеля, работы которого породили умственное брожение в Германии и России. Следует подчеркнуть особое значение именно живого, личного, а не только «книжного» общения для созревания гения.

Мысль Пушкина накалялась и мужала в общении с такими незаурядными умами, как Карамзин, Вяземский, Жуковский, братья Тургеневы, несколько позднее Пестель, Ры-

леев, М. Ф. Орлов, Мицкевич... Казалось, все, что в России было талантливого, смелого, умственно дерзкого, недюжинного,— все это объединилось вокруг молодого Пушкина, пестовало его.

И среди всех этих источников и поощрителей духовной энергии поэта Чаадаев выделялся особенно, ибо он обладал по-особому ярко выраженным философским складом ума. Его с полным правом можно было называть мыслителем. Одним из первых русских оригинальных мыслителей.

Такой глубокой, всепоглощающей, можно сказать, фанатичной страсти к исследованию Истины не было и не могло быть ни у искрометно остроумного Вяземского, ни у поэтического мечтателя, большого знатока французской и немецкой эстетико-философской мысли Жуковского, ни у возвышенного и обстоятельного летописца Карамзина, ни у желчного скептика Николая Раевского, ни у политических радикалов Пестеля и Рылева. Конечно, каждый из них по-своему и весьма щедро обогащал внутренний мир Пушкина, но именно Чаадаев, по удачному выражению одного из современников, «поворотил его на мысль».

Необыкновенно восприимчивый Протей — Пушкин жадно внимал беседам своих более опытных, начитанных старших товарище впитывал в себя их мудрость, спорил с ними и быстро, как-то незаметно перерас-

их, оставляя далеко позади. Так происходило со всеми. Так случилось и с высокомерным, «недосягаемым» Чаадаевым.

Взаимовлияние двух таких интеллектов, как Чаадаев и Пушкин, их взаимоприятие и отталкивание на протяжении двадцати лет (1816—1836) не могло не наложить свой отпечаток на духовную жизнь России. И. В. Киреевский как-то написал П. Я. Чаадаеву: «Невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к Вам».

Петр Яковлевич Чаадаев был словно создан для того, чтобы возглавлять умственное брожение своего времени, явиться вдохновенным пророком, ведущим за собой массы, либо мудрым государственным деятелем и законодателем. Но ирония судьбы и времени, в которое он жил, превратила его в конце концов в трагикомическую фигуру несостоявшегося гения — претенциозного чудака, сумасброда, человека «не от мира сего».

Юный Пушкин со своей поразительной интуицией сразу же понял это:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах
Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Они познакомились летом 1816 года в доме у Карамзиных: двадцатидвухлетний щеголь, корнет лейб-гвардии гусарского полка, овеянный славой боевых сражений Бородина, Тарутина, Кульма и Лейпцига, прошедший с победоносной русской армией весь путь до Парижа, — и семнадцатилетний юнец лицеист с горящими любопытством и восхищением глазами.

Как-то так получилось, что они быстро сблизились и, несмотря на разницу возрастов, стали приятелями, потом друзьями. Они встречались чуть ли не ежедневно — либо у Карамзиных, где маститый историк читал избранной публике рукопись своего многотомного труда, либо на веселых гусарских пирушках. А чаще всего бродили по тенистым аллеям царскосельского парка. За ними иногда увязывались и другие лицеисты, и Чаадаев шутя называл внимавших к юнцов «философами-перипатетиками».

Этот красавец гусар резко отличался от их товарищей. Он не был большим охотом до бесшабашных и удалых развлечений. Его бледное, словно выточенное из ора лицо с необыкновенно высоким

прекрасным лбом было малоподвижно и носило отпечаток постоянных и глубоких размышлений. Широта его эрудиции удивляла. Он отлично знал не только труды французских просветителей, но и английских и немецких философов (Локка, Канта, Шеллинга) — по тем временам довольно редкое явление в среде русского дворянства; судил о сложнейших явлениях жизни с прозорливостью и убежденностью, с неколебимой уверенностью в своей правоте.

О чем могли беседовать юный поэт и мыслитель-гусар, рожденный «в оковах службы царской»? Какими идеями воспламенял Чаадаев Пушкина?

В то время Петр Яковлевич был, безусловно, одним из самых радикально мыслящих представителей нового поколения дворянской интеллигенции. С Запада он вывез поразившее его на всю жизнь впечатление: Европа являла слишком резкий контраст с крепостнической, самодержавной, непрощенной Россией. Больно было за великий народ, проливший кровь за освобождение других народов, но продолжавший оставаться под игмом жесточайшей деспотии. Ненависть к самодержавию, доходящая до мысли о цареубийстве («Он в Риме был бы Брут»), идеал демократии, свободного волеизъявления народа («...в Афинах Периклес») — вот чем прежде всего вдохновлялся Чаадаев.

Но, видимо, и тогда уже нередко находило на него мрачное облачко безысходного скептицизма, отчаянья, неверия в то, что можно что-то сделать существенное для счастья и свободы родины.

Эти приступы тяжелой меланхолии Пушкин исцелял веселым смехом и юным пламенным энтузиазмом. Не отголоском ли их споров явилось знаменитое первое послание «К Чаадаеву» с характерным призывом: «Товарищ, верь»? Пушкин здесь не только провозглашает свою веру, но и убеждает старшего друга отвлечься от горьких дум и посвятить отчизне «души прекрасные порывы», он, поэт, убежден, что ночь над Россией не вечна, что рухнет самовластье и напишут на его обломках имена Чаадаева и Пушкина. Пожалуй, ничего более «взрывного», огнедышащего, тираноборческого Пушкин никогда не писал. И не случайно связан этот прекрасный огненный порыв души поэта с именем Петра Чаадаева.

В первые послелицейские годы дружба с Чаадаевым продолжала крепнуть. Пушкин частенько засиживался в кабинете Петра

Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном
суде
Холопа знатного, невежды при звезде...

Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетаньи дам, зоилов и глупцов
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?..

Как жаль, что не было Чаадаева рядом с Пушкиным в трагические месяцы перед его последней дуэлью! Быть может, «исповедальнику» Чаадаеву снова удалось бы как-то уврачевать душевные раны затравленного поэта (он был уверен, что спас бы Пушкина!)? Но Петр Яковлевич в это время сам переживал трагедию: за несколько месяцев до убийства Пушкина рукою Дантеса царское правительство духовно убило и Чаадаева. Неслыханным эдиктом царя Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим.

Судьба этого необыкновенно одаренного человека вообще сложилась странно. Ему прочили блестящую карьеру. Он был адъютантом командира гвардейского корпуса генерала Васильчикова. Александр I знавал молодого красавца и мудреца и благоволил к нему. В то же время Чаадаев близок и с будущими декабристами, они считают его своим, он вместе с Грибоедовым, Пестелем, Волконским, Муравьевым-Апостолом — активный член масонских лож.

Надо заметить, что усердная служебная карьера и оппозиция правительству не исключали тогда одно другого. Было время, когда Александр смотрел на тайные общества сквозь пальцы, сам любил пофрондировать, щегольнуть либеральной фразой и, похоже, не видел большой опасности в «забавах взрослых шалунов».

В 1820 году, вскоре после высылки Пушкина из Петербурга, резко изменилась вдруг и жизнь Чаадаева.

Внезапно вспыхнуло восстание в лейб-гвардии Семеновском полку, где когда-то служил Чаадаев. Восстание было вызвано зверским обращением полковника Шварца с солдатами. С донесением о происшедших событиях был послан к царю Чаадаев. Вот тут-то и столкнулись непримиримо дела служебные и убеждения личные: Чаадаев должен был доносить на своих товарищей по оружию. Тут он, видимо, впервые пережил тяжелую душевную драму, о которой никто и не догадывался.

Кончилось все неожиданно для света. Чаадаев поручение выполнил, доклад царю

о происшествии сделал, возможно изложив при этом свои взгляды на причины восстания. Ему предложили высокий пост флигель-адъютанта самого императора. Но... тут блестящий молодой офицер совершает поступок, совершенно непонятный скалозубам и фамусовым: вместо благодарности и верноподданнических чувств ответил вежливым, но непреклонным отказом и просьбой о немедленной отставке. Все были шокированы и ничего не могли понять. А ларчик открывался просто: в душевной борьбе, обуревавшей Чаадаева, чувство чести и долга гражданина победило чувство долга и чести армейского служаки.

В письме к тетушке он объяснил свой «сумасбродный» поступок с предельной откровенностью: «Сначала не хотели верить, что я серьезно прошу отставки, затем поневоле пришлось поверить этому, но до сих пор никто не хочет понять, каким образом я мог решиться на это в то время, как я должен был получить то, чего я, по-видимому, так желал, чего все так добиваются и, наконец, того, что для молодого человека в моем чине считается самой лестной наградой... Дело в том, что по возвращении императора меня должны были действительно назначить флигель-адъютантом к нему, так говорил, по крайней мере, Васильчиков. Я считал более забавным пренебречь этой милостью, нежели добиваться ее. Мне было приятно высказать пренебрежение людям, пренебрегающим всем. Как видите, все это чрезвычайно просто... Вы знаете, что я слишком честолюбив, чтобы гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустым почетом, связанным с нею».

Все «чрезвычайно просто!» Чаадаев совершил акт высокого гражданского мужества. Он своей отставкой дал пощечину царю и царской дворне и не скрывал, что получил от этого громадное удовольствие честолюбца.

Что дальше? Теперь он — прототип Чацкого и Онегина — пошел «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Сел в карету и укатил сначала в имение своей тетушки, а затем в чужие края.

Петр Яковлевич побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Он познакомился с великими учеными и мыслителями Европы — Гумбольдтом, Кювье, Шеллингом... Всех поражал своим «резким, охлажденным» умом, самостоятельностью суждений, непохожестью на какие-либо устоявшиеся мнения. Шеллинг, бывший тогда в зените своей славы, нашел, что Чаада-

ев один из замечательных людей «нашего времени» и уж конечно самый замечательный из всех известных ему, Шеллингу, русским.

Петр Яковлевич, будучи в Европе, усердно изучал философию, историю искусств и историю религии, учения мистиков. Особенно углубился в религиозные искания, много размышлял.

Контраст между духовной и политической жизнью буржуазной Европы и крепостной России испепелял его сердце. Нищета, отсталость, дикость России казались ему теперь еще более разительными и безысходными, чем после первого его пребывания в Западной Европе.

В беседах с друзьями он не жалел мрачных красок, когда говорил о России. Один из них, Д. Н. Свербеев, встретившись с Петром Яковлевичем в Берне, с ужасом вспоминал, что тот «обзывал Аракчеева злодеем, высших властей — военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве».

Чаадаев вопрошал слушателей, сам же себе отвечая:

«Во Франции на что нужна мысль? Чтобы ее высказать. В Англии? Чтобы привести ее в исполнение. В Германии? Чтобы ее обдумать. У нас? Ни на что!»

В Россию Чаадаев вернулся как раз в то драматическое время, когда царь творил расправу над декабристами. Петра Яковлевича держали некоторое время под арестом, допрашивали, но отпустили за неимением явных улик. Царь не отправил его в ссылку, но Чаадаев сделал это сам, добровольно на многие годы заточив себя в «филиду» — темницу духовного уединения и полной отрешенности от мира. Он переживал острый духовный кризис. Он мучительно искал выход из тупика, куда, как ему казалось, зашла Россия. Искал и не находил его. Он впал в глубокую депрессию. Ладья его «пристала к подножию креста»: он обратил свой взор к религии и мистике.

Наконец после пятилетнего отсутствия Чаадаев вновь появляется в Английском клубе и гостиных и имеет теперь вид человека, которому одному открылась горькая и трагическая истина нашего времени». Что это за истина, читающая Россия узнала значительно позднее, в 1836 году, когда было опубликовано одно из «Философиче-

ских писем» Чаадаева. Близкие же друзья и знакомые, в их числе Пушкин, знали, конечно, кредо Чаадаева еще в 1829—1830 годах, когда он обдумывал и излагал его на бумаге.

Известно, что в марте 1829 года Пушкин приезжает в Москву, видится с Чаадаевым, и наверняка тот открывается поэту. Но Чаадаева ждало разочарование: Пушкин отнюдь не в восторге от новых идей своего старшего друга, он вовсе не принимает их как божественное откровение, на что так надеялся в гордыне своей Чаадаев. Поэт не признал его пророком и мессией и отказался следовать за ним. Это был уже не тот лицейский Пушкин, который смотрел в рот своему старшему другу, ловя каждое его слово.

О постигшей Чаадаева неудаче в попытке приобщить Пушкина к открытой мыслителем «тайне века» явно говорит сохранившееся письмо к поэту от марта—апреля 1829 года. «Мое самое ревностное желание, друг мой, — пишет Чаадаев Пушкину, — видеть вас посвященным в тайны века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя: почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед? Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей».

Это слова мудреца — непосвященному, пастыря — заблудшему. Слова человека, ослепленного прозрением истины, — незрячему, блуждающему в потемках. Это слова Христа к одному из своих апостолов. Слова бога к падшему ангелу. Так, с таким сознанием своего превосходства мог с Пушкиным говорить во всей России только Чаадаев.

Да, Пушкин был уже не тот! Он уже давно не был юношей, не понимающим «своего века и своего призвания». Поэт шел шагами исполина в духовном развитии, уверенно вырабатывая собственную философию ист-

рии в тесной связи с интеллектуальными веяниями эпохи, на основе всего того ценного, чего достигла отечественная и зарубежная социально-историческая мысль.

Обращение поэта с середины 20-х годов к истории своей страны, к ее узловым, наиболее динамичным процессам, к ее наиболее ярким личностям (Годунов, Петр, Пугачев) не было самоцелью, а диктовалось потребностью понять, осмыслить настоящее и будущее России в связи с развитием Европы и всей цивилизации. «В Пушкине было верное понимание истории,— писал П. А. Вяземский,— принадлежностями ума его были: ясность, пронзительность и трезвость». А. И. Тургенев ему вторит: «Я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Никто так хорошо не судил русскую историю».

Начало XIX века принесло с собой историю революционную ломку всех прежних представлений о ходе развития человеческого общества. Именно тогда и стал складываться взгляд на общество как на организм непрерывно изменяющийся, развивающийся, прогрессирующий по определенным общим законам, то есть взгляд исторический. Сам XIX век получает общепризнанное название исторического в отличие от просветительского XVIII века.

Иван Киреевский, близкий знакомец Пушкина, призывал в 1829 году к уважению действительности, которое составляет «средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которое обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа». «История,— продолжал он,— в наше время есть центр всех познаний, наук, естественное условие всякого развития; направление историческое обнимает все».

Ту же мысль еще более определенно высказал Белинский: «Век наш — по преимуществу исторический век. Историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собой все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания; без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии».

Историческое мышление, которое принес обой XIX век, означало осознание того, события, происходящие в настоящем, от своим истоком прошлое, что они этим

прошлым течением процессов обусловлены, и потому в истории народа кроется объяснение настоящего и указание на направление движения в будущем. Вместе с тем каждый новый период представляет собой нечто новое по сравнению с предшествующим, новую и, как правило, более высокую ступень общественного прогресса. Такой взгляд, теперь для нас само собой разумеющийся, был тогда откровением. Он резко отличался от просветительского мировоззрения XVIII века, которому ход развития общества не представлялся еще единой цепью социального прогресса. В просветительской системе исторические события стояли рядом друг с другом, а не вытекали одно из другого.

Большая заслуга в развитии исторического миропонимания принадлежала плеяде французских историков периода Реставрации, так называемой романтической школе. Эти историки пытались нащупать, понять движущие силы общественных процессов и видели их в «силе обстоятельств», которая складывается из переплетения и борения интересов миллионов людей, преследующих свои частные цели, из их противоречивых индивидуальных усилий. В итоге, однако, получаются общезначимые результаты, вырисовывается некая равнодействующая, определяющая сила в этом кажущемся хаосе событий. В клубке взаимодействующих интересов французские историки усматривали борьбу не только индивидов, но и больших общественных групп, объединенных общими целями, то есть борьбу классов. Открытие классовой борьбы как движущей силы истории было выдающимся завоеванием общественной мысли того времени. Маркс и Энгельс, создавая исторический материализм, непосредственно оттачивались от идей французских историков и, как известно, прямо признавали это.

И в этой связи особый интерес и важность приобретает тот факт, что Пушкин был прекрасно осведомлен о всех течениях западной историографии и социальной мысли начиная с Вольтера, который, по его выражению, первым внес «светильник философии в темные архивы истории». Пушкин имел возможность ознакомиться в петербургской библиотеке Вольтера с такими его историческими работами, которые были неизвестны и западным авторам. Внимательно изучал Пушкин многих представителей старой школы историков: Юма, Робертсона, Гиббона, Сисмонди, Лемонте. Послед-

него он особенно ценил, восхищаясь его книгой о царствовании Людовика XIV. Одно время и Пушкин разделял предрассудки этой школы, считавшей, что законы, устанавливаемые правительством, являются первопричиной добродетелей и пороков народов, а потому все дело в том, чтобы «придумать» хорошую конституцию и убедить правительство принять ее (Сисмонди). В этих мечтах о «хорошей конституции», которыми, кстати, «болел» весь декабризм, было что-то от утопически-просветительского взгляда: выработать сначала разумную идею, а затем преобразовать общество в соответствии с ней.

Новая школа историков ставила вопрос иначе: конституции, законоположения не причина, а следствие общественных преобразований. Прежние историки выдвигали задачу изучить «природу человека», его страсти, чтобы понять природу общества, новая школа, напротив, считала, что природа определенного общества, «дух эпохи», дух времени создает и определенного человека, поэтому изучать нужно прежде всего именно общество на той или иной исторической стадии его развития, его особенности, его потребности, образ мыслей, его нравы, его психологию.

Этот поворот к новому взгляду на историю начался во Франции к концу второго десятилетия века и оформился в 20-х годах, то есть шел почти одновременно с формированием исторического мышления Пушкина.

Представителей новой школы Пушкин сразу же заметил, заинтересовался ими, следил за их публикациями. Основные идеи Вильмена, Тьерри, Гизо, Минье, Тьера, Баранта им осмысливаются почти сразу после их появления в печати. С Проспером де Барантом Пушкин познакомился в последние месяцы своей жизни лично и не раз беседовал с ним. Любопытно, что от проницательного взгляда Пушкина не ускользнуло даже то, что стимулом для поворота к новому миропониманию послужили французским историкам романы Вальтера Скотта. «Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста», — писал он в 1830 году.

Много позднее, уже после смерти нашего великого поэта, Огюстен Тьерри (отец «классовой борьбы» во французской историографии, по выражению Маркса) признал, что действительно романы Вальтера Скотта впервые натолкнули его на новые исторические идеи. Тьерри писал:

«Я глубоко восхищался этим великим писателем. Восхищение мое увеличивалось по мере того, как я сравнивал его изумительное понимание прошлого с убогой и тусклой ученостью крупнейших современных историков... С восторгом я приветствовал появление шедевра — «Айвенго». Вальтер Скотт бросил свой орлиный взгляд на тот исторический период, на который вот уже в течение трех лет были направлены все усилия моей мысли... Он поэтически изобразил одну сцену той долгой драмы, которую я старался воспроизвести с терпением историка. Все, что было правдивого в основе его произведения: общие черты эпохи... политическое положение страны, различные нравы и взаимоотношения людей, принадлежащих к разным классам, — все согласовалось с линиями плана, который складывался в то время в моем уме. Признаюсь, что посреди сомнений, сопровождающих каждую добросовестную работу, мое воодушевление и уверенность удвоились благодаря той косвенной санкции, которую получила одна из любимых моих идей со стороны того, кого я считаю величайшим из когда-либо существовавших мастеров исторической дивинации».

Я не случайно привел эту цитату: она имеет отношение и к Пушкину, который в Михайловском зачитывался Вальтером Скоттом как «пищей для души». Она позволяет понять, какое влияние и в каком направлении могли оказать романы Вальтера Скотта на историческое мышление Пушкина. Поэт работал тогда над «Онегиным» и замышлял «Бориса Годунова». В обоих произведениях изображена именно определенная историческая эпоха определенной страны, формирующая людей, их умонастроения, цели, интересы, их психологический облик.

Пушкин не раз подчеркивал, что «Борис Годунов» — трагедия «романтическая». Создание такой трагедии он считал делом новаторским, литературным подвигом, революцией в драматургии. Но что вкладывал он в понятие «романтическая»? Не имел ли он в виду при этом свою солидарность с принципами новой школы историков, которая именовала себя романтической? Во всяком случае, «романтизм» трагедии понимался поэтом как ее историзм и реализм. Он писал: «Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданных опытами, утвержденной привычкой: <ою>

старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием историч<еских> характеров и событий—словом написал трагедию истинно романтическую».

Верное изображение времени, эпохи, исторических характеров—это как раз то, чего требовали французские историки-романтики, вдохновляясь, в частности, произведениями Вальтера Скотта. Иначе говоря, Пушкин идет «вровень» с новым историческим миропониманием.

Тот факт, что в принципе идеи французских историков созвучны концепции исторического процесса, складывавшейся у Пушкина, не означал, однако, что он во всем с ними соглашался. Со многими их представлениями поэт-историк прямо или косвенно полемизирует.

Созвучна, конечно, историкам-романтикам мысль Пушкина, что «дух времени» является источником нужд и требований государственных. Пушкину безусловно импонировала также мысль Вильмена, родоначальника романтической историографии, что для того, чтобы понять великую историческую личность, нужно постичь эпоху, ее породившую, что историк в освещении минувших событий должен быть полностью беспристрастен, его задача не выбирать произвольно факты, чтобы доказать желаемое, а обрисовать возможно более объективную и полную картину происходившего, понять его причины.

Конечно, автор «Бориса Годунова» и «Истории Пугачева» согласен был и с мнением Тьерри, что субъект истории—сам народ.

Признавая человека орудием исторических обстоятельств, Пушкин, как и Барант, не снимает при этом вопроса о собственной нравственной ответственности личности за свои действия.

Французские историки, подчеркивая взаимообусловленность происходящих событий, их детерминированность, строгую логику, иногда слишком увлекались идеей фатальной предопределенности хода истории. Пушкин резонно видел в этом изъян. История, по его убеждению, вовсе не исключает случайностей, она полна ими. «Общий ход событий», их основное направление можно и должно историку «угадать», вести из него «глубокие предположения, то оправданные временем», но невозможно «предвидеть случая, мощного,

мгновенного орудия провидения». В противном случае «историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные».

За этим высказыванием у поэта-историка таятся, в сущности, глубокие размышления о взаимоотношении законов развития общества и законов природы, о том, в чем они сходны и в чем существенно различаются.

Далее. Мы не ошибемся, если предположим, что Пушкин разделял мнение Гизо о высшей ценности общественного мнения, «мнения народного» в движении истории, о просвещении народных масс как средстве решения социальных проблем, о грядущей победе идеалов справедливого и нравственного общества. Не спорил он и с тем утверждением Гизо, что во Франции из века в век имел место последовательный прогресс в развитии просвещения и свободы «сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец рассветающие века». Но можно ли под эту «формулу Гизо» подогнать и Россию? Тут Пушкин решительно против. История России, утверждает он, «требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада».

Что имел в виду Пушкин, нетрудно разгадать. О каком прогрессе свободы в истории России можно было говорить? Скорее, напротив, о «прогрессе» во все большем упрочении самодержавия, деспотизма, закабаления крестьян.

Иван Грозный покончил с многовековой вольницей торговых республик—Новгорода и Пскова. Борис Годунов отменил Юрьев день. Василий Шуйский впервые объявил себя самодержцем, Петр I—императором. По словам Пушкина, история представляет около Петра «всеобщее рабство», «все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою», «все дрожало, все безмолвно повиновалось». Наконец, Екатерина «раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции».

Вот он, «прогресс» по-русски! Можно ли его уложить в «формулу Гизо»?

К тому же, по убеждению Пушкина, в России не было феодализма в том виде, в каком он существовал, например, во Франции, где имела место независимость

феодалов от центральной власти, а «короли, собираемые вначале владельцами, были самовластны токмо в собственном участке». Общины имели привилегии. Отсюда сохранилась и в народе «стихия независимости».

Вот такого именно феодализма «у нас не было, и тем хуже», заключает поэт-историк. Он явно пытается разобраться, почему во Франции восторжествовала революция, а в России продолжало торжествовать и все укрепляться самодержавие.

Да, Россия имела и имеет собственную судьбу! Это не значит, конечно, что Пушкин отрывал Россию от хода развития европейских стран. Нет, просто он призывал не мерить ее «общим аршином».

А каково было мнение Петра Яковлевича Чаадаева о прошлом и будущем России?

Тут надо обратиться к его «Философическим письмам».

Больная, выстрадавшая в заграничных скитаниях и в ските духовного уединения мысль Чаадаева была, конечно, мыслью о бедственной судьбе России, о ее убожестве и отсталости. Это был «крик боли и упрека» (А. И. Герцен). Это было какое-то истерическое саморазоблачение, самораздавание, самоистязание национального русского чувства. То посыпание головы пеплом и раздиране одежд на себе, которым предаются при виде торжествующей смерти. Автор словно хотел, говоря словами Маркса, «заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу».

В конце опубликованного в 1836 году первого письма стояло «Некрополь», что значит «город мертвых». Автор держит суровую обвинительную речь русской истории, русскому народу, русской культуре, самому русскому человеку, его характеру.

Россия занимает огромные пространства между Востоком и Западом. Упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, она должна была соединить в себе оба великих начала духовной природы, рассуждает автор. Но, продолжает он, ничего этого не произошло. Мы, русские, пришли в мир «подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас».

Русские, по мнению Чаадаева, будто бы ничего не унаследовали от мировой культуры, не развили ничего своего на ее основе. Не дали миру ни мудрецов, ни мыслителей. «...ни одна полезная мысль не родя-

лась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь».

Чаадаеву мнилось, что Россия и истории-то как таковой не имела, ибо ее история не была прогрессом просвещения и цивилизованности. «Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности... периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства».

«Стих» разоблачения подхлестывал Чаадаева. Он распался все больше и больше, явно теряя чувство реальности: «Ожните взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятного, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».

Даже характер, даже взгляд русского человека представляется Чаадаеву неоформленным, неопределенным, неуверенным. И даже «в нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу!»

Итак, нет уже у России не только прошедшего, но и будущего. Тут, впрочем, Чаадаев одергивал себя, задумывался и делал робкие оговорки вроде того, что нас, конечно, не постигнет ни китайский застой, ни греческий упадок. Но! «...кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнятся наше предназначение?»

Если отбросить крайности и экстравагантности чаадаевского письма, то основная его мысль следующая. Россия не впитала еще в себя всего того духовного богатства, которое выработало человечество, не сделала его еще своим, оставив за

вованным, внешним. А в этом богатстве европейской культуры главное и ценнейшее достояние, по Чаадаеву, это богатство нравственное, нравственно-религиозное, воспитанное усилиями католической церкви. Все беды России в конце концов оттого произошли, что в ней господствующей стала православная, а не католическая религия. Это-то и явилось причиной того, что Россия развивалась не вместе со всей Европой, а вне ее.

Вот до чего додумался Чаадаев и вот в какую «тайну века» пытался он посвятить Пушкина!

Нетрудно представить себе, что за реакцию вызвали у поэта «философические» откровения его давнего друга. Мог ли принять их человек, все творчество, весь гений которого брал исток свой из родника духовных сил народа, питался ими постоянно, вдохновлялся любовью к истории земли русской, к недоожинности характера русского народа, его ума и таланта?!

В октябре 1836 года поэт пишет Чаадаеву письмо (но не отправляет его), где прямо высказывает свое отношение к «философическим» идеям своего друга касательно русской истории. В самом ли деле явилась бедствием для России так называемая схизма, то есть разделение церкви на католическую и православную? Да, отвечает Пушкин, действительно схизма отъединила нас от остальной Европы и Россия долго не принимала участия в ее политической и духовной жизни. Но значит ли это, что Россия не сыграла никакой выдающейся роли во всемирной истории средних веков? Значит ли это, что она ничего не дала миру? Конечно нет!

«...у нас было свое особое предназначение,— утверждает поэт в полемике с Чаадаевым.— Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

В черновом варианте письма имеется весьма важная фраза, бросающая свет на отношение Пушкина ко всей «религиоз-

ной» аргументации Чаадаева: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам. Ну и прекрасно, но не следовало этого говорить».

Убедением Чаадаева было: религия не имела у нас той силы и влияния, которое она получила на Западе, и это ужасно! Убедением Пушкина: да, это так, ну и прекрасно!

Всем своим творчеством Пушкин отвергал излюбленную мысль Чаадаева, что религиозно-нравственная идея — источник прогресса в истории. Источник его, по Пушкину, в нуждах и требованиях народных. Тут столкнулись две философии истории.

И Пушкин продолжает свой заочный диалог с Чаадаевым.

В самом ли деле юная Россия не имела того периода «бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных», который составляет «героический период» европейских народов? В самом ли деле у нас нет славного исторического прошлого? Такой вывод Пушкин отвергает категорически и страстно:

«Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и беспельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?»

Чаадаев склонен скептически оценивать даже результаты Отечественной войны 1812 года и писал о декабрьском восстании как о «громком несчастье, отбросившем нас на полвека назад». Как ответить на это в письме, которое могло попасть в руки жандармов Николая? Мы знаем, что боль Пушкина о страдавших в Сибири товарищах никогда не утихала, что «скорбный труд» их он не считал напрасным и пропавшим для будущего. Отбросило ли восстание на Сенатской площади

Россию назад, отъединило ли еще больше от остальной Европы? Пушкин отвечает предельно лаконично, ссылаясь на «будущего историка»: «...и (положа руку на сердце) разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он (историк.— Г. В.) поставит нас вне Европы?»

Чаадаев патетически восклицает в своем письме: «И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители?» Пушкин не отвечает на это прямо, но мы хорошо знаем, как он гордился именами Ломоносова, Новикова, Радищева, Карамзина...

Страстно защищая величие и значительность всего достигнутого Россией в ее политической и духовной жизни, Пушкин дает понять, что он вовсе не удовлетворен «деяниями» и политикой императора:

«Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор—я раздражен, как человек с предрассудками—я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков такой, какой нам бог ее дал».

Тут наступает кульминация всего диалога. Оговорив свое принципиальное несогласие с рядом тезисов Чаадаева, поэт полностью разделяет чувства «боли и ужаса», которыми проникнуто письмо друга: страдания за унизительное, рабское, жалкое положение народа, который призван быть великим, отвращение ко всем мерзостям русской общественной жизни, к давящему гнету царского деспотизма, омертвляющему все живое, убивающему в зародыше все талантливое. Обо всем этом Пушкин говорит удивительно смело для «подцензурного» письма: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь—грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству—поистине могут привести в отчаянье. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

Пушкинское неприятие «грустных вещей» русской общественной жизни гораздо определеннее и глубже по существу, чем чаадаевское. Чаадаев вовсе не напирал

на отсутствие в России общественного мнения, свободы слова и печати. Пушкин же именно в этом видит существенное отставание России от Запада.

Чаадаев лишь сетовал по поводу отсутствия в России крупных мыслителей и мудрецов, великих идей и идеалов. А Пушкин говорит о причине этого—о циничном презрении к человеческой мысли и достоинству. Со стороны кого? Со стороны правительства, конечно,—царя и его окружения. И иронически звучат в этом контексте слова поэта о «сердечной привязанности» к царю! Какая уж тут сердечность, если поэт, по его собственным словам, глубоко оскорблен и раздражен.

Чаадаев, наконец, считает источником всех несчастий отсутствие в России идей «долга, справедливости, права, порядка». Пушкин, отвечая ему, отбрасывает право и порядок. Чье право? Право на что? Прав у правительства хоть отбавляй. С «порядком» в николаевской России тоже все в порядке. И Пушкин опять-таки заостряет чаадаевскую мысль: пишет о равнодушии «ко всякому долгу, справедливости и истине». Говорить истину о бедах России в тогдашних условиях было невозможно.

Любопытно, что в некоторых пассажах чаадаевского письма явно чувствуется внимательный читатель пушкинских произведений. Так, Чаадаев восклицает: «Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного...»

Не списано ли все это с Евгения Онегина? Не наваяно ли его образом? Ведь это он, Онегин,—человек без «определенной сферы существования», без домашнего очага, без чего бы то ни было «прочного, постоянного». Вспомним при этом, что Онегин, в свою очередь, отчасти «списан» с самого Чаадаева и ему подобных. Круг замыкается, бумеранг возвращается.

Чаадаев, всматриваясь в художественный образ, прототипом которому послужил сам, приходит к широким теоретическим обобщениям, рисуя социально-психологический портрет целого поколения русс

людей. И передает эстафету через несколько десятилетий русской истории Федору Михайловичу Достоевскому.

Достоевский для своих рассуждений о натуре русского интеллигента отталкивается также от образа Онегина и его предтечи в пушкинском творчестве — Алеко из «Цыган». Уже в Алеко, по мысли Достоевского, Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того русского страдальца, который необходимо должен был появиться в «высшем обществе», оторванном от народа.

«Эти русские бездомные скитальцы, — развил свою мысль Достоевский в речи при открытии памятника А. С. Пушкину в 1880 году, — продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории».

Так художественные обвинения Пушкина своеобразно отразились в размышлениях Чаадаева и Достоевского.

Несмотря на всю туманность и абстрактность чаадаевской критики русской действительности, она произвела впечатление необычайное. Герцен сравнил действие ее с выстрелом, раздавшимся в темной ночи.

«Что, кажется, значит, — писал он, — дватри листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее издание, 14 декабря, виселицы, каторга, лай... Мысль томилась, работала — но

еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое *lasciate ogni speranza* (оставьте всякую надежду). Появился наконец человек с душой, переполненной горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского».

Да, «подтекстом» письма Чаадаева был протест против официальной идеи «самодержавия, православия и народности», против самодовольного, охранительного, «квасного патриотизма» (выражение пушено в ход Чаадаевым) славянофилов, который был глубоко чужд и Пушкину. Однако ничего бунтарского, мятежного в письме Чаадаева не было. Оно просто наполнено умом и талантом, интеллектуальной дерзостью. А ум, дерзость вызывали всегда у Николая безотчетный страх.

В стране, где царствовали тупость бездумного исполнительства, серая посредственность, ура-патриотические и верноподданнические идеи, где выдвигались люди «без ума, без чувств, без чести», умный человек должен был казаться белой вороной. И если он видел и сознавал дикость и безумие окружающего его мира, то и мир смотрел на него глазами Фамусова и Скалозуба — видел в нем смутьяна и сумасшедшего. Впрочем, умник, смутьян и сумасшедший в глазах фамусовых — синонимы.

Не удивительно поэтому, что Николай после опубликования в сентябре 1836 года статьи Чаадаева в журнале «Телескоп» высочайше повелел объявить его сумасшедшим.

В конце января 1837 года, как раз тогда, когда Пушкин доживал свои последние дни, Чаадаев не без сарказма описывал свое положение брату: «Статья вышла без имени, но тот же час была мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Через две недели спустя издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу, у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим... Развязки покамест не предвижу, да и, признаться, не разумею, какая тут может быть развязка? Сказать человеку «ты с ума сошел» не мудрено, но как сказать ему «ты

теперь в полном разуме)? Окончательно скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие связи рушились, что многие труды останутся неоконченными и, наконец, что земная твердость бытия моего поколеблена навеки».

Что было дальше? Чаадаева скоро освободили от досмотра врача. Он снова бывает в свете. И снова, как вспоминал Герцен, стоит молча, сложив на груди руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, выделяясь своим неподвижным мраморным ликом, — «чело, как череп голый». Серо-голубые глаза его печальны и вместе с тем таят что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбаются иронически. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе, они бог знает отчего стыдились его неподвижного лица, его язвительного снихождения.

К тому времени, когда злополучное письмо вышло из печати — а вспомним, что опубликовано оно было через несколько лет после его написания, — взгляды Чаадаева на судьбы России уже несколько изменились. На многие вещи Чаадаев стал смотреть иначе: трезвее, глубже, прозорливее. В 1836 году он говорит о «философических» идеях уже как об «отчасти проржавевших и готовых уступить место более современным, более национальным».

Почему Петр Яковлевич все же опубликовал свое письмо в том виде, в каком оно было написано в 1829 году, без существенных поправок? Остается только догадываться. Вероятно, он надеялся на дальнейшие публикации, где расставит нужные акценты.

Факт состоит в том, что к моменту публикации письма его автор уже поднялся над собственным односторонне-негативным отношением к судьбам России. И произошло это не в последнюю очередь под влиянием бесед с Пушкиным. Случилось, следовательно, так, что не Пушкин пошел за Чаадаевым, как последний на то надеялся, а сам он за Пушкиным.

Чаадаева теперь особенно ранили сыпавшиеся отовсюду упреки в отсутствии у него патриотизма, чувства любви к родине. И он в 1837 году отвечает своим оппонентам блестящей и страстной «Апологией сумасшедшего», где о любви к родине говорится словами, под которыми, думаю, подписался бы и Пушкин: «Больше чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею це-

нить высокие качества моего народа... Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы».

Читал ли Чаадаев к этому времени неотосланное письмо к нему Пушкина? Более чем вероятно. Текст письма был известен А. И. Тургеневу, Жуковскому и другим. После смерти поэта письмо находилось у Жуковского, и известно, что Чаадаев 5 июня 1837 года просил Жуковского прислать ему хотя бы копию письма. Вряд ли Жуковский ему отказал. Письмо Пушкина так или иначе нашло своего адресата уже после смерти автора. В «Апологии сумасшедшего» мы явственно ощущаем, что Чаадаев все время имеет в виду это письмо, развивая аргументацию, уточняя свои идеи, поправляя себя.

О прошлом России он теперь говорит: «...я очень далек от приписанного мне требования вычеркнуть все наши воспоминания». О будущем России: «...у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества».

Против этого Пушкину также нечего было бы возражать.

Как представлял себе будущее России поэт-историк? Каков был его социально-политический идеал?

Если для объяснения предшествующей истории России требовалась, по мысли Пушкина, «другая формула», нежели истории Западной Европы, то, очевидно, надеялся он, и ее будущая история рисуется также по «другой формуле».

через усвоение религиозно-нравственных ценностей католичества, не через гнусности буржуазной демократии и циничное торжество денежного мешка.

Буржуазный строй и буржуазную революцию для России Пушкин не принимал. Тем более не принимал он и феодальной монархии. Думается, ему грезилось нечто среднее между псковской вичевой волницей на новый лад и сен-симонистским идеалом общества, где царствует аристократия ума и талантов.

О том, что Пушкин был знаком с идеями утопического социализма еще в конце 20-х годов, свидетельствуют, в частности, следующие строки из воспоминаний Адама Мицкевича о нашем поэте: «Он любил рассуждать о высоких вопросах, религиозных и общественных, которые и не снились его соотечественникам. Очевидно, в нем происходил какой-то внутренний переворот. Как человек, как художник он, несомненно, находился в процессе изменения своего прежнего облика, или, вернее, обретения своего настоящего облика... Но к чему же он готовился?.. Что творилось в его душе? Проникалась ли она в тиши тем духом, который вдохновлял творения Манцони или Пеллико?.. А может быть, его воображение было возбуждено идеями в духе Сен-Симона или Фурье? Не знаю. В его стихотворениях и в разговорах можно было заметить следы обоих этих стремлений».

На «аристократию ума и талантов» Пушкин возлагал особые надежды, размышляя над путями дальнейшего преобразования общества. «Очевидно,— писал он в «Путешествии из Москвы в Петербург»,— что аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов?.. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда... Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она злободна, как должен быть свободен человек...»

Любопытно, что идеи эти отразились в реализованном замысле пьесы «Сцены из царских времен». В ней поэт рассчитывал изобразить успешное восстание народа

против феодалов. Причем успех восстания обеспечивает то, что во главе народа становятся поэт и изобретатель. Монах Бертольд изобретает порох, против которого не могут устоять стены рыцарских замков. В конце пьесы должен был появиться Фауст в качестве изобретателя книгопечатания. Весь план пьесы кончается словами: «Книгопечатание — та же артиллерия».

Как удалось выяснить в свое время Б. В. Томашевскому, слова эти заимствованы Пушкиным из мемуаров Ривароля, публициста времен Французской революции. Автор развивал мысль, что печать — одна из причин революции: «Почти всем обязаны свобода печати. Философы научили народ смеяться над духовенством, и духовенство было уже не в состоянии внушать уважение к королям: явный источник ослабления власти. Книгопечатание есть артиллерия мысли».

В самом деле, если невозможно создать армию слушателей, то возможно создать армию читателей.

Никакая власть не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда! Мог ли представить себе Пушкин, когда писал эти строки, предстоящую роль «типографического снаряда» в штурме Зимнего дворца, в социальном переустройстве России? Думалось ли ему, какую роль сыграет русская художественная литература, публицистика, литературная критика, наконец политическая печать в пробуждении революционного самосознания народа в ближайшие десятилетия русской истории?

«Ум человеческий не пророк, а угадчик», — ответил на эти и подобные вопросы как-то сам поэт.

Сохранилась чрезвычайно любопытная запись Пушкина по-французски, относящаяся, видимо, к последним годам его жизни. Вот она:

«Освобождение Европы придет из России, так как только там не существует вовсе предрассудок аристократии. В других местах верят в аристократию: одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие и т. п. В России ничего подобного. В нее не верят, вот и все».

Запись найдена между страниц книги Генриха Гейне «Путевые картины». На этих страницах немецкий поэт рассуждает как раз о России. Резко изобличая реакционную политику Англии, Гейне ирони-

чески заключает, что в сравнении с ней даже международная политика Николая I выглядит революционной, а сам он чуть ли не знаменосцем свободы. Гейне имеет в виду русско-турецкие войны, которые способствовали освобождению Греции от турецкого ига.

Далее, продолжая рассуждать в ироническом тоне, Гейне обосновывает парадоксальный вывод, что и с точки зрения перспектив внутреннего развития крепостная Россия более свободное государство, чем буржуазно-демократическая Англия. «...вся Англия застыла в своих, не поддающихся омоложению, средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертного боя».

Гейне противопоставляет этому ситуацию в России, где свобода якобы развивается «на основе принципов» и где потомственная аристократия не имеет веса. Вот это место, без сомнения, и привлекло пристальное внимание Пушкина, результатом чего и явилась приведенная выше его запись: «Освобождение Европы придет из России...»

Пушкин, как всегда, предельно лаконичен, а здесь даже и загадочен. Запись нуждается в осмыслении и расшифровке, в реконструкции отсутствующих логических ходов. Что он имеет в виду, говоря об отсутствии в России предрассудка аристократии и связывая его с освобождением Европы из России? О каком освобождении идет речь? Освобождении от чего?

Мы видели, какое значение для судеб России Пушкин придавал тому обстоятельству, что в ней потомственное дворянство — аристократия — не имеет силы и влияния на управление страной. Он рассматривал это как факт крайне отрицательный для освобождения России. Теперь же именно на этом факте он строит самые радужные прогнозы. Переменила ли он в корне мнение? Или он рассматривает проблему теперь в ином свете?

Он мог рассуждать примерно так.

В Англии потомственная аристократия, по существу, правит страной, восседая в палате лордов. Знатные фамилии во Франции, Италии и Испании также все еще имеют большой политический вес. Поэтому имеет силу и принцип конституционной монархии в этих странах. Поэтому во Франции, скажем, вновь воцарилась Бурбонь. Аристократия не только ограничивает самодержавие, но и дает монархизму

опору, прочность, является его фундаментом. Аристократия там испокон веков в почете, в силе, она у власти, ей поклоняются или ее ненавидят. Но так или иначе без нее не мыслится и сам институт монархизма.

«В России ничего подобного». Наемные сановники, которым сегодня доверяется власть, завтра бесследно исчезают и сменяются другими, которых никто не знал. Они сами по себе не представляют никакой силы, на них нет ореола законной власти, нет наследственного права распоряжаться судьбами страны. Они фавориты и временщики, «калифы на час». Сегодня над страной тиранствует конюх императрицы Анны Иоанновны Бирон, завтра фаворит Анны Леопольдовны Миних... При Александре I ужас на страну долгое время наводит Аракчеев, при Николае I — Бенкендорф...

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.

Вспомним также и такие слова поэта: «Деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость». Подавляется оппозиция легальная, законная, открыто влияющая на общественное мнение. Верно. Но это не значит, что она устраняется вообще, она лишь загоняется в подполье и становится значительно более опасной для существующего режима, чем оппозиция открыто действующая. Одна из любимых, часто повторяемых мыслей Пушкина была та, что отсутствие в России легальной оппозиции, возможности открыто выражать общественное мнение привело к возникновению сети тайных обществ и к трагедии 14 декабря.

Николаевская же Россия в отношении свободы слова и свободы печати по сравнению с александровской что темная, удушливая ночь после сумерек. А следствием этого должно было быть неминуемое нарастание скрытого протеста, скопление взрывной энергии, не находящей естественного выхода. Значит, рано или поздно неминуемы бунт, мятеж, революция. И если осуществляются идеалы декабристов и установится в той или иной форме дворянское правление, то продержится ли оно долго в России? Нет! Потому что в аристократию в России не верят, потому что она в России никогда у власти не была и править не умеет. Потому что она не о дает достаточным авторитетом для ?

Значит, следует неизбежный вывод: Россия быстрее избавится от реликтов и пережитков монархизма и аристократизма в политической жизни, чем страны Западной Европы. Великие перемены в ней будут более радикальны и глубоки, она быстрее и дальше сможет продвинуться по пути прогресса, чем западные державы, ревниво охраняющие лоскутья политического прошлого.

Не отсюда ли и вывод: «Освобождение Европы придет из России?»

Учитывая также то известное Пушкину обстоятельство, что Россия в отличие от передовых стран Западной Европы не знала в то время и деспотии денежного мешка и финансовой плутократии, то и тут, казалось, есть у нашей страны преимущество в расчетах на будущее.

Так или примерно так можно реконструировать «задним числом» ход размышлений поэта, конспективно (конспиративно?) скупо переданных в приведенной записи. Конечно, это лишь одна из возможных расшифровок, приблизительно-вероятностно отражающая подлинные размышления Пушкина о будущем родной страны.

Однако если собрать и постараться свети в единую систему разрозненные высказывания Пушкина о России, какой бы он ее хотел видеть в будущем, то картина приобретает более определенные очертания.

Прежде всего будущая Россия для Пушкина — это:

Русь свободная, избавленная от рабства, крепостничества, угнетения.

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Русь просвещенная. Как мы знаем, Пушкин вкладывал в это понятие многостороннее содержание: образованность народа, улучшение системы воспитания, свободу печати и проявления общественного мнения, торжество разума и справедливости во всех формах общественного и государственного устройства. Разум, мудрость народная будут править государством, а не вельможная и чиновная спесь и чисть. Аристократия ума и талантов мет наконец надлежащее место в обществе. Просвещение коснется всех народов и народностей многонациональной страны и

выведет их из того состояния, в котором пребывали «и финн, и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык»;

Русь гуманная, где осуществляются задушевные мечты Пушкина о самодовлеющем значении человеческой личности, о ее достоинстве, самоценности, неприкосновенности, независимости, где никто «для власти, для ливреи» не будет гнуть «ни совести, ни помыслов, ни шеи», где «самостоянье человека залог величия его»;

Русь могучая, победоносная,

Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж; все стоит она..

Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!

Следовательно:

Русь великая. Не плетущаяся в хвосте у других держав, не действующая по их указке, а указывающая им своим примером путь социального и духовного прогресса.

В далекой перспективе:

Русь в условиях «вечной свободы» и «вечного мира».

Еще в 1821 году во время пребывания в Кишиневе Пушкин горячо исповедовал идею вечного мира. Так, Екатерина Орлова писала тогда брату о Пушкине: он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, что тогда не будет проливаться иной крови, кроме крови тех, кто пожелает войны.

В бумагах Пушкина имеется и его собственная запись на этот счет:

«1. Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п..»

2. Так как конституции,—которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным,—необходимо стремиться к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее чем через 100 лет не будет уже постоянной армии».

Понятно, что Пушкин тут, следуя за французскими просветителями (аббатом Сен-Пьером и Руссо), исходит из абстрактного принципа разумности и неразумности социальных явлений. Раз рабство, королев-

ская власть, войны неразумны, с ними будет покончено. Как только людям станет ясна «смешная жестокость войны», воцарится вечный мир. Руссо понимал, однако, что воцарению вечного мира будут препятствовать «частные интересы» и что его можно будет ввести в жизнь «только силой», «средствами ужасными и жестокими». И потому этот «прекрасный план» неосуществим.

Пушкин явно не согласен с этим последним выводом, и, по смыслу полемики с Руссо, его вовсе не пугает мысль об «ужасных средствах», то есть революции. По поводу же тех воинственных деятелей, которые в мире не заинтересованы, Пушкин пишет категорически:

«3. Что касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого останется гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыслами победоносного генерала: у людей довольно других забот, и только ради этого они поставили себя под защиту законов».

Речь идет, по существу, о законах, кающих за проповедь войны.

Мысли эти явно перекликаются со строками из стихотворения «Наполеон»: «...и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал».

Наконец:

Русь в братской семье народов.

Пушкин, как и Адам Мицкевич, с которым он в конце 20-х годов делился «чистыми мечтами», думал

...о временах грядущих,

Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся.

Мы видим, следовательно, что Пушкин и в шедврах своей поэзии, и в своих высоких мыслях и идеалах не принадлежит только XIX веку, он подлинно «русский человек в своем развитии», он прорастает живым побегом мысли через столетия и является к нам нашим современником и собеседником. Так же как явится, думаю, и поколениям грядущим.

Великие произведения искусства, как и великие мысли, бессмертны и сквозьвременны. Они рождаются, чтобы стать вечными спутниками человечества.

Великие личности становятся современниками и собеседниками грядущих поколений потому, что полно воплощают все то прекрасное, доброе и истинное в народе, чему предстоит развиваться и крепнуть.

Удивительно сказал один крестьянин в конце прошлого века, размышляя о Пушкине: «В нем все вместе как-то есть, русская жизнь, добро и красота».

Было бы, конечно, неверно думать, что Пушкин во всем перетянул Чаадаева на сторону своих убеждений. Петр Яковлевич во многом остался на прежних позициях и после смерти поэта, он продолжал свои религиозно-нравственные искания, уповал на сошествие «царства божия» на землю российскую. Но в одном отношении в Чаадаеве произошел заметный сдвиг: он стал более оптимистично смотреть на будущее России, он верил теперь в ее великое предназначение.

Вся «Апология сумасшедшего» написана словно как исповедь перед погибшим поэтом, словно как запоздалое признание в его правоте. Учитель поэта почувствовал потребность признать победу над собой своего ученика. Такое, как мы знаем, не раз случалось при жизни Пушкина. Теперь произошло и посмертно.

И самое любопытное: одна из причин, по которой Чаадаев стал более уверенно смотреть на судьбы России, в том, что ведь это она, Россия, подарила миру Пушкина.

«...может быть,— роняет Чаадаев тоном извиняющегося,— преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Многолетний диалог двух умнейших людей России о предназначении и судьбах их родины заканчивается этим признанием как последним аккордом.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Кораллов. Сын Грузии.— Юлия Канз. От имени ровесников.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Дмитрий Биленкин. Слагаемые творчества.— Вячеслав Мотяшов. К гармонии разума и природы.

Литература и искусство

СЫН ГРУЗИИ

Чабуа Амирэджиби. Дата Туташхиа. Роман (журнальный вариант). Перевел с грузинского автор. «Дружба народов», 1976, №№ 11, 12; 1977, №№ 3, 4.

„Для меня несомненно, что во все времена общество предоставляло попроще орлу, стервятнику и птахе безгрешной, и жизненный путь каждого был пролагался согласно его нравственным склонностям...» — так начинает свои записки престарелый граф Сегеди, некогда глава жандармерии Закавказья (по слухам, граф имел заслуги перед революцией и новая власть простила ему прошлое). В центре записок судьба отважного Даты Туташхиа, вступившего в единоборство с ревностными стражами самодержавных порядков и в особенности с «Македонским от жандармерии» — Мупши Зарандиа, братом своим, служившим под началом графа.

После смерти мемуариста незавершенные, разрозненные его записки попадают в руки повествователя — таково авторское предварительное условие, вводящее нас в сюжет. Полученные свидетельства повествователь дополняет собственными разысканиями. В итоге перед нами многоплановый роман, все «планы» которого сходятся к судьбе Даты Туташхиа.

Первая книга романа появилась в тбилисском журнале «Цискари» (1972, №№ 2—7), грузинская критика признала его выдающимся явлением прозы последних лет. Выход второй книги укрепил это мнение.

Оригинал и русский перевод «Даты Туташхиа» вызвали уже немало откликов, в том числе и на русском языке (Нафи Джугва в «Литературной газете», Э. Елигула-

швили в «Литературном обозрении», Д. Гвинджилия и затем А. Бакрадзе в «Дружбе народов», Б. Хотимского в брошюре «Рыцари справедливости»), это обязывает сегодня продолжать разговор, а не открывать тему заново.

Нафи Джусойты прав: обаяние «Даты Туташхиа» прежде всего в нравственных исканиях героя, в истинно рыцарском складе его характера, в решимости, с которой он отстаивает свое человеческое достоинство. «Ему легче расстаться с жизнью, чем уронить честь».

Долог, мучителен нравственный поиск Даты, но так и не найти ему ответа на проклятые вопросы: как жить, не покаяясь и не способствуя злу? как совершать добро, которое влекло бы добрые следствия, а не новое зло? Проблема, конечно же, социально-историческая, а Дата пытается решать ее на основе лишь этических посылок; до историзма и социальной мысли героя не дорос, и писатель не навязывает ему своего мировоззрения... На каждом шагу герой оказывается вовлечен в острые коллизии и драматические конфликты. Дата проходит круги все новых и новых испытаний: в кубанской станице Баракаевке, где абрагу пришлось скрываться, а напарнику его Дигве Зауа окриветь по вине Даты, навлекшего много напастей очередной попыткой сделать ближним добро; и на окраине Поти, в логове ростовщика Кажи Булавы, лютого в

своей алчности; и в усадьбе Сетуры, который рабам своим приказывал почитать его как господу бога; и в больнице, где Чониа, самый голодный и жадный среди доходяг, немногим лучше яростной крысы в бочке, поедаящей всех остальных; и в духане Дуру Дзигуа, где из-за доброты и рыцарства Даты крови пролилось не меньше, чем вина...

Попадая в сотый раз в западню и в сто первый вырываясь из нее, Дата видит жизнь крестьян и монахов, ростовщиков и духанщиков, адвокатов и журналистов, кузнецов и мельников, пастухов и тюремщиков, воров и секретных агентов — он видит Грузию. И он вглядывается в нее так же пристально, как Грузия — в легендарного абрага.

В меру своей осведомленности очевидцы повествуют лишь о том Дате, с которым судьба невзначай их сталкивала, однако из штрихов и деталей складывается целостный образ. Перед нами нечто большее, иное, чем «простодушный», «патриархальный» в своем благородстве крестьянин-разбойник. Критику и читателю, отправившимся вслед за автором, предстоит понять Дату в его целостности и многозначности — как героя, запечатлевшего в себе грани народного облика и черты времени. Позднее оно будет названо «эпохой войн и революций» и заставит не только одиночек, но и народы сделать свой политический выбор. Именно накал времени, его прямое обращение к гражданской совести заставят Дату Туташкиа вязаться в схватку демонстрантов с черносотенцами у Александровского сада в Тбилиси, когда на Грузию нахлынут волны пятого года; поднять восстание в Ортачальской тюрьме, держась заодно с комитетчиками, социал-демократами; принять завещание Класиона Квимсадзе: жизнь достойного человека в том, чтобы гореть, как лучина, как свеча, как костер, как солнце, — смотря какую долю пошлет судьба, гореть так, чтобы других тоже зажечь, тогда и после ухода твоего не бывать тьме.

Бесспорно, Дата Туташкиа — конкретный персонаж, личность, но одновременно и легенда. Не оттого ли Дзоба, сын убитого духанщика Дзигуа, годами копивший ненависть против абрага, не стреляет в него, а выпускает две пули в воздух: «Такого человека убивать нельзя!» Дата — народно-национальный, если угодно, общечеловеческий символ. Поэтому стали действительно

ключевыми эпиграфы к частям и главам романа: «И было человеку дано: Совесть. Дабы он сам изобличал недостатки свои; Сила, дабы он мог преодолевать их... Друг, дабы познавал он меру своего добра и жертвенности во имя ближнего; Отчизна, дабы было ему чему служить и за что сложить голову свою...»

С широтой образа Даты связана историческая масштабность повествования.

Чабуа Амиразджиби привлекло к себе время, когда все решительней проявляли себя в общенациональном масштабе новые общественные силы, тот процесс ломки монархии, вехой которого стал 1905 год, обозначивший, по Ленину, начало конца «восточной» неподвижности, время заката империи. Лишь разобравшись в том, что привлекло романиста к этим рубежам, можно увидеть, где пролегают границы его художественного мира, простирающегося в историческую глубину, в нравственную высоту и в современную ширь.

Широк размах, с каким автор воссоздает в романе действительность. Закономерно, в силу внутренней необходимости сменяют друг друга религиозные споры и жандармские допросы, экскурсии в прошлое и раздумья о будущем, побег и преследования, пиры и голодовки, провокации и расправы, подкупы и убийства... Жизнь не только видна — она слышна здесь, и не будь этой «слышимости» и звучности народного языка, а главное, его насыщенности, не были бы столь зримы в романе время и люди (один лишь пример: «...дьявол и сужин сын, — честит Дастуридзе Шалабашвили. — Когда в Хони блоху свежесвали и шкуру в Куру выбросили, прибило ее в Гори, так горийцы сказали, что больно много мяса на шкуре осталось. Один из этих горийцев Шалабашвили дедом приходится. Броцой его звали»).

На первых порах критики настойчиво обсуждали, к какой жанровой разновидности отнести роман, столь резко нарушающий привычные стандарты. Кому не понятна эта потребность вводить новое явление в старые рубрики, тем самым подчиняя еще неизвестное знакомому. И все же теперь кажется попросту странным, что критика поначалу готова была признать роман «плутовским», «детективным», что недооценивала в нем напряженность социально-философских раздумий. О «человеке и его назначении», о «гражданине и его дарстве» пишет свои трактаты Сандро!

ридзе — вольный мыслитель, ушедший в монастырь решать проблемы морального прогресса и нравственной революции. Не авантюры ради, не пострадать и потерпеть, а чтобы воскресла у Даты вера в народ и человека, советует другу пройти испытание тюрьмой Гоги Цуладзе.

«— Тогда я лучше пойду на базар, на базаре народу всегда много...

— Базар разъединяет людей, а место, куда ты идешь, объединяет даже вчерашних врагов».

Критика вправе была сблизать Дату Туташкиа с Вильгельмом Теллем и Робинном Гудом, с Дубровским и разбойником Како у Ильи Чавчавадзе. Как ни различны эти герои, их объединяет с Датой Туташкиа черта, в которой суть образа: «Я не одинокий волк, думающий только о добыче, и не мирный бык, живущий для того, чтобы щипать траву. Я сын своего народа».

Здесь стоит, пожалуй, остановиться на мысли Нафи Джусойты, логически четко и психологически чутко наметившего «круги испытаний», но заключившего перечень их сожалением, что гибель Даты помешала увидеть его на новой ступени духовного возвышения. По мнению критика, не стоило романисту убивать абрага преждевременно, надо было провести героя через новые круги.

Если упрек вызван прекрасным чувством жалости к полюбившемуся герою, то к чему возражения? Но, думается, возражения необходимы, так как, вычерчивая схему и предлагая собственную концовку, Нафи Джусойты допускает возможность иного, нетрагедийного исхода судьбы героя.

Признаюсь, вариант Чабуа Амирэджиби представляется более убедительным. Ведь абраг не грабитель, не вор, который бывает и удачливым. Дело абрага — защита справедливости, как только на нее покушаются. Жизнь абрага коротка, участь же — либо пуля преследователя, либо яд предателя... А главное — велики ли шансы на счастливый конец у героев и бунтарей от Прометея и Ахилла до Дон Кихота, Карла Моора, Овода?..

Масштабность «Даты Туташкиа» достигнута тем, что эпическое полотно, грузинское до последней нити, впитало в себя цвета и оттенки не одной лишь грузинской, шире — современной истории. Иначе не объяснить, почему роман вызвал столь высокой резонанс: по-польски первые главы напечатаны, на венгерский, швед-

ский, финский, французский и другие языки роман переводится...

Современен и всемирно значителен прежде всего опыт российской истории, осмысленный в романе о грузинском абраге. Перешагивает через пространственно-временные рубежи и политико-социальный, этический главным образом, спор между абрагом и «Македонским от жандармерии», упорно идущим по его следу.

Они похожи друг на друга, как только могут быть похожи братья. Они вместе росли, но дороги их разошлись. Дата — воитель свободы, оплачивающий ее самой высокой ценой, Зарандиа — охранитель, поставивший на службу престолу незаурядный ум, пронизательность, волю. Дата прежде всего человек горячего сердца и обостренного чувства справедливости; даже отчаявшись в возможности отстоять ее, он все-таки продолжает действовать. Зарандиа — стратег, подчиняющий свои поступки холодному рассудку и ни разу не усомнившийся в точности своих расчетов. Первый, абраг, погибает. Второй, жандарм, достигает вершин власти: орденов, именных наград, близости к трону. Размышляя о путях истории и своем месте в жизни, Мушни Зарандиа пришел к выводу, что в пору социальных потрясений ему, Мушни, надо принять сторону порядка. Накануне почетного назначения, открывшего простор для деятельности, Зарандиа убеждал отца — и себя попутно! — что служит престолу, поскольку не видит для России другого выбора, чем существование под властью монарха; если революционеры найдут путь, который должен привести к лучшему будущему, «и я в этот путь поверю, никто раньше меня не станет на их сторону».

Старый учитель Магали, отец Мушни Зарандиа, судил трезвее: многие взбирались на гору с ношей добрых намерений, а дойдя до высоты, сбрасывали резавший плечи мешок — удержаться бы!

Последняя «победа» Мушни — убийство брата. Вероломное убийство, совершенное руками юноши, не подозревавшего, что Дата Туташкиа — отец его.

Шаг за шагом испытывая своих главных героев, романист проверяет на прочность принципы, которыми герои руководствуются. Испытывает силу противоборствующих идей. И результат испытаний очевиден: бесплодны «концепции», расходящиеся с логикой истории.

Семена, брошенные в землю такими

людьми, как Дата, совершают свой вечный круговорот и дают плоды, когда самые имена их стираются в людской памяти... — так говорит о старом абраге исполненная доброты и победившая страх Нано Таквелишвили. Расплавленный воск догоревшей свечи и сам по себе прекрасен, соглашается с Нано собеседник, но проступает в нем и та красота, что разгоняла мрак... Эти раздумья героев о старом абраге входят в контекст нынешних этических исканий литературы и общества. В них отчетливая традиция нашей историко-революционной прозы.

Чтобы создать «Дату Туташкиа», Ч. Амirezджиби пришлось долгие годы гесать камень и выкладывать фундамент, шлифовать детали замысла. Верно заметил грузинский критик Гурам Асатиани: чтобы поднять столь широкие социальные пласты и собрать, привести в движение столько людей, романисту необходимо было не просто умение всматриваться в их жизнь, а дар духовного общения с ними, щедрость души». Щедрость души и опыт были обязательны, чтобы создать образ Даты Ту-

ташкиа — умудренного абрага, прошедшего как по лезвию не один круг и знающего, что «человек в бегах должен ходить так, чтобы дорогу или тропинку сверху видеть».

Как умудренный абраг, настоящий писатель должен своих героев тоже «сверху видеть». Исследуя предоктябрьскую эпоху, Ч. Амirezджиби видит необходимость Добра и закономерность Возмущения не в бессиловой и пагубной, не в бессмысленно-бесплощадной их раздельности, а в плодотворном единстве. Именно в единстве этих начал идеяная суть, ствол романа, причудливо переплетенные корни которого ведут в «лореформенную, но гороволюционную эпоху».

Чабуа Амirezджиби век свой и землю, народ свой «сверху видит» — в целостности прошлого и настоящего, социального и нравственного. Видит Дату как личность. Как добродетельного разбойника, сына Грузии, неистребимо живучего сына человеческого.

М. КОРАЛЛОВ.



ОТ ИМЕНИ РОВЕСНИКОВ

Алена Василевич. Одно мгновенье. Рассказы. Авторизованный перевод с белорусского Т. Смолянской и Г. Ашаниной. М. «Советский писатель». 1977. 422 стр.

В «Одном мгновенье» собраны лучшие рассказы писательницы, созданные ею за двадцать пять лет литературного труда. Надо сказать, рассказы эти отчетливо расслаиваются по времени написания: легко узнается написанное в 50-е годы, заметно и разительно отличаются вещи следующего десятилетия, нетрудно разглядеть некое единство в рассказах, написанных в 70-х.

Алена Василевич принадлежит к поколению, чья юность была опалена войной. Она не воевала с оружием в руках, но война не обошла ее ни тяжелым трудом, ни холодом и голодом, ни потерями. Оренбургский колхоз, военный госпиталь, запасной стрелковый полк — вот где проходила военные университеты молоденькая выпускница учительского института из небольшого белорусского города Рогачева. И война — память о ней, ее близкие и дальние последствия и отголоски — естественно и надолго вошла в творчество писательницы.

В 50-х годах, когда раны войны были совсем свежими, когда матери еще ждали своих не вернувшихся с фронта сыновей, вдовы — мужей, девушки — любимых, когда вокруг было столько несложившихся, поломанных войной судеб, столько ею созданных удивительных драматических ситуаций, чаще нестерпимо печальных, но порой и радостных (безнадежные поиски, нечаянные встречи, узнавания), главным импульсом, побуждавшим А. Василевич писать, было, как мне кажется, желание «выговорить» боль, посочувствовать и пожалеть, утешить надеждой. Рассказы этих лет в основном рассказы-истории, рассказы-случаи. Их мысль: вот что принесла война, вот как бывает.

В рассказе «Через много лет» солдат, мальчишкой потерявший всех близких и считавший себя сиротой, случайно находит родственников. В маленькой повести «После войны» (обратите внимание на названия) описании довоенной и военной жизни

роини много реальных, правдивых деталей и черточек, взятых писательницей из своего опыта. А послевоенная часть — встреча с любимым, считавшимся погибшим, пусть искалеченным, пусть без руки, без ноги, но живым, — это уже мечта, отчаянная, горькая, неутолимая... И реальности, правдоподобия в передаче этого события маловато.

Критиков, видимо, обезоруживала искренность, доброта отношения к людям, изначально присущие А. Василевич, и они прощали ей избыток пересказочности, многословия, излишние комментарии, налет сентиментальности, портившие первые произведения. Впрочем, в те годы так писала не одна Василевич.

60-е годы стали для А. Василевич временем творческого утверждения, обретения собственного голоса. Писательница смелее обращается к личному опыту прожитого и пережитого. Большинство написанных ею в эти годы произведений посвящено осмыслению жизненной судьбы ее ровесников, ее поколения. Такова в значительной мере автобиографическая тетралогия «Подожди, задержись» — цикл повестей о судьбе деревенской сироты Ганьки. Таковы и рассказы «Та первая зима», «Рахмат», «Третья палата», «Пицарь строевой части», «Холодная гора». В них впечатления и переживания военных лет отобраны и как бы просветлены временем, свежесть давнего, юношеского восприятия жизни гармонично сосуществует со зрелостью сегодняшнего ее понимания.

В рассказах 60-х годов писательница уже не ищет благополучных концовок и вообще не стремится «округлять» жизненные впечатления и факты, придавать им форму законченных историй с началом и концом. Силы и желание жить ее герои ищут теперь в преодолении горя, в поисках участия в общем деле, в стремлении к осмысленности и наполненности жизни.

В произведениях 60-х годов появилась и утвердилась одна характерная особенность стиля Алены Василевич — негромкий, теплый, грустноватый юмор, часто направленный на себя, на главную героиню.

А. Василевич относится к тем немногим писателям, которые умеют почти поровну делить себя между городом и деревней. Городские рассказы более одухотворены, выданы подтекстом. Деревенские прочтены «копируются о землю», сочнее, более ясны жизненной конкретикой. Но есть

у писательницы один рассказ, который объединяет в себе достоинства тех и других и поэтому может быть назван одним из лучших, если не лучшим ее рассказом. Это «Зимняя дорога» — повествование о печальном вечере человеческого бытия, освещенном нестихающей, как боль, памятью любви. Рассказ начинается и кончается сном старого Ивана. Сон этот — очень емкий образ, почти символ. В нем есть то редкое органическое слияние реального с нереальным, духовного с материальным, которым бывает порой отмечены подлинные творения искусства. В сне сказались и непрерывные, мучительные думы Ивана об умершей жене Ольге, и его удивительная в своей полноте и неиссякаемости любовь к ней, и память о ее всегдашней заботливости, и тоскливое Иваново ожидание поездки на зиму в город к сыну, и предчувствие скорого уже заката его собственной жизни. Сон как бы окольцовывает рассказ и бросает на него какой-то особенный отсвет, побуждающий думать о безмерной сложности человеческой жизни и о самой большой ее ценности — душевной связи и близости человека с человеком.

В русских переводах бережно и с большим чувством меры передано ощущение белорусской речи и сохранено то впечатление зыбкости душевных состояний, которое вообще трудно воспроизвести и тем более трудно сохранить при переводе на другой язык.

Остается еще сказать, что сборник «Одно мгновенье» — третья книга писательницы, изданная в Москве. На белорусском языке у нее вышло более полутора десятков книг. В 1976 году Алена Василевич стала лауреатом Государственной премии Белоруссии имени Якуба Коласа.

В одном из рассказов Алены Василевич сказаны горькие слова о том, что война ограбила поколение ее ровесниц — не вернулись любимые, не сбылись юношеские мечты. Не сбылись мечты юности, но сбылась построенная своим трудом жизнь. И война не только ограбила, но и одарила ее поколение стойкостью, упорством, сочувствием и интересом к людям, умением отличать истинные ценности от подложных, умением добывать радость в жизни и искусстве.

ЮЛИЯ КАНЭ.

Минск.

Политика и наука

СЛАГАЕМЫЕ ТВОРЧЕСТВА

Возраст познания. («Эврика») М. «Молодая гвардия». 1977. 191 стр.

Обращаясь к молодежи с чем-то вроде напутствия, старшие, естественно, говорят о своем, выношенном, наиболее, с их точки зрения, важном. И чем доверительней тон, тем глубже, помимо прочего, раскрывается и сам предмет размышлений. Таков сборник «Возраст познания», в котором выступают виднейшие наши ученые — академики П. Александров, Н. Амосов, И. Артоболевский, А. Берг, Г. Будкер, Б. Кедров, М. Келдыш, Д. Лихачев, А. Окладников, Б. Понтекорво, А. Спириин, Р. Хохлов.

Чтение сборника открывает взгляду тот переломный рубеж, к которому сейчас близится вся ранее устойчивая система поиска, накопления и передачи научного знания. «Прогнозисты подсчитали, — говорит И. Артоболевский, — что молодой специалист или молодой рабочий, который сегодня приходит на производство, раз в десять лет должен почти полностью обновить свои знания». Прежде такого не было; перед нами новое, затрагивающее миллионы людей явление. «А сегодня, — замечает ректор МГУ Р. Хохлов, — мы учимся в принципе так же, как и тысячу лет назад».

И. Артоболевского и Р. Хохлова, увы, более нет среди нас, но мысль этих ученых продолжает трудиться и жить. Отмеченное ими противоречие все сильнее тормозит движение жизни. Снятие его, однако, сопряжено не только с организационными и методическими решениями, на необходимость которых ясно указал XXV съезд КПСС, но и с преодолением определенной психологической инерции. «Тот факт, — писал Р. Хохлов, — что возможности восприятия знаний имеют предел, приводит к довольно простой аксиоме — за данное время студент не может воспринять более информации, чем он может воспринять». Однако «необходимость расширить программу... мы воспринимаем легко и естественно, а вот явную, объективную необходимость сокращения — значительно хуже».

За этим стоит сложный и любопытный психологический феномен. Смысл понятий «максимум» и «оптимум», казалось бы, предельно ясен и понятен любому разум-

ному человеку. Но как часто, с каким упорством наилучшему, оптимальному мы предпочитаем наибольшее, максимальное! На бытовом уровне, когда, казалось бы, просвещенная мать закармливает ребенка. На небытовом, когда иные педагоги во что бы то ни стало стремятся дать ученикам не оптимум, а максимум знаний. И отстаивают эту свою позицию с завидной изощренностью, смысл которой, однако, вполне укладывается в известную поговорку «кашу маслом не испортишь». Будто законы восприятия, законы высшей нервной деятельности — ничто! Много, очень много упирается в психологию.

Размышляя о путях реформы учебных программ, Р. Хохлов выдвигал такую формулу: «максимум общих фундаментальных знаний за счет сокращения конкретных знаний», уточняя при этом, что «фундаментальные знания — это знания не расчётчика, а теоретика, не клерка от науки, а мыслителя, творца». Новая стратегия уже апробована в ряде вузов. Эффект получился любопытный. Вначале на экспериментаторов обрушился град упреков. «Что это за специалист? — возмущались руководителями институтов, куда попали вчерашние студенты. — Чему их учили? Им неизвестно то, что знают наши лаборанты!» Вскоре, однако, эмоции переменялись. «Чему вы их учили?! Ваших специалистов, оказывается, не нужно обучать даже тому, чего они не знают. Им известно то, что еще незнакомо нашим научным консультантам!»

Однако представленные в сборнике ученые ведут речь о чем-то гораздо большем, чем только подготовка лучших специалистов. Наука ведь тоже близится к переломному рубежу. Вот что сказал об этом И. Артоболевский: «Бурно растет численность ученых. Стремительно растут и затраты на науку, причем темпы их роста в большинстве промышленно развитых стран превышают темпы роста национального дохода. Совершенно естественно, что такой «золотой дождь» не может постоянно орошать научную ниву. И в то же время совершенно бесспорно и то, что настоящее современное общество не может жить

науки, а точнее, без ее ускоренного развития. Как же разрешить это противоречие? Выход, на мой взгляд, только один — резко увеличивать эффективность научных исследований».

Проблема действительно ясна, очевидны и пути ее решения. Это и лучшее планирование научных изысканий, и оснащение лабораторий техникой, берущей на себя ряд чисто механических функций умственного труда, и оптимальная организация работы, и повсеместное создание творческого климата. Все это, однако, не только теснейшим образом связано, а просто немыслимо без резкого увеличения творческого потенциала как в самой науке, так и в самых различных сферах жизни общества.

Становлению творческой личности, ее сущности и реализации участники разговора уделяют особое внимание. «Талант,— считает А. Берг,— на девяносто процентов создается трудом. Трудом накопления информации и трудом осмысливания ее. Трудом использования этого накопления в новой, неизведанной области. И пока эта работа не завершена, распознать свой талант, по-моему, нельзя. Иное дело — гениальность. Гений — необычайное дарование, выдающаяся способность — говорит о себе сам... Напротив, талант не является следствием исключительного дарования. Он может и должен быть сформирован».

Анализу черт и свойств творческой личности сейчас посвящено много специальных работ, круг которых быстро ширится. Р. Хохлов как бы сделал выжимку из этих работ, добавив сюда и свои личные выводы. Получился внушительный список. Творческий человек, выходит, должен обладать увлеченностью, хорошей памятью, умением сосредоточиться, уйти в себя, способностью четко и логично формулировать свои мысли, задачи, предположения, выводы. А также ему надо уметь просто думать о сложных вещах, интенсивно генерировать идеи, критически оценивать результаты исследований, в особенности свои. Еще он должен обладать творческой раскованностью, способностью мыслить без предрассудков, умением по отрывочным данным строить общую картину. Плюс к этому требуется широкий научный и общий кругозор, высокая культура.

Как ни обширен этот перечень, он не обладает достаточной полнотой. «Наука,— писал в свое время Луи де Бройль,— по существу рациональна в своих основах и

по своим методам, может осуществлять свои наиболее значительные завоевания лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков старого рассуждения: их называют воображением, интуицией, остроумием».

На этом важнейшем обстоятельстве сосредоточивает внимание Б. Кедров. Он исследует, как и почему на пути любой творческой мысли обязательно возникают барьеры, которыми автоматически становятся прежние навыки, представления, стереотипы. И преодолеть создавшийся «барьер познания» можно только скачком — такова особенность нашей психики. Это умение мы часто называем интуицией.

Б. Кедров справедливо считает, что людей бесталанных нет, есть люди с неразвитыми по тем или иным причинам способностями. Для их развития мало простого обучения. «В некоторых школах стремятся к тому,— замечает Б. Кедров,— чтобы ученик заучил предмет: если заучил — это хороший ученик, а может случиться, что человек хорошо заучил, стал первым учеником, а способности, смекалка у него не развиты, пришел в вуз с золотой медалью и вдруг затерялся среди середняков... Неумение развивать мышление человека, его фантазию и интуицию — пока серьезный недостаток нашей школы».

Примечательно, что и у Луи де Бройля и у Б. Кедрова возникает единый ряд: интуиция — фантазия — творчество. Управлять интуицией мы пока не умеем. Зато накоплен опыт развития фантазии, воображения. И он уже с успехом применяется...

Способность преодолевать «барьеры познания» Б. Кедров также связывает с широтой кругозора. О том же говорят многие другие ученые. «Русская интеллигенция,— напоминает П. Александров,— представляла собой колоссальную культурную силу прежде всего потому, что состояла из людей, привыкших думать широко и о многом». Это мнение математика. О том же, в сущности, пишет известный литературовед Д. Лихачев: «Человек должен понимать иные эстетические ценности, иные интересы. Тогда только он сможет по-настоящему развить свои способности, и в первую очередь способность к творчеству, в чем бы она ни выражалась».

Одно дополняет другое. Говоря о необходимости воображения, интуиции, остроты ума, И. Артоболевский подчеркивал:

«Вряд ли есть другие сферы человеческой деятельности, которые способны так успешно формировать эти качества, как литература, искусство или музыка... искусство для ученого — не отдых от напряженных занятий наукой, не только способ подняться к вершинам культуры, а совершенно необходимая составляющая его профессиональной деятельности... То же верно и по отношению к философии».

Наука не замыкается сама на себе не только в этом. Говоря о воспитании научной смены, Г. Будкер, чья мысль продолжает нам светить, так же как и мысль И. Артоболевского и Р. Хохлова, пишет: «Наверное, наша молодежь должна прежде всего получать хорошее морально-этическое воспитание». Известный физик утверждает такую мысль: «В жизни справедливыми оказываются не только законы логики, но и законы морали, невыполнение которых приводило к деградации и гибели целые общества»... «Известно выражение: человек есть дробь, в числителе которой то, что он есть, а в знаменателе — что он о себе думает, — говорит он в другом месте. — Я бы сказал, что ученый — это есть дробь, числитель которой то, что он есть, а знаменатель нечто среднее между тем, что он о себе думает, как он себя представляет и ведет, а также прочее, что можно определить общим словом «порядочность». Если он думает о себе лучше, чем он есть, он вряд ли может быть порядочным человеком. Если он знает, что ничего не стоит, а выдает себя за стоящего человека, то он уже просто человек непорядочный. А уж если он при этом совершает недостойные поступки, то это уже аморальный человек. Поэтому я бы вывел формулу человеческого достоинства как дробь, числитель которой то, что человек объективно собой представляет, а знаменатель — его порядочность... Большие ученые, как правило, порядочные люди. Порядочный человек никогда не станет занимать не свое место в науке, человек не на своем месте уже аморален... Я убежден, что научный коллектив, в котором нарушаются этические принципы, погибает для науки».

Несколько с других позиций к той же проблеме подходит Н. Амосов: «Мы материалисты. Мы прямо говорим, что природой не предусмотрено никаких этических законов поведения человека, что всякая

нравственность, мораль возникли в ходе исторического процесса, чтобы люди могли жить в обществе. И в этом, пожалуй, самая большая трудность воспитания этих принципов. Нравственность не передается по наследству, не впитывается в кровь, ее нужно воспитать... в конце концов, когда мы говорим о построении коммунизма, очень многое упирается в воспитание».

Все авторы сборника особо останавливаются на том, какими должны быть оптимальные условия воспитания и творческой жизни. Вот характерные мнения.

А. Спириг: «Молодежь, студенты очень четко разбираются в том, кто есть кто... я думаю, что личность, человеческие качества руководителя всегда влияют на учеников и сотрудников больше, чем научная проблематика, которой он занимается». А. Окладников: ученому «надо заранее в своем характере переплавить в единое целое многие, зачастую противоположные свойства — социальную страстность и научную объективность, романтизм чувств и трезвость аналитического мышления, умение до конца отстаивать свою правоту и признавать свои заблуждения». Н. Амосов: «Неверно было бы думать, что чем дальше, тем меньше человек будет работать. Должен быть оптимум необходимого для общества труда. И не только для общества, но и для самого человека... Другой сложный вопрос — это о степени свободы. Часто пытаются изобразить, что будущее — это общество беспредельной личной свободы. А ведь всегда будут определенные правила, ограничивающие человека. Если человек даст волю страстям, ничего хорошего из этого не получится. Но у человека есть рефлекс свободы. Следовательно, и этот вопрос должен решаться наукой: оптимум свободы и оптимум ограничений».

Ученые поднимают и многие другие проблемы, но о всех сказать, понятно, не удастся. Закончим словами М. Келдыша: «Нельзя впадать в апологетику техницизма. Надо видеть в науке силу, способствующую развитию самой передовой идеологии, которая, претворяясь в революционную практику, преобразует мир».

Дмитрий БИЛЕНКИН.

К ГАРМОНИИ РАЗУМА И ПРИРОДЫ

И. Лаптев. Мир людей в мире природы. М. «Молодая гвардия». 1978. 287 стр.

В литературе, посвященной взаимоотношениям человека с природной средой, всюду в мире пошла на убыль волна книг, в которых броские факты доминируют над анализом, чувства над пониманием, игра воображения над наукой. Даже падкие до сенсаций пишущая братия и читающая публика капиталистического Запада, похоже, изрядно истощили свой интерес к экологическим кошмарам.

Впрочем, авторы многих вызвавших в свое время шоковый эффект работ имеют право на снисхождение. Если отбросить их болезненную склонность к пророчествам «судного дня», то обнаружится, что экологический пессимизм был не так уж плох. Он стал важной, а может быть, и необходимой ступенью приобщения миллионов людей к проблемам, которые действительно являются первостепенными и несомненно носят планетарный характер. Взгляд сквозь розовые очки не помог бы понять, как мало им до недавнего времени уделялось внимания. И это несмотря на то, что загрязнение окружающей среды, интенсивное потребление природных богатств, в том числе и невозобновимых, ни для кого, казалось бы, не могли быть секретом, а угроза нежелательных и необратимых изменений в биосфере возникла отнюдь не вчера.

Новый этап осознания экологической опасности связан с появлением работ, в которых авторы все больше переходят от описания плачевных результатов антропогенного воздействия на природу к попыткам объяснить, как такое стало возможно. А объяснив, стремятся указать пути гармонизации отношений человека со средой его обитания.

Книга И. Лаптева «Мир людей в мире природы» дает возможность ознакомиться с реализацией этого подхода в советской общественной науке. Нужно сразу оговориться, что речь идет не о научной монографии в привычном понимании. Работа своеобразна по жанру. В самом деле, часто ли нам приходится читать серьезные исследования философов, в которые неотъемлемым элементом содержания и формы вошли бы стихи?.. А здесь Уитмену и Верхарну принадлежит как раз такая роль.

Всем своим пафосом книга обращена против взглядов и оценок немарксистских

исследователей, которые либо игнорируют социальную обусловленность экологических потрясений, либо не идут в ее признании дальше пределов, поставленных буржуазной идеологией. Именно «социальные моменты», — пишет И. Лаптев, — позволяют или не позволяют — на современном уровне развития цивилизации — совершить тот коренной поворот во взаимодействии мира людей с миром природы, который уже давно назрел». Доказывая это, автор не ограничивается каким-либо одним из возможных углов зрения, скажем экономическим, политическим или техническим. Взаимодействие человека и природы предстает в книге как всеохватывающий естественноисторический процесс, как объективное диалектическое противоречие социального развития, которое разрешается по мере движения общества к коммунизму. Итогом этого движения станет рационализация природопользования в масштабах всей планеты.

Понятно, что экологический оптимизм, для того чтобы быть убедительным, должен в корне поколебать аргументы тех, кто не ждет ничего обнадеживающего от развития научно-технического могущества людей и склонен видеть в росте производства и потребления материальных богатств чуть ли не фатальный признак грядущей глобальной катастрофы. Это объясняет, почему автор столь внимателен к истории отношений человека и окружающей среды, так скрупулезно прослеживает основные зависимости между обществом и природой. Здесь он последовательно проводит линию, начатую в прежних своих работах. Но если раньше акцент ставился на рассмотрении различных этапов практического воздействия людей на природу, то теперь рамки исследования значительно расширяются. Экскурс в историю природопользования теснейшим образом связывается с анализом «всеобщего общественного знания» (К. Маркс), которое за многие века выработало человечество. И это очень существенное дополнение, ибо бесспорно, что исторические действия людей в бесчисленных важных аспектах зависят от их теорий.

И. Лаптев показывает глубокую закономерность теоретического отчуждения человека от природы во всех классово антаго-

нистических формациях. Раскол общества на эксплуататоров и эксплуатируемых разрушил слитность человека и природы. В эпохи рабовладения и феодализма сфера непосредственного природопользования — сфера сначала преимущественно рабского, а затем крестьянского труда — вызывала у свободных граждан и феодальных господ такое же презрение, как и «грубый» физический труд. Постепенно складывался взгляд на природу как на «подлую рабу». Гнет общественных отношений переносился на природу и подавлял ее так же, как он подавлял людей. Истощение природных ресурсов, почв и лесов наблюдалось уже в ряде древних метрополий. Однако вплоть до наступления капитализма разрушительные последствия воздействия человека на природу сдерживались его недостаточной вооруженностью против нее.

Капитализм с его возросшим техническим потенциалом смел эту преграду. Реализуя доставшееся ему от формаций-предшественниц представление о мире, буржуазия уже не на словах, а на деле превратила природу в рабу, а теорию — в оправдание своего хищничества. Один из творцов философии прагматизма, этой индальгенции на потребительские грехи капитализма, В. Джеймс, утверждал, что «мир стоит перед нами гибким и пластичным, ожидая последнего прикосновения наших рук. Подобно царству небесному, он охотно переносит человеческое насилие». В работе И. Лаптева приводятся яркие примеры подобного насилия последней антагонистической формации над природой. Вклад капитализма в создание кризисной экологической ситуации в современном мире поистине огромен.

Практическое отношение различных социальных систем к природе в книге рассматривается в контексте острой идеологической и политической борьбы вокруг экологических проблем. Экологическое знание ныне не является нейтральным ни социально, ни идеологически, ни политически. Буржуазная идеология и пропаганда превратили его в орудие манипулирования сознанием масс, в средство защиты капиталистического статус-кво. И это паразитирование на том исключительном внимании, какое приковывают к себе настоящее и будущее окружающей среды, — новое явление в идеологической борьбе.

Автор детально прослеживает основные концепции и аргументы, которые используют наши идеологические противники в

стремлении доказать недоказуемое: будто бы капитализм не только не повинен в разрушении естественной основы человеческого существования, но и единственный, кто может ее спасти. Среди этих превентивных средств в первую очередь следует назвать попытки представить экологический кризис неизбежным результатом человеческой истории. К ним же относится постоянный нажим в пропаганде на то, что защита природы, дескать, стоит выше политики, классовых, расовых и национальных разногласий, раздирающих капиталистическое общество. Наконец, населению Запада настойчиво внушается беспокойство за сохранность природы в социалистических государствах и в «третьем мире», откуда на планету якобы надвигается экологический кризис.

Опровергая эти спекуляции, книга дает возможность непредвзято сопоставить два типа отношений общества к природе, увидеть бесспорные преимущества социалистического природопользования над капиталистическим. Ничего не упрощая, не закрывая глаза на проблемы, порождаемые бурным развитием социалистической экономики, автор вносит ясность, которую так стремится затуманить буржуазная пропаганда.

Вместе с тем в книге подчеркивается, что существование пороков, коренящихся в самой системе частного предпринимательства и устранимых лишь с переходом к социализму, не исключает тесного сотрудничества стран с различным социальным строем в оптимизации взаимодействия человека и природы. Этому мешает буржуазная пропаганда, которая, нагнетая дух антикоммунизма и антисоветизма в сфере природопользования, выступает, по сути дела, противником единых действий человечества в охране окружающей среды. Препятствием на пути решения глобальных проблем является также политика империалистических кругов, форсирующих гонку вооружений.

И все же повсюду растущее число людей приходит к пониманию, что только разрядка напряженности и утверждение принципов мирного сосуществования дают возможность регулировать состояние и использование природных богатств, имеющих международное значение, — Мирового океана и его ресурсов, атмосферы, космического пространства, рек, протекающих по территории нескольких стран, мигрирующих животных. Только обстановка прочного мира позволяет создать блага, необходимые для нормальной жизни увеличивающегося населения

планеты, выделить средства для охраны и восстановления природы.

Важное место в книге занимает глава, которая в большей, может быть, степени, чем другие, обращена непосредственно к каждому читателю. Она называется «Природа и нравственность». Сегодня, когда благодаря научно-техническому прогрессу возможности воздействия человека на окружающую среду продолжают быстро расти, когда все большему числу людей становится доступным разрушительное и даже катастрофическое вмешательство в природу, необычайно много зависит от личностных факторов. Отчетливо обозначился этический стержень экологической проблемы, дело охраны природы тесно переплелось с нравственной ответственностью личности.

Отрадно, что вслед за художественной литературой, где эта тема закрепились и под пером некоторых авторов обрела высокую эмоциональную силу и философскую глубину (достаточно вспомнить «Царь-рыбу» В. Астафьева), общественная наука сделала ее предметом серьезного исследования. Много, о чем сумел сказать по этой проблеме И. Лаптев, выходит за рамки чисто «просветительских» целей. Книга зовет к активному участию в гармонизации отношений человека и природы, способствует превращению принципа бережного отношения к окружающему миру в действительную гражданскую позицию.

Суть нравственного отношения к природе автор видит не в некоем абстрактном «благоговении перед жизнью», ибо это не соответствует законам самой жизни. И не в том, чтобы оставлять природу по возможности «нетронутой». Если, скажем, не рубить созревшее дерево, оно упадет, покалечив десятки других деревьев, и в процессе гниения станет рассадником вредителей леса. Если не регулировать численность того или иного вида животных, то популяция может достигнуть критического уровня, потеснить другие виды, а затем начнет резко сокращаться вследствие недостатка пищи или из-за болезней. Вообще, если бы предки современного человека превратили нашу планету в тщательно охраняемый заповедник, то цивилизация была бы невозможна. На любом уровне развития люди живут природой, берут у нее все средства для своего существования. Однако они относятся к природе отнюдь не одинаково. Прежде всего каждый человек представляет перед ней определенное общество

с его целями и задачами. И если безнравственными являются сами эти цели и задачи (скажем, капиталистическая жажда наживы любой ценой), то даже высоконравственная личность невольно будет вносить свою лепту в разрушение природы. Это обусловлено тем, что усовершенствовать отношение человека к окружающему миру вопреки обществу трудно, а часто и невозможно.

В условиях, когда все природные богатства, все ресурсы становятся общественным достоянием, человеку, безусловно, гораздо легче проникнуться ответственностью не только за «свой огород», но и за планету в целом. Сама основа коммунистической нравственности — созидание новых общественных отношений — предполагает заботу о природе. Вместе с тем личность отнюдь не всегда верно понимает и выражает общественный интерес. Именно непонимание, невежество, нравственная глухота отдельных людей являются во многих случаях причиной отрицательных явлений в социалистическом природопользовании.

Нравственное начало имеет важное значение, когда любой из нас выступает перед миром природы и в качестве представителя общества, и от «своего собственного имени». Оно приобретает исключительное значение, когда речь идет о тех, кто определяет формы практического и теоретического отношения многих других людей к природе. Особая ответственность здесь ложится на руководителей различного ранга и ученых. От степени их нравственной, гражданской зрелости нередко зависит, какие мотивы возобладают при принятии существенных для экологического равновесия решений. Ведь можно в последнюю очередь строить очистные сооружения и оправдываться тем, что, дескать, спешили скорее пустить завод, дать нужную стране продукцию. Или «удешевить» проект водохранилища под предлогом экономии народных денег. Или проталкивать скороспелый план научных изысканий, затушевывая его слабые стороны и намеренно обходя вопрос о вероятном или неизбежном ущербе для окружающей среды.

Боль природы особенно ощутима, когда И. Лаптев говорит о встречающихся еще у нас случаях безнравственного, потребительского отношения к ней, о людях, которые действуют по принципу «после нас хоть потоп», о такой форме наглого, откровенного воровства у народа, как браконьерство.

Конечно, было бы утопизмом видеть панацею от всех этих бед исключительно в сфере нравственности. Автор нисколько не умаляет значения многообразия условий и факторов, необходимых для гармонизации взаимодействия человека со средой его обитания. Но он верит, что мир людей, услышавший боль мира природы, уже никогда не будет таким, каким был до того. И в этом убеждении трудно его не поддержать.

Вообще в книге нет страницы, которая была бы написана безразлично, вяло, равнодушно. Этим, думается, в значительной степени объясняется органичность того сплава, какой в ней образуют серьезная наука, умелая популяризация, страстная публицистика, захватывающее повествова-

ние. Раскованный, чуждый какого бы то ни было внешнего наукоподобия литературный стиль И. Лаптева, его живой, не лишенный изящества язык — еще одно свидетельство того, что образность и увлекательность отнюдь не противостоят научной глубине. Зато часто именно они являются ключом, который широко открывает перед читателями дверь к знанию, позволяет приобщиться к проблемам непростым, заставляющим задуматься над настоящим и будущим человечества. А это уже немало в наше время, когда могущество людей позволяет им или разрушить свою планету, или создать на ней основу счастья нынешних и грядущих поколений.

Вячеслав МОТЯШОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВАСИЛИЙ ЛЕДКОВ. Люди «Большой Медведицы». Диалогия. Перевод с ненецкого Н. Леонтьева. М. «Современник». 1977. 351 стр.

В этой книге ненецкого прозаика В. Ледкова объединены два романа: печатавшийся ранее «Месяц Малой Темноты» и «Люди Большой Медведицы», связанные единством сюжета и общими действующими лицами. Содержание диалогии — трудный процесс создания колхозов в ненецкой тундре. «Месяц Малой Темноты» — это самый начальный период, когда бывшие батраки и одиночники Большеземельской тундры только еще потянулись в колхоз, покидая один за другим своего хозяина — владельца огромного оленьего стада Тэси.

Вторая часть диалогии — укрепление колхоза «Большая Медведица», рост материального благосостояния, уровня культуры оленеводов, формирование нового человека, постигающего национальный исторический опыт и вместе с тем понимающего необходимость радикального поворота к новому.

Следует признать, что художественно тот и другой романы неравноценны. В первом заметна некоторая дань иллюстративности, схематизму, второй отличает аналитический подход автора к материалу; в первом писательский почерк Ледкова еще не установился, во втором он легко распознается; в первом разворачивается действие в основном хроникально (правда внутренних процессов очевиднее всего в рассказе о хозяине — Тэси), во втором — психологически более мотивированно, достоверно; в первом ненецкая специфика главным образом обозначена ссылкой на древние институты, особенности национального бытия, во втором — что называется, пронизывает повествование: она и в характерах героев, и в мотивировках действия, и в лирических отступлениях автора. Во втором романе многие образы запоминаются как национальные типы: Пета Пырерко, Кузька Иван Ноготысьи, Варук Вась, Ядна Як, братья Игна и Ламдо Сядэи, их мать Устя... Социально-психологическая тема здесь реализуется без резкого педалерования, через множество тонко подмеченных и осязаемых подробностей. Убедительно показан про-

цесс изживания пережитков в национальной психологии ненца. И радость от торжества нового, пронизывающая повествование, — подлинная, живо разделяемая читателем, успевшим полюбить героев, проникнуться их заботами и чаяниями.

Преодоление В. Ледковым былой иллюстративности принципиально важно. Психологизм, объемность повествования не последний вопрос для представителей младописьменных литератур: только глубокое проникновение в человеческую сущность социальных и нравственных перемен, происшедших в советское время на далеких окраинах прежней царской России, позволяет прозаику убедительно рассказать широкому читателю о жизни своего народа, раскрыть интернациональное через особенности национального опыта. Такой глубокий подход к материалу успешно осваивает ненецкий прозаик В. Ледков.

Т. Комиссарова.



БОРИС РАХМАНИН. Моря впадают в реки. Повести и рассказы. «Советский писатель». 1977. 366 стр.

Опубликованная в десятом номере «Юности» за прошлый год повесть «Моря впадают в реки» обращена к молодому читателю. Юное, ершистое, напористое и порой незрелое «население» этой повести, равно как и других повестей и рассказов, включенных в изданную «Советским писателем» книгу Бориса Рахманина, хорошо знакомо писателю, он пишет о нем изнутри, не с позиций наблюдателя, судьи или наставника, а непосредственно действующего лица больших и малых событий, в которые вовлечены Карасевы, Тереховы, Кукушкины... Характер самого автора чувствуется на каждой странице, явно дает о себе знать многолетний поэтический опыт писателя — добрая музыка стиха звучит то приглушенно, то в полную силу и в его прозе.

Большинство героев книги знают о войне из прочитанного да из коротких реплик ветеранов — «это было до войны» или «это было сразу же после войны». Но тем не менее и Великая Отечественная, и освоение

целины, и первый искусственный спутник Земли, и подвиг Гагарина, и строительство БАМа — это их жизнь. Рахманин как бы про себя замечает, что дети той войны уже становятся дедушками и бабушками. Они вспоминают, как по улицам «каменной вечерней Москвы, похожей на притихший дот», шли отряды народного ополчения, как по льду «Дороги жизни» их, малолетних, увозили из блокадного Ленинграда. Лишь эта холодная дорога осталась из детства Марье Ивановне, матери главного героя повести «Моря впадают в реки» Ивана Карасева. Автор замечает, что она за полтора года ленинградской блокады «похудела на всю жизнь» — так и осталась худощавой, тонокрукой. Получив короткий отпуск, она едет через всю страну из Сибири в город своего детства, в Ленинград, где служит ее сын Иван...

Другой герой повести, Кукушкин, вспоминает свою довоенную молодость. Он тогда размашистым почерком написал на карте страны свое имя: Коля. «Другие на березах свое имя вырезают,—говорит он,— а я так решил — где дорогу тянул, где—канал строил, где — жиламассив... Хотел с неба свое имя прочитать!»

А сыновья детей войны тоже хотят на карте страны «свое имя написать». В этом смысле интересен в повести образ Ивана Карасева. Когда он уходил на действительную службу, деревня его была как деревня. Проходит время, и он, увалившись в запас, не узнает свои родные края. За это время вошла в строй громадная гидростанция, вырос город, по рукотворному морю словно летят белоснежные «ракеты». Что же ему делать, приехавшему, как говорит мать, на все готовенькое?

Карасев вышел на берег водохранилища. «Может, это время плескалось в огромной неоглядной чаше, а не вода вовсе? Может, это труд человеческий сиял и переливался под солнцем? Может, каждую каплю этого моря — каждую в отдельности — долго и терпеливо мастерили руками?» Эти вопросы встают перед молодым героем во всей их громадности. В какой из этих капель заложен его труд?

В одной из бесед со мной первый секретарь Набережночелнинского горкома партии Раис Киямович Беляев сказал, что за долгие годы работы с камазовской молодежью он пришел к твердому выводу, что у каждого из нас должен быть в жизни один КамАЗ, хотя бы одна большая стройка.

Нелегкое дело закаливает человека, делает его негибким борцом. Двадцатилетний герой повести Иван Карасев своими размышлениями подтверждает эту мысль. Видно, она рождена всем ходом социалистического развития нашего общества. Преодолевая свои сомнения и немалые трудности, юные герои новой книги Бориса Рахманина вступают в большую жизнь. Они еще напишут свое имя на карте родной страны своей сильной, молодой рукой.

Феодосий Вдрашкю.



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ. М. «Наука». 1977. 175 стр.

О социалистическом соревновании, этом могучем и созидательном движении миллионов масс трудящихся, уже написано много книг и еще больше журнальных и газетных статей. Однако в имеющейся обширной литературе о социалистическом соревновании до сих пор мало разрабатывались проблемы его социально-психологической природы, хотя многие авторы и признавали его социально-психологический характер. Эта книга представляет собой первую серьезную попытку рассмотреть соревнование как феномен социально-психологический.

Группа сотрудников Института психологии Академии наук СССР, главным образом молодых, отправилась на Карачаровский механический завод в Москве и около двух лет исследовала там ход социалистического соревнования. Рецензируемая работа в основном результат этих исследований.

Вполне закономерно, что ученые прежде всего обратились к трудам основоположников марксизма-ленинизма и партийным документам, затрагивающим вопросы социалистического соревнования. Важнейшие социально-психологические аспекты проблемы они нашли в анализе К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным конкуренции и соревнования, в их выводах о том, что первая присуща антагонистической природе капитала, а второе вытекает из общественной природы человека и получает полное развитие в условиях социалистических взаимоотношений.

Основываясь на этих выводах, В. И. Ленин в ряде известных работ («Как организовать соревнование?», «Очередные задачи Советской власти», «Великий почин» и другие) выдвинул идею организации социалистического соревнования свободных тружеников и обосновал его значение для развития творческой инициативы широчайших трудящихся масс. На протяжении всей истории советского общества партия всемерно содействовала развитию социалистического соревнования, считая его одной из важнейших форм вовлечения трудящихся в управление производством, испытанным методом коммунистического строительства.

Психологической природе соревнования, его особенностям, зависящим от характера общественных отношений, а также основным закономерностям организации социалистического соревнования посвящена вторая глава, которую следует признать центральной в книге. Авторы исследуют психологические основы таких указанных Лениным принципов организации социалистического соревнования, как гласность, сравнимость результатов, повторение опыта, взаимопомощь. Один из параграфов главы посвящен важной проблеме преодоления формализма в социалистическом соревновании. Вместе с главой о соревновании как

условии успешной самореализации личности в коллективе эти главы составляют первый раздел книги «Сущность социалистического соревнования и задачи социальной психологии».

Два остальных раздела книги построены в основном на материалах конкретных исследований соревнования в условиях завода. Один из них посвящен мотивам деятельности в условиях соревнования, включенности личности в соревнование, роли соревновательности в трудовой и спортивной деятельности, влиянию соревнования на направленность коллектива, значению наставничества в соревновании. Заключительный раздел отведен вопросам управления социалистическим соревнованием и описанию Карачаровского завода как объекта исследования. Авторы пытаются выделить психологические критерии успешности соревнования и исследовать взаимодействие организации соревнования и стиля руководства в коллективе.

Нельзя не отдавать себе отчета в чрезвычайной сложности задач, поставленных перед собой исследователями. Используемые ими методы — анкетирование, интервью, наблюдение, статистический анализ — не безупречны, особенно если используются психологией. И тем не менее партком завода с благодарностью одобрил практические рекомендации исследователей. Значит, труд их не бесполезен.

Конечно, изложенные в книге исследования — всего лишь первые шаги психологической науки в сложной и важной сфере социалистического соревнования. Но ведь любое, даже самое большое дело не обходится без первого шага.

В. Ветлугия.



Д. ФИШЕР, Н. САЙМОН, Д. ВИНСЕНТ.

Красная Книга. Дикая природа в опасности. М. «Прогресс». 1976. 479 стр.

О «Красной Книге» знают, наверное все — о ней часто упоминают в печати, в популярной литературе, на нее ссылаются в научных трудах. Видели же ее лишь немногие ученые, непосредственно связанные с охраной дикой природы, — количество экземпляров этой книги ограничено. Сейчас любители природы получили возможность познакомиться непосредственно с «Красной Книгой». Конечно, написанная тремя видными и активными деятелями Международного союза охраны природы и природных ресурсов, она значительно отличается от подлинной. Обращена она, по сути дела, к широкой публике на основании материалов, имеющихся в настоящей «Красной Книге». Отличается она и размерами — сейчас «Красная Книга» (точное ее название «Красная Книга фактов») уже состоит из нескольких томов: первый посвящен млекопитающим, второй — птицам, третий — пресмыкающимся и земноводным, четвертый — рыбам. Уже создана и «Крас-

ная Книга» растений. В рецензируемой книге все сведено в один том. Естественно, что и число описанных видов в ней меньше, чем в «Красной Книге фактов». Наконец, само построение ее иное: «Красная Книга фактов» представляет собой издание, похожее на перекидной календарь, где каждая страница может быть при необходимости изъята или заменена новой. Страницы эти имеют разные цвета. Так, данные об исчезающих видах публикуются на красных листах, о сокращающихся видах — на желтых (они составляют особую «Янтарную Книгу»), на белых страницах приводятся данные о редких видах и, наконец, на бумаге серого цвета — данные о малоизвестных видах, недостаток сведений о которых не позволяет точно определить их количество.

«Красная Книга фактов» начала выходить в 1955 году (в течение пяти лет — с 1949 по 1954 год — международная комиссия собирала сведения о животном мире планеты). С тех пор структура «Красной Книги» неоднократно менялась, а в 1972 году в ней появились страницы еще одного цвета — зеленого. На них печатаются сведения о животных, которые ранее были описаны на красных, желтых или белых листах, то есть судьба которых вызвала опасение, но теперь эти животные спасены. Это стало возможным благодаря труду ученых всего мира, усилиям мировой общечеловечности, настойчивой пропаганде, в том числе и таким работам, как «Красная Книга» Д. Фишера, Н. Саймона, Д. Винсента.

Зеленые страницы в «Красной Книге фактов» — это большая победа. Но торжествовать рано — еще около 800 видов и подвидов млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий помещены в ней на красных, желтых, белых и серых страницах. В «Красной Книге» показывается, какой урон прямо или косвенно наносят животному миру планеты охота, уничтожение лесов, сокращение среды обитания. Однако основное внимание авторы уделяют описанию самих животных, удивительным фактам, связанным с жизнью и поведением того или иного зверя или птицы. Поэтому книга от начала до конца читается с неослабевающим интересом. И только закрыв ее, вдруг осознаешь, что некоторых из этих прекрасных животных люди нового, XXI века могут уже никогда не увидеть, так же как мы, жители XX века, никогда не увидим животных, внесенных учеными в «Черный список» — животных, безвозвратно исчезнувших с лица нашей планеты. В этом списке 63 вида млекопитающих и 94 вида птиц. Причем треть из них погибла за последние пятьдесят лет, практически на глазах нашего поколения.

Тем не менее есть еще немало людей, не понимающих опасности происходящего, считающих, что животный мир стоит в стороне от магистральных путей развития человечества и поэтому исчезновение того или иного вида или даже десятков видов никак не может повлиять на благо-

получие человека. Но теперь уже известно, и не только ученым, что фауна Земли — важное звено в неразрывной цепи жизни. Царь природы — человек все яснее начинает понимать, что он в то же время и часть природы, что он не только властвует над ней, но и зависит от нее. Диалектика нашего времени состоит в том, что гармоничное, направленное на благо человека развитие научно-технического прогресса немислимо без сохранения для будущих поколений всего богатства животного мира, всей полноты генофонда животных, не говоря уж о культурном и нравственном значении охраны животных.

Книге предпослано обширное предисловие профессора А. Банникова, вводящее читателя в курс проблемы, она богато иллюстрирована, снабжена подстрочными комментариями. К сожалению, в ней отсутствует справочный аппарат (алфавитный указатель упоминаемых в тексте животных, географических названий, фамилий ученых), столь необходимый в подобных работах. Но в целом рецензируемая книга — значительное явление в природоведческой литературе, в которой так нуждается читатель и имеющей такое огромное значение в формировании бережного отношения к окружающей среде.

Юрий Дмитриев.



В. П. ПАВЛОВА, А. Л. ФИНКЕЛЬШТЕЙН.
Хозяйственный расчет и эффективность производства (Опыт Главмосавтотранса). М. «Экономика». 1976. 135 стр.

Пять лет в Главмосавтотрансе идет эксперимент, цель которого, если коротко, вот какая: создать и в главке и на предприятиях такие экономические условия, которые для каждого коллектива и каждого работника сделали бы выгодным то, что выгодно государству. О сущности этого эксперимента, о том, какие он решает проблемы, что нового принес в планирование деятельности крупного хозяйственного комплекса, в управление им, идет речь в рецензируемой книге.

Предпринятый опыт во многом продолжает дело, начатое в 1965 году после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. И кстати: среди первых предприятий, которым доверили испытать то, что затем получило название новой системы планирования и экономического стимулирования, был тогда автокомбинат № 1 Главмосавтотранса. Прямая связь прослеживается между двумя этими событиями наших дней — хозяйственной реформой шестьдесят пятого и экспериментом Главмосавтотранса. Искать, находить и вовлекать в дело резервы — вот задача, решение которой начато было в шестьдесят пятом и продолжено шесть лет спустя. Экономический поиск не должен прерываться: всякая его остановка, всякое

торможение мысли, всякая непоследовательность и нерешительность грозят замедлением развития, больше того — отступлением.

Основа эксперимента, точка опоры, позволившая сдвинуть сухой пласт хозяйственного скептицизма руководителей предприятий, привыкших к методам планирования «от достигнутого», вот такая.

Во-первых, стабильный пятилетний план для всего главка и его предприятий, в котором на каждый год даны твердо установленные задания. Круг показателей при этом строго ограничен: доходы, прибыль, сумма платежей в бюджет, объем перевозок грузов в тоннах и номенклатуре... Понимаете, одно дело, когда предприятие получает план с неизменными процентами роста от достигнутого, когда план этот ничем не огражден от различного рода вмешательства, когда неизвестно, какие контрольные цифры возникнут перед директором всего-навсего через два года, и тем более в конце пятилетки. И совсем другое, когда, словно точная карта, перед глазами и пятилетка и каждый ее год, когда есть уверенность, что полученный план не только на словах имеет силу закона, и когда, как в ясную погоду, видно далеко вперед, до самого горизонта...

Во-вторых, долговременные экономические нормативы. Прежде всего точно известно, сколько прибыли от каждого рубля нужно будет отдать в бюджет, а сколько оставить главку для финансирования капитальных вложений, научно-исследовательских работ, экономического стимулирования предприятий. Но мало того, что перед главком и его предприятиями открывается возможность больше заработать не только государству, но и себе — на свои нужды, в свои фонды, главное тут вот в чем: Министерство финансов знает наверняка, сколько ему даст Главмосавтотранс в любой год пятилетки. Больше — может быть, меньше — никогда! Стало быть, государство на эти деньги может твердо рассчитывать.

Хорошо, а где условия, которые побуждали бы предприятия брать напряженные планы, стремиться использовать резервы, перекрыть показатели, установленные в пятилетнем плане? В принципе и стабильная пятилетка и долговременные экономические нормативы уже дают простор хозяйственной инициативе. Однако в экономической поэме, которая создана в Главмосавтотрансе и о которой рассказывают авторы, есть на этот счет отдельная глава.

Если план прибыли выполнен или перевыполнен не более чем на два процента, фонды экономического стимулирования образуются в полном объеме — по нормативам, установленным в пятилетке. Если план перевыполнен на 2—5 процентов, отчисления в фонды производятся по нормативам, сниженным на 40 процентов; если план перекрыт на 5—10 процентов, нормативы уменьшаются вполсилу... Система проникает и глубже — в материальную заинтересованность тех, кто руководит пред-

приятием, кто лучше всех знает его возможности и кто может либо учесть их, либо скрыть. Тут так: за каждый процент выполнения повышенного (против определенного пятилеткой уровня) плана по прибыли руководители, инженерно-технические работники и служащие получают премию, в 6—8 раз превосходящую ту, которая досталась бы им, если бы был перевыполнен утвержденный план. Все встает на свои места: обесцениваются ухищрения скрыть, спрятать, не выдать резервы, утаить их до поры и, напротив, высоко в цене поднимаются усилия уже сегодня, сейчас в полной мере поставить возможности предприятия на службу государству.

Хочется верить, что эта умная, глубокая книга об экономическом эксперименте станет для наших хозяйственников еще одним доводом в его пользу.

А. Нежный.



ВОСПОМИНАНИЯ О Я. И. ФРЕНКЕЛЕ. Л. «Наука». 1976. 279 стр.

Яков Ильич Френкель (1894—1952) принадлежит к наиболее ярким фигурам в истории нашей науки. Один из создателей советской теоретической физики, он уже к концу 20-х годов входил в число ведущих теоретиков мира. Он внес существенный вклад в различные области физики, разрабатывая проблемы квантовой теории, теории ядра, земного магнетизма. Мировую известность получила его монография «Кинетическая теория жидкостей», ставшая классической.

Авторы воспоминаний, среди которых такие выдающиеся ученые, как Н. Семенов, А. Фрумкин, А. Александров, Я. Зельдович, Б. Константинов и бывший директор Кавендишской лаборатории Н. Мотт, рисуют чрезвычайно привлекательную картину научного сообщества, существовавшего в нашей стране в первые годы после революции. Может быть, картины, изображающие профессора Френкеля, за вечерним чаем принимающего экзамен у студента и перед уходом подающего ему пальто, покажутся чересчур идиллическими, но в этом был и «дух времени» и характер самого Френкеля, не выносившего заносчивого и чиновного обращения со студентами.

Однако картина научного содружества вовсе не ограничивается взаимоотношениями преподавателей и студентов. Для авторов важно показать и сам образ жизни научной интеллигенции — ее увлеченность наукой, ее порядочность, бескорыстие и готовность прийти друг другу на помощь в трудную минуту. Мы узнаем, например, что Иоффе предоставил для жилья часть своей квартиры своему коллеге Рожанскому, что Френкель, не получая зарплаты, был заведующим отделом в Институте химической физики, и т. п.

Читая книгу воспоминаний о Френкеле, погружаешься в атмосферу возникновения

советской физики. Круг людей, принимавших участие в том, сравнительно невелик — несколько десятков фамилий. Но, наверное, не случайно, что почти все блестящие достижения советской науки связаны именно с ними. Авторы воспоминаний неоднократно подчеркивают, что Френкель был романтиком в науке, но не менее романтической была жизнь всех этих людей. Романтическое представление об ученых как некоем тесном содружестве, где все друг друга близко знают, в курсе интересов и достижений друг друга и, более того, трогательно друг о друге заботятся, обретает живую ткань и плоть на страницах этой книги. Немногие, но характерные штрихи подчеркивают важность того факта, что это содружество, по существу, объединяло ученых разных стран.

Конечно, главное в этой книге — личность самого Френкеля. Выдающиеся ученые — авторы этой книги подчеркивают исключительное значение вклада Френкеля в науку, но не претендуя на обстоятельное исследование его научных заслуг, они прежде всего касаются другого, с гуманистической точки зрения не менее важного аспекта значения его личности. Наверное, именно это имел в виду А. Иоффе, когда говорил о Френкеле: «Необычайная доброта, любовь и уважение ко всякому, в ком Яков Ильич мог предположить добрые побуждения и стремление к знанию, были настолько органически присущи светлой личности Якова Ильича, что он часто казался наивным, доверяя даже недостойным доверия. Ему была чужда сама мысль об обмане, так далек был его душевный мир от любой нечестной мысли».

В наш век, когда наука дала в руки людям чреватую смертельной опасностью власть над силами природы, многозначность ответа на вопрос, хороший ли человек хороший ученый, — проблема, которая не перестает нас волновать. Книга воспоминаний о Френкеле дает нам ободряющий пример человека, говоря о котором мы можем ответить на этот вопрос утвердительно.

Вл. Кирсаков.



Д. И. БРОНШТЕЙН, Г. Л. СМОЛЯН. Прекрасный и яростный мир (Субъективные заметки о современных шахматах). М. «Знание». 1977. 112 стр.

«Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься». Это из письма Пушкина к жене от 30 сентября 1832 года.

Над крохотными деревянными фигурами, белыми и черными, сосредоточенно склоняются гроссмейстеры и мастера в турнирных залах, пенсионеры на парковых скамейках, мальчики и девочки в алых галстуках во Дворцах пионеров. С помощью печати и телевидения единоборства лучших шахматистов мира обретают многомиллионную аудиторию, не менее остро переживающую все перипетии сражений на шахмат-

ной доске, чем футбольные или хоккейные батальи...

В чем тайна необычайной популярности и привлекательности древнейшей игры? На этот вопрос стремятся дать ответ в своей страстной, насыщенной, хотя во многом и дискуссионной книге гроссмейстер Д. Бронштейн и психолог Г. Смолян. У нас выходит немало шахматной литературы, но в основной своей массе она носит чисто «прикладной» характер. Работы же, содержащие обобщенные философские раздумья о месте и роли шахмат в широком контексте современной духовной жизни, затрагивающие сущность шахматной игры как культурного, социального и эстетического феномена, чрезвычайно редки. Именно поэтому рецензируемая книга вызывает особый интерес. По-видимому, тайну привлекательности шахмат следует увидеть в их глубине, неисчерпаемости, многогранности, в том, что они представляют собой уникальный, неповторимый сплав игры и науки, искусства и спорта.

В самом деле, шахматы достаточно сложны, чтобы утолять жажду самого высоко развитого интеллекта в познании, в поиске научной истины¹. В то же время они отнюдь не сводятся к голой логике — немалую роль в них играет интуиция, фантазия, в них нередко случаются, когда поверхностный «здоровый смысл» терпит крах и опрокидывается. Шахматы — это и упоение атакой, и хладнокровие трудной защиты, и хитро поставленная ловушка, и тонкий позиционный маневр. Но венец шахматной игры, то, что в ней доставляет любителям наибольшее эстетическое удовольствие, это фейерверки комбинаций с жертвами многочисленных фигур. И наконец, шахматы — это противоборство двух индивидуальностей, двух интеллектов, двух волей. «Их главная характеристическая черта, — писал Эм. Ласкер, — и в ней особенно человеческая натура находит высшее наслаждение, — есть борьба». Но не всякая борьба, а такая, где «элементы научности, художественности и духовности... приобретают исключительное господство».

Замечено также, что шахматы способствуют воспитанию самостоятельности мышления, умения предвидеть, самоконтроля, упорства и воли к победе и многих других качеств характера. «Сказочной борьбой с самим собой» называет их писатель Н. Атаров в книге «Крученая нитка». Поэтому значительный интерес представляет стержневая, на мой взгляд, мысль книги Д. Бронштейна и Г. Смоляна о том, что шахматы сложным и далеко не до конца выясненным образом затрагивают некие глубинные стороны творческого потенциала человека, что

они служат «полигоном для испытания характеров и чувств... неповторимой моделью проявления высокого творческого духа».

Каждому ясно, что шахматы не труд, а всего лишь игра. Но это игра, лежащая как бы на магистральных путях развития человеческого познания, мышления. Доказательством тому служит резко возросший сегодня интерес к древнейшей игре со стороны представителей одной из самых современных наук — кибернетики. Ученые видят в шахматной игре удобную модель для создания универсальных математических программ ради нужд управления, основанных на переборе большого количества возможностей, вариантов (см. об этом также статью М. Ботвинника в «Правде» от 24 ноября 1977 года).

Авторы книги «Прекрасный и яростный мир» страстно влюблены в шахматы. И как всякий влюбленный, они пристрастны. Пафос их эмоциональной, оригинальной книги, которую, возможно, следовало бы назвать поэмой о шахматах, направлен к тому, чтобы в этой чудесной игре всегда торжествовал дух высокого творчества. Конечно, не со всем в книге Д. Бронштейна и Г. Смоляна можно согласиться (особенно это относится к главе «Шахматы третьего тысячелетия»). Но ясно одно — она будит мысль, дает импульс, заряд к дальнейшему поиску, дает серьезный повод для обстоятельного, заинтересованного разговора о прошлом, настоящем и будущем шахматного искусства.

Арво Метс.



ЮОЗАС ГРУШАС. Тайна Адомаса Брунзы. Пьесы. Перевод с литовского. М. «Советский писатель». 1976. 560 стр.

Сборник пьес народного писателя Литвы Юозаса Грушаса помогает нам составить верное представление о многогранном даровании Ю. Грушаса.

Надо сказать, что нашим читателям и зрителям поначалу трудно будет освоиться с органично вырастающим из национальных культурных традиций Литвы и в то же время умело учитывающим опыт мировой драматургии театром Юозаса Грушаса. Ибо слишком неожиданны, странны и новы для нас эстетические нормы этого театра. Это очень сильная драматургия, говорящая о своих героях и проблемах с резкостью и скомпромированным реализмом. Пьесы Грушаса напряжены до предела, их драматический материал организован с глубоким знанием законов сцены. Драматургия эта многолика: здесь и исторические трагедии («Геркус Мантас», «Барбора Радвилайте», «Швитригайла»), и пьесы о современности («Тайна Адомаса Брунзы», «Любовь, джаз и черт», «Цигар», «Огонь»), и философская притча «Цирк», где образы и идеи превращаются в символы человеческой трагедии. Но во всех этих разных пьесах ощущать сильное и стремительное

¹ Подсчитано, что количество всех возможных расстановок фигур на шахматной доске достигает астрономической цифры 10¹⁶ (!). Говоря математическим языком, шахматы относятся к классу неточных задач. «Человек решает неточные задачи, основываясь на накопленном опыте и интуиции», — пишет экс-чемпион мира М. Ботвинник в книге «Алгоритм игры в шахматы».

движение существеннейших проблем, ставших главной пружиной действия.

Драматург вернул на сцену подлинную трагедийность, чисто шекспировский неразрешимый конфликт, проблему выбора и гибнущего под тяжестью трагической вины героя. И трагедийность эта присутствует не только в его исторических драмах. Трагическое живет в театре Ю. Грушаса, поскольку оно существует в жизни. Пьесы его растут из реальности, из настоящего и прошлого и обращены к современности, к современному зрителю. Причем драматурга интересует не просто прошлое, не история как таковая. Он стремится проследить в прошлом судьбы живых, не стареющих этических проблем. Каждая пьеса Юозаса Грушаса выстроена вокруг одной из этих проблем.

Главный герой пьесы «Тайна Адомаса Брунзы» — талантливый скульптор, любящий, умудренный жизнью человек и одновременно предатель, раздваивающийся и идущий к духовной смерти. Пьеса о нем — это и анатомия предательства, и философская притча о проблеме свободы, выбора и вины, о старости и молодости человеческого духа. Здесь, как и в других пьесах драматурга, этическая проблема выявлена в сложной диалектике поступков и душевных движений.

Именно высокий этический пафос помогает Грушасу разрушать в каждой своей пьесе ту незримую стену, которая зачастую отделяет происходящее на сцене от зрителей. В его пьесах судьбы и действия всех героев — и королей и студентов — тщательно отмерены и взвешены. В трагическом мире театра Грушаса, в сложной сценической диалектике его напряженных, стремительных драм герои выявлены полностью. Но последнее, решающее слово о них представлено автором зрителю.

Театр Грушаса сознательно ориентирован на напряженное внимание и высокую активность сопереживающего ему зрителя. И приговор зрителя не может быть непродуманным и однозначным, ибо драматург верит своему зрителю и показывает ему мир и человека во всей их существенной сложности и противоречивости. Потому-то одинаково современны и исторические драмы Грушаса и его пьесы о сегодняшней жизни.

Пьесы Грушаса органично соединяются в живой театр, воплощаемый лишь на сцене. Появление их в русском переводе — своеобразный призыв дать этим пьесам сценическую жизнь. Ибо театр литовца Юозаса Грушаса — незаурядное явление многонациональной советской культуры, открывающее новые богатые возможности для наших режиссеров и актеров.

Вс. Сахаров.



С. ГРИГОРЬЕВ, М. ЕМЦЕВ. Скульптор лика земного. М. «Мысль». 1977. 191 стр.

Наша эпоха, эпоха атома и космоса, как бы отодвинула науки о Земле на второй

план. О географии нередко принято говорить как о «старушке»: пора великих открытий давно кончилась, планета якобы познана — древнейшую науку можно сдавать в архив. И мало кто знает, что в науках о Земле существуют проблемы, к которым исследователи приступают неохотно и с большой осторожностью. Слишком уж зыбка, неопределенна там почва. Тем тяжелее и почетнее бремя, что взяли на себя авторы книги «Скульптор лика земного», — популярно, для неспециалистов рассказать об очевидном, которое с полным основанием можно назвать и невероятным.

Разве не очевидно: на планете Земля многие сотни миллионов лет существуют материи. За это время они много раз меняли формы, размеры, место. Научкой ныне установлено, что материи постоянно движутся. Но известно и другое, тоже очевидное: каждый год реки вымывают сушу, выносят в океан огромное количество мельчайших твердых частичек. А если взаимоувязать два эти факта, то получится — за десять миллионов лет, как показывают «чистые», теоретические расчеты, реки должны были бы... смыть не только все горы, но и вообще всю сушу в океан. Однако этого не произошло. Почему? Куда девается вещество, приносимое реками в океан? И почему все время растут горы, которые со всех сторон, и даже изнутри, разрушают ветер, жара, мороз, влага? Все кажется еще более странным, когда узнаешь: горные области в основном сложены из морских пород.

Наконец, обратите внимание, стало уже газетным штампом выражение «крупнейшее месторождение планеты». То здесь, то там отмечаем мы на географической карте эти вновь открытые «крупнейшие». Но они оказываются всего лишь крохами в сравнении с действительно крупнейшими залежами, погребенными на дне океанов. Если в подводных кладовых счет идет на сотни миллиардов тонн, то в сухопутных лишь на миллионы, очень редко на миллиарды. Опять-таки почему такая разница?

Авторы тактично, ненавязчиво с первых же страниц разворачивают гипотезу, в которой, как на огромном полотне картины мироздания, один за другим проступают ответы на многие вопросы. С удивлением и вначале с недоверием узнаешь: причиной всему этому в природе — вода. Самая обыкновенная, привычная вода. Скульптор нашей планеты, ее организующее начало.

Оказывается, так же как в атмосфере, в недрах планеты происходит великий круговорот воды. По мельчайшим трещинам, которых чрезвычайно много в горных породах, вода опускается почти на десять километров вглубь. Затем под давлением пластов она превращается в пар и, все сильнее разогреваясь, опускается еще глубже. Правильнее сказать, вдавливается вниз. Подземные облака несут в себе растворенные вещества, туда более тяжелые, обратно более легкие. Вдоль «обратной дороги» у поверхности, где давление пластов слабее, облака выливаются «антидождем», собираясь в месторождения. На дне океанов

Выходы из глубин удобнее, там и крупнее месторождения.

Земная твердь — это лишь дренажная оболочка планеты. Оболочка, пропитанная водой. Миллионы лет ее вымывают восходящие и нисходящие водяные потоки. Со дна морей и океанов несут они в недра суши вещество, дают энергию рёста горам, из глубинных запасов питают углеродом наземную жизнь... Они преобразуют планету Земля!

Книга прочитана, но сколько вопросов породила она. Если узнать закономерности выходов подземных вод, то станет просто искать месторождения полезных ископаемых. А в будущем, влияя на подземный круговорот, человечество сможет по заказу размещать месторождения. Какие огромные, неиссякаемые запасы энергии таит в себе подземная вода, разогретая недрами планеты в пар! Завладей этим бесценным даром природы — и не нужно будет добывать топливо, перевозить его, сжигать, загрязнять окружающую среду.

Но... реальность обрывает неудержимый полет фантазии. Гипотеза, к сожалению, постоянно нуждается в новых доказательствах. Ведь она всего лишь гипотеза, хоть и очень смелая.

М. Аджиев,

кандидат экономических наук.



Э. МУРЗАЕВ. Жизнь есть деяние.
К 100-летию со дня рождения академика
Л. С. Берга. М. «Мысль». 102 стр.

Современная наука все чаще переходит от аналитических исследований к синтезу знаний. Особенно ярко это проявляется при изучении Земли в наш век решительной перестройки человеком среды своего обитания — биосферы. Поэтому мы с особым интересом и вниманием приглядываемся к замечательным ученым недавнего прошлого, отличавшимся удивительной разносторонностью знаний и научных интересов. К числу таких ученых безусловно относится Л. С. Берг. Э. Мурзаев прежде всего подчеркивает широту и глубину охвата ученым многих областей науки (климатология, гидрология, лимнология, геоморфология, палеогеография, геология, палеонтология, иктиология, общая биология...). Творческой мысли ученого были тесны узкие пределы отдельных наук. Он умел «всюду искать и находить существующие в природе взаимосвязи».

Значительное внимание Л. С. Берг уделял истории науки. Он автор цикла статей по истории географических открытий. Кроме того, в его работах, посвященных различным научным проблемам, имеются обстоятельные экскурсы в историю знаний, прослеживается генезис научных идей. Исключительно велика роль Л. С. Берга в выявлении и пропаганде географических достижений российских путешественников и ученых. В то же время история науки

была для него орудием, помогающим выработать новое знание, глубже оценивать значение современных научных представлений и предвидеть их дальнейшую судьбу.

Еще одна особенность творчества Л. С. Берга — «чрезвычайно простая и доходчивая форма изложения своих работ». Совершенно справедливое замечание Э. Мурзаева следовало бы несколько расширить. Дело в том, что Л. С. Берг уделял большое внимание литературному языку научных работ. Он написал литературоведческую работу «О необходимости бережного отношения к русскому научному языку». Не случайными, не инородными строками выглядят в статьях и монографиях Л. С. Берга стихотворные строфы прекрасных русских поэтов. А какой естественный слав поэзии, литературоведения и географии представляет собой статья «Пушкин и география!» Характерны ее заключительные строки: «Каждый раз, когда перечитываешь Пушкина, убеждаешься в громадной географической ценности его истинно народной поэзии. И невольно задумываешься над серьезным и большим вопросом о значении художественной интуиции в географическом познании действительности».

По давней и вряд ли плодотворной традиции жизнеописаний в книге Э. Мурзаева выделены главы «Л. С. Берг как ученый» и «Л. С. Берг как человек». А ведь такие ученые, как Л. С. Берг, посвятившие научным исканиям всю свою жизнь, проявляя себя, свою личность наиболее полно и ярко именно в научной работе. Это были цельные, сильные натуры, волевые и благородные, как бы не выходящие из состояния творческого горения, чуждые мелких интересов и стремлений.

Научное творчество Л. С. Берга отличается неуемной жаждой познания, упорными поисками истины. Без учета эмоционального начала в научных исследованиях (Э. Мурзаев лишь вскользь касается этой темы) вряд ли можно понять истоки гигантской продуктивности ученого. Не случайно им была написана спорная, подвергшаяся жестокой критике, но вместе с тем очень интересная и своеобразная работа «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей» (1922). И хотя с некоторыми положениями, развиваемыми в этом труде, трудно согласиться, показателен сам факт жгучего интереса ученого к нерешенным вопросам эволюционной теории и его замечательная способность открывать проблемы, видеть «горячие точки» науки.

Очень характерен в этом отношении взгляд Л. С. Берга на сущность экономической географии: «Экономическая география есть составная часть географии вообще. Это высший, кульминационный раздел географического описания, без какого-либо раздела она не может считаться законченной». Анализируя подобные высказывания Л. С. Берга, Э. Мурзаев напоминает, что Л. С. Берг, развивая учение В. В. Докучаева о географической зональности, особое внимание уделял динамике ландшафтов. Можно

добавить: с учетом деятельности человека, преобразующего природу. В наши годы очевидна актуальность такого подхода к традиционным географическим проблемам, учета технической деятельности человека как наиболее активной природной силы в биосфере, практически во всех ландшафтных зонах. Отметим, что Л. С. Берга интересовала в первую очередь судьба природы нашей родины и общетеоретические поло-

жения использовались им для выработки научно обоснованных практических рекомендаций.

О Л. С. Берге можно сказать его же словами, характеризовавшими облик другого замечательного географа — Д. Н. Анучина: «Такое изумительное сочетание талантов у одного человека случается крайне редко».

Р. Баладин.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 3. Октябрь 1918 — март 1923. 856 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. И. Брежнев. Малая земля. 48 стр. Цена 15 к.

М. И. Ульянова. О Владимире Ильиче Ленине и семье Ульяновых. Воспоминания. Письма. Очерки. 328 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Бубинс. Цветение несеной ржи.— Жаждающая земля.— Три дня в августе. Романы. Перевод с литовского. 607 стр. Цена 3 р.

Б. Галин. Строитель нового мира. Очерки и литературные портреты. 496 стр. Цена 2 р.

А. Ким. Четыре исповеди. Повести и рассказы. 440 стр. Цена 1 р. 60 к.

М. Луконин. Лирика. 222 стр. Цена 1 р. 10 к.

Поэты Казахстана. Переводы. («Библиотека поэта». Малая серия. Изд. 3-е) 607 стр. Цена 1 р. 30 к.

Е. Сидоров. Время, писатель, стиль. О советской прозе наших дней. 262 стр. Цена 70 к.

Сияние Севера. Сборник рассказов народов Севера. Переводы. Составление и предисловие В. Санги. 431 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Блейк. Стихи. Перевод с английского. 325 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Борзенко. Плацдарм. 528 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Васильев. А зори здесь тихие... Повесть.— В списках не значился. Роман.— Рассказы. 399 стр. Цена 1 р. 90 к.

Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки.— Миргород. Повесть. 338 стр. Цена 2 р.

И. Гончаров. Обломов. Роман. В 4-х ч. 528 стр. Цена 2 р. 20 к

Ф. Достоевский. Преступление и наказание. Роман. В 6-ти ч. с эпилогом. («Библиотека классики. Русская литература») 463 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. Маяковский. Сочинения. В 3-х тт. Т. 1. Я сам.— Стихотворения. 1912—1925. 559 стр. Цена 2 р. 20 к. Т. 2. Стихотворения.— Стихи детям.— Как делать стихи? 526 стр. Цена 2 р. 40 к.

П. Мериме. Новеллы. Перевод с французского. 349 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Пушкин. Избранные сочинения. В 2-х тт. Т. 1. («Библиотека классики. Русская литература»). 751 стр. Цена 4 р. 60 к.

М. Шагинян. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Перемена. Повесть.— Приключение дамы из общества.— Гидроцентральный. Романы. 583 стр. Цена 2 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

О. Гончар. Берег любви. Сборник. 558 стр. Цена 2 р. 30 к.

Ю. Друнина. Мир под оливами. Лирика. 127 стр. Цена 40 к.

Парус-77. Сборник. 367 стр. Цена 1 р. 30 к.

Поэзия, 1977. Альманах. 207 стр. Цена 1 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г.-Х. Андерсен. Сказки. 350 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ш. Бейшеналиев. Сын Сарбая. Аманат. Повести. 320 стр. Цена 80 к.

А. Блок. Избранное. 191 стр. Цена 40 к.

М. Горький. Воробьишко. Сказка. Рис. Е. Чарушина. 13 стр. Цена 10 к.

Н. К. Крупская. О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 96 стр. Цена 25 к.

К. Ломоносов. Лев Толстой. Очерк жизни и творчества. 256 стр. Цена 70 к.

Пылающий фанел. Рассказы и стихи писателей стран Азии и Африки. 255 стр. Цена 1 р. 40 к.

Слово о полку Игореве. 221 стр. Цена 60 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 1/III 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/V 1978 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 10984. Тираж 250.000 экз. Зак. 711.

Отпечатано с матрицы ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 02349.

Цена 70 коп.

70636